

ИВАН ЩЕГОЛИХИН

СЛИШКОМ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ





ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ



ИВАН ЩЕГОЛИХИН

СЛИШКОМ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Повесть
о Михаиле Михайлове

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1983

Р2
Щ34

В книге рассказывается о широко известном в прошлом веке, а ныне почти забытом русском поэте, прозаике и переводчике иностранной поэзии Михаиле Ларионовиче Михайлове, пламенном революционере, человеке трудной судьбы, каторжнике, первой жертве царствования Александра II, личности благородной и самоотверженной, воплотившей в себе достоинства и противоречия яркой эпохи 60-х годов.

И. Щеголихин пишет как на современную тему (романы «Снега метельные», «Другие зори», повести «Пятый угол», «Назаров», «Шальная неделя» и др.), так и на историческую. В серии «Пламенные революционеры» в 1979 г. вышла его повесть «Бремя выбора» о Владимире Загорском.

Щ $\frac{0505020000-017}{079(02)-83}$ 270—83

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он стоял бородой в дверь и, замерев, слушал, как звяк сабель стихал на темных ступенях. «Зачем бренчит, чему нас учит?»

Зачем приходили? «Зачем сердца волнует, мучит?..»

Не думал, что они придут, не ждал. Ходили при Николае Павловиче, теперь Александр Николаевич, а-свободитель. Потому они и ушли, а его оставили. Догнать надо и благодарить, он же стоит у порога и негодует.

Свет свечей желтым клином падал из кабинета, мерцала оливковая гладь двери. Затихли шаги, смолкли сабли. Вот как, оказывается, они гремят, почему-то прежде не вслушивался. А как гремят кандалы? Прожил тридцать два года и ни разу не слышал — это в России-то...

Тихо в доме, тихо на улице, спит столица. «Пришли и стали тени ночи на страже у моих дверей». Домá еще дремлют в темени, над плоской Невой туман, в сумраке над Дворцовой площадью крылатый ангел на столпе. Спят Екатерингофский проспект, канал, Аларчин мост, один он не спит в доме Валуевой... Вздохнул, убрал руку с теплой меди, обернулся идти в кабинет, к свечам, и — перехватило дыхание. Дверь в половину Шелгуновых отворена, на пороге мальчик в белой рубашке до полу.

— Класивенькие совдатики.

Тоска сжала его, жалость и боль.

Они оставили тебя с твоей отдельностью, твоей никчемностью, бессловесностью!

«Шет-пушпак!..»

Не можешь броситься навстречу мальчику со словами нежности, не можешь броситься за ними следом со словами ненависти...

Они были вежливы и учтивы, если не брать в учет время визита — самую пору снов. Два полковника, полицеймейстер Золотницкий и жандармский штаб-офицер Ракеев. Напористо извиняясь, Золотницкий сказал, что они имеют поручение произвести «маленький обыск». Третьим с ними пришел квартальный, худой, унылый и заспанный господин.

Михайлов, запахнув халат, стоял перед ними в растерянности, прикидывая, какая мера нужна, чтобы потом не корить себя. «Прежде всего камин!» Он подвинул кресло вплотную к жерлу камина и сказал:

— К вашим услугам, господа.

Рябой, с подстриженными усами Ракеев прошел к письменному столу Михайлова, уселся в кресло, спросил, нет ли в столе денег и драгоценных вещей, кои следует выложить отдельно, и, услышав, что ничего такого в столе, как и в других местах, не хранится, начал довольно сноровисто выдвигать ящики и пачками извлекать содержимое — рукописи, письма, корректуру статей.

Михайлов снял очки, и визитеры исчезли. Долго протирал глаза. Зачем они здесь? Как узнали? Или у них другой повод? Какой? Впрочем, хватит и того, что ты прибыл из-за границы.

Он надел очки и снова увидел Ракеева за своим столом. Тот вынимал из конверта письмо, Михайлов узнал голубую бумагу и почерк Людмилы Петровны, с раздражением шагнул к столу, намереваясь сказать: «Как вы смеете!» И остановился под взглядом жандармского.

— Это что-с? — спросил Ракеев.

— Это семейные письма.

Ракеев повертел в руках заграничный паспорт Михайлова.

— Как же вы его не представили? Ведь следовало по приезде тотчас предъявить в канцелярию генерал-губернатора.

Золотницкий вежливо пояснил: они долго искали Михайлова, не зная, где справиться об адресе.

Как понять «долго»? С весны? Или день, два, три? И по какому поводу начали искать? Шпионы их наверняка уведомили, что он был в Лондоне у Герцена и Огарева. Ну и что из того? О большем никакой шпион их знать не может.

Но разве визита к Герцену не достаточно для обыска? Не мог же сотрудник «Современника» воротиться из Лондона с пустыми руками.

По виду их Михайлов скоро понял, что они не знают толком, чего искать. А коли так, надо держаться уверенней, взять тон оскорбленного. Или же высокомерно спокойного — делайте, господа, что хотите, ведь вас даже на дуэль не вызовешь, если и нахамите. Но они держались учтиво, а Золотницкий еще и вставлял французские фразы. После обыска они скажут: «Мы обязаны вас препроводить, господин Михайлов», он оденется и пойдет с ними. Жалкое, рабское положение. Если бы не камин...

Но тебе следует держаться так, будто в камине ничего нет, кроме вороха бумаг для растопки.

— Господа, что вы ищете? Не могу ли я вам помочь?

— Да нет ли у вас каких запрещенных книг? — отозвался полицеймейстер весьма простецки.— Или «Колокола», например? Я уже давненько его не читал. Вы, верно, привезли последние номерки?

Неужто в Третьем отделении нет «Колокола»? Герцен говорил, что журнал доставляется государю императору, членам Государственного совета, некоторым минист-

рам, сенату, генерал-губернаторам. «Колоколом» пользовалась для справок комиссия по крестьянскому делу. Над статьей в «Колоколе» о воспитании детей пустила слезу императрица Мария Александровна. По разоблачениям в «Колоколе» государь повелел пересмотреть дело князя Кочубея (князь подстрелил своего управляющего имением, а затем упек раненого в тюрьму). Взяточники предлагали подкупить Герцена, казнокрады советовали дать ему какой-нибудь видный пост, авось Искандер оставит свои разоблачения. В верхах не только читали, но и писали в «Колокол». Тайное заседание Государственного совета накануне реформы было поразительно подробно освещено Герценом. Если Золотницкий и в самом деле не чи́тал «последние номерки», так только по лености своей и нерадивости.

— Сожалею, но «Колокола» я не привез,— сказал Михайлов.

Если бы не камин... «Нам не нужна власть, оскорбляющая нас; нам не нужна власть, мешающая умственному, гражданскому и экономическому развитию страны...» Нам не нужна, а им нужна, они ее ретиво оберегают.

Ракеев сидел за столом, Золотницкий топтался возле шкафов с книгами, читая корешки, доставал наугад, ставил обратно, косился на ряды с заметной оторопью, не зная, как тут справиться с обилием книг. Если жандармский выудил хоть паспорт и аттестат об отставке, то полицейский ничего не добыл и смотрел на книги с тоской, задрав голову, вот-вот завоет на луну.

— Какая книга вас интересует, господин полковник? — спросил Михайлов.

— Да нет ли у вас чего? — взмолился Золотницкий тоном: «дайте хоть что-нибудь, и мы уйдем с богом».— Из книг-то, чего-нибудь запрещенного?

Михайлов подошел к шкафу.

— Ну вот Прудон был раньше запрещен, Луи Блан. А теперь не знаю. Да у кого же нет таких книг!
— На французском?
— Да.
— Нет-с, на русском бы чего-нибудь.
Михайлов развел руками — чего нет, того нет. Золотницкий вздохнул и сел в кресло спиной к камину. Ракеев, закончив рыться в столе, развернул свое кресло и уселся несколько развалясь, давая понять, что они не уйдут, пока им не будет предъявлено чего-нибудь на русском.
Ради спасения камина придется все-таки чем-то пожертвовать.
— Ну вот Пушкин есть, берлинское издание.
— Пушкин, помилуйте! — воскликнул Ракеев.— Великий был поэт, честь России! А знаете, ведь и я попаду в историю. Да-с, попаду! Ведь я препровождал... Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина.
Чисто российские похороны — на тот свет под конвоем. Потому и кличка у них «архангелы».
— Да-с, не скоро, я думаю, дождемся мы второго Пушкина,— продолжал Ракеев, озабоченный судьбой русской поэзии.
— А зачем? — поинтересовался Михайлов и вскинул голову, выставил бороду, как всегда в споре, глядя на противника сверху вниз.
— Не понял-с?
— Зачем вам нужен второй Пушкин, господин полковник? Чтобы иметь счастье вторично похоронить его?
Ракеев не ожидал такого яду от кроткого с виду литератора.
— Напрасно язвите, господин Михайлов, я был назначен пре-про-водить! По воле самого государя императора, почетный эскорт, можно сказать, а вы изволите язвить. Николай Павлович очень любил Пушкина, после

бунта на Сенатской площади первым делом вызволил его из ссылки и призвал в Петербург. К себе!

Ракеев повысил голос, и Михайлова еще больше задело.

— Призвал к себе и спросил: где бы вы были, Пушкин, четырнадцатого декабря? И что услышал в ответ?

Ракеев засопел, поморгал, сказал упрямо:

— Я про Пушкина знаю все.— Мол, знаю, да не считаю нужным отвечать на ваши подковырки.

— И услышал в ответ,— Михайлов с удовольствием отчеканил: — «На Сенатской площади, ваше величество!»

— Не было этого! — возмутился Ракеев.— Это все ваши литераторы-свистуны! Он камер-юнкером был, при дворе его величества!

Михайлов поморщился: орет ни свет ни заря, разбудит Шелгуновых, встревожит дом. Он отвернулся и не стал спорить.

— Великий-то он великий,— проговорил Золотницкий, листая томик Пушкина,— да только, куда ни глянь, все подлежит запрету.— Похоже, он не слишком-то разделял восторги жандармского.

— Вы же не цензор, господин полковник, откуда вам знать, что подлежит запрету,— сказал Михайлов мирно.

— Да я и так вижу! — возмутился Золотницкий.— Тут слепой увидит. «Могу сказать, перенесла тревогу: досталась я в один и тот же день лукавому, архангелу и богу»,— прочитал он с запинкой, как приходской ученик, посмотрел на Михайлова, на Ракеева, не увидел особливого возмущения, перевернул обратно страницы две и продолжил увереннее: — «По счастию проворный Гавриил впился ему в то место роковое (излишнее почти во всяком бое), в надменный член, которым бес грешил».— Ну-с? Не на заборе сие написано, а в книге. Пропечатано!

— Живо, дерзко, изобразительно! — сказал Михайлов.— Это вам не четьи-минеи.

Ракеев покряхтел, ему хотелось вступиться за Пушкина — препровождал ведь! — только он не знал, с какого тут боку поддержать, чтобы не вышло хуже.

— Это Барков писал! — наконец нашелся Ракеев.— Срамной Иван Барков, а в Берлине издали. Что им, немцам, до чести России?

Так и ломится Ракеев войти в историю. Впрочем, уже вошел. В тридцать седьмом возле Пушкина, в сорок девятом возле Плещеева, Достоевского — ровно через двенадцать лет. Нынче снова. И опять через двенадцать лет... Харон Третьего отделения. Есть, видимо, у них такая должность — полковник по писателям. Иной и позавидовать может — каждый шаг его исторический.

И про Достоевского он знает все, и про Петрашевского. Но кому оно нужно, такое его знание? Когда вешали декабристов, оборвалась веревка. «Всё в России прогнило, даже веревки»,— сказал Каховский, снова поднимаясь к петле. «Не было этого!» — кричит Ракеев. «Это драгоценное ожерелье надела на нас любовь к человечеству»,— сказал о кандалах Петрашевский. «Не было этого!» — «Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена!» — «Не было и не будет!» Иначе, что за жизнь у Ракеева, чем ее оправдать?

— Это надо отложить,— Золотницкий брезгливо положил томик вместе с паспортом и аттестатом, прицельно оглядел кабинет и направился к столику в простенке между окнами. Он узрел, похоже, толстый альбом на столике, вещь для Михайлова дорогую.

— Прямо перед вами, господин полковник, запрещенный портрет,— сказал Михайлов, пытаясь отвлечь Золотницкого от альбома.

— Что за портрет, кого?

Михайлов умышленно помедлил, затем сказал:

— Портрет господина Герцена.

Оба полковника прытко ринулись к портрету, сняли

его и понесли к свету. Вне сомнений, видели они его впервые. Разгильдяи, однако, на такой службе давно полагалось бы знать в лицо государственного преступника номер один.

— Как же это вы так? — осудительно заметил Золотницкий.— На виду его держали?

Уже в прошедшем времени — «держали».

— А что в этом осудительного, господин полковник? Неужто от портрета на стене содрогаются столпы вседержащие? А если бы я назвал его каким-нибудь Клейнмихелем?

— Я понимаю вашу иронию, господин Михайлов, но в лице его и в самом деле что-то есть.

Ракеев изучал портрет пристально, дабы не обмануться при случае, если кто врать станет, что это не Герцен, а троюродный дядя из Костромы. Он бы его препроводил! Портрет они заберут насовсем, разумеется. Михайлов найдет другой, в Петербурге это несложно. Зато альбом спасен, а в нем автографы Герцена и Огарева, за ними надо ехать в Лондон.

— А это кто? — Золотницкий ткнул пальцем в другой портрет. Теперь все лица казались ему запрещенными.

— Это Гейне.

— Кажется, немецкий писатель?

Михайлов усмехнулся, не ответил. Всякий грамотный в России, всякий мало-мальски думающий знает стихи Гейне в переводе Михайлова: «Брось свои иносказанья и гипотезы святые; на проклятые вопросы дай ответы нам прямые!»

Ракеев тем временем подошел к камину и взялся за кресло возле него. Михайлов похолодел, непроизвольно схватил со стола спички. Если Ракеев отодвинет кресло... Михайлов запахнул халат, руки дрожали. «Холодно, господа, позвольте мне затопить камин?» Они сразу поймут,

бросятся, разгребут ворох сверху... и все пойдет прахом. «Да вы просто струсили, Мих»,— скажет ему Людмила Петровна.

Ракеев заглянул в камин, не отодвигая кресла.

«Надо схватить кочергу и... по рукам его! Поджечь и стоять рядом, пока все не сгорит!» Решил твердо, но с места пе сдвинулся, будто оцепенел.

Ракеев пригнулся и достал из камина скомканную бумажку.

— Извольте, я вам помогу, господин полковник!

Михайлов взял кочергу, отодвинул кресло, сунул кочергу в утробу камина и подгреб из глубины. «Неужели все вычистили?!» Горьковато пахнуло остатками древесного угля. Ракеев развернул бумажку и внимательно присмотрелся.

— А это вот-с что такое? — послышался голос Золотницкого.— О революции, кажется?

Их двое, а он один, хоть раздерись!

— Да-да! — не оборачиваясь, подтвердил Михайлов, следя за Ракеевым. Тот, не найдя в бумажке ничего занятного, поморщился, бросил листок обратно и пошел к Золотницкому, влекомый словом «революция».

«Придвинуть кресло? Или оставить так?..» Спрашивал у себя, не принимая решения, как к двойнику обращался, который прозорливее — ведь удержал от поджога.

Михайлов обернулся к Золотницкому.

— Это «Французская революция» Карлейля.

Золотницкий с досадой поставил книгу на место и начал энергично перебирать полку — как раз ту, где во втором ряду стояли «Колокол», «Полярная звезда» и кое-что другое. Спасать надо уже проверенным способом— отвлекающим. Михайлов быстро подошел к нему.

— Вот вам еще брошюра, может быть, и запрещенная. В Лондоне напечатана.

Он подал полковнику «Народный сход», речи членов

международного революционного комитета на митинге эмигрантов в Лондоне.

— А! Вот-с! — Полицеймейстер выудил наконец золотую рыбку.

— Отложим, отложим,— поддержал Ракеев.

Михайлов вытер взмокший лоб, вернулся к камину, придвинул кресло и сел в него, невероятно усталый.

Все-таки о главном они не знают, даже не верится. Роются, роются, о том спросят, о сем, но только то и хватают, что Михайлов им сам предложит.

Зачем пришли?

— Ну-с, я думаю, можно уже и акт составить,— сказал Ракеев и обернулся к квартальному.— Садитесь. Вы знаете, как пишутся акты? — И Ракеев начал врастяжку диктовать, наслаждаясь привычным слогом: — Сентября, первого дня, сего, одна тысяча восемьсот шестьдесят первого года...

Написали акт, аккуратно завернули в пакет томик Пушкина, «Народный сход» и портрет Герцена, приложили свою печать и попросили, чтобы Михайлов приложил свою. И на этом все?

— Позвольте вас попросить еще об одном одолжении, господин Михайлов.

«Одеться и следовать за ними? Тогда придется разбудить Шелгуновых».

— Формальности, господин Михайлов, что поделаешь,— извинительно продолжал Золотницкий.— Напишите на этом пакете, прошу вас: «Все эти вещи действительно взяты у меня».

Михайлов так и написал, расписался. Если бы Золотницкий просил проще —обычная процедура,— подозрений бы не возникло, но он испортил кашу маслом, уж слишком просил, и Михайлов, хотя и поздно, догадался: им нужен почерк его — для сличения. С чем? Что ими найдено прежде? У кого?

Кое-что можно найти у Костомарова. В Москве. Но если бы нашли там, то знали бы, что искать здесь. А они не знали.

Полковники вышли в прихожую, нацепили сабли. Михайлов проводил их до порога, закрыл дверь за ними, постоял, слушая их шаги по ступеням.

Чего опасаемся, то и случается... Но чего опасаться, если они пришли по его зову? Если его услышали, наконец?

Возбуждение охватило его, отрада. Сдвинулось!

Повернулся идти в кабинет, навести порядок, чтобы и следа не осталось от пакостного визита, повернулся и замер. Дверь в половину Шелгуновых была отворена и на пороге стоял мальчик в белой рубашке до полу, сумрачный, темноголовый. Подняв подол ко рту, он грустно смотрел на дверь, мимо Михайлова.

— Класивенькие совдатики.

Как он попал сюда? Слышал бряцание сабель, топот?

— А ты не пошел с ними, дядя Миха?

«Зачем же, милый мой? С ними пойдешь, не вернешься».

Михайлов бросился к мальчику, осторожно и трепетно прижал к себе его хрупкое тельце и забормотал тихонько:

— Миша-Мишенька-Мишулька, копытце мое!..

Мальчик отстранился от ласки.

— А можно к тебе, дядя Миха? — Смотрел на Михайлова сумрачно, ожидая разрешения, как взрослый.

«Почему ты никогда не улыбаешься, копытце мое?»

— Можно, Мишулька, можно.

«Почему ты такой послушный, сам никуда не лезешь? Тебя же не коснулось еще воспитание,— с болью думал Михайлов, идя в кабинет следом за мальчиком.— Неужели и я был таким?»

Завтракали вчетвером — Николай Васильевич Шелгунов, с утра собранный, подтянутый, в мундире подполковника лесной службы, уже готовый идти в департамент, Людмила Петровна Шелгунова, слегка заспанная, в домашнем платье, брат ее, Евгений Михаэлис, среди своих Веня, в студентском сюртуке с голубым воротом, и Михайлов.

— Жду начала лекций с превеликим нетерпением,— объявил Веня.— В первый же день расклею лист по всему университету.

— Зачем же по всему? Молодо — зелено,— усмехнулась Людмила Петровна.

Вене в сентябре исполнится двадцать, Людмила Петровна старше его на восемь лет, Михайлову тридцать два, а Шелгунову уже тридцать шесть.

— Именно по всему, сестрица! — горячо возразил Веня.— Только так можно разбудить наше сонное царство, только так, когда каждому сунешь под нос, я прав, Михаил Ларионович?

Михайлов рассеянно кивнул.

— Я их оглушу, всполошу листом, взбудоражу! — страстно продолжал Веня.— В университетах Харьковском, Киевском давно созданы тайные студентские общества, а у нас? О московских студентах и говорить нечего, восхищения достойны! — несся на вороных Веня.— Вон какую книжку Огарева издали: «С людей четырнадцатого декабря Россия должна считать эру своего гражданского развития». Казанские студенты устроили панихиду по расстрелянным в Бездне, а у нас? Ихний профессор Щапов удостоен крепости, а у нас? Тошно ходить в университет, в котором ни один профессор не сидел в крепости.— Жестикулируя, Веня уронил вилку, она звякнула о тарелку, и Михайлов заметно вздрогнул.

— В свое время отведал крепости Костомаров,— поправил Веню Шелгунов.

— Да, но тогда он был адъюнкт-профессором Киевского университета,— тут же отпарировал Веня.— А теперь погряз в санкт-петербургском болоте.

Веня поразительно много помнил и поистине хватал знания на лету. Книжку «Современника» в тридцать печатных листов он прочитывал от корки до корки в один присест, и не просто пробегал глазами, а вникал и усваивал, мог цитировать потом наиболее выразительные куски. Горячий, смелый, отзывчивый, он не зря пользовался уважением среди студентов. Знали о нем и в других кругах. Как-то вдруг приехал к Михайлову Добролюбов — специально знакомиться со студентом Михаэлисом, наслышан о его способностях. Для Михайлова и Шелгуновых Веня служил своего рода барометром настроений молодого поколения. Чем оно живо? А вот чем. И Веня излагал Чернышевского: только в честь тех должна возжигать свой фимиам история, которые имели мужество возвышать независимый и гордый голос, когда против вас шумит мнение современного общества; со святою жаждой справедливости идти к цели, не озираясь, идет ли за вами толпа, и достигнуть высот, указуя путь отставшему своему поколению.

В беседах старших о политике он участвовал на правах равного, горячился и впадал в крайности, досадуя на всякую постепенность. Зашел, к примеру, разговор о защите крестьян от помещиков, Веня тут же дерзко заостряет беседу цитатой из Добролюбова: «Они, например, вдруг вообразят, что надо спасать крестьян от произвола помещиков: и знать того не хотят, что никакого произвола тут нет, что права помещиков строго определены законом и должны быть неприкосновенны, пока законы эти существуют, и что восстановить крестьян собственно против этого произвола значит, не избавивши их от помещика, подвергнуть еще наказанию по закону».

Слыша гневные обличения чиновничьих бесчинств,

которым несть числа, Веня не без ехидства влезал с другим суждением из Добролюбова: выгнать со службы несколько мелких взяточников, обличить целовальника, продающего в кабаке дурного качества водку,— вот и воцарится правосудие и крестьяне будут благоденствовать. А мы, тратя силы на подобные подвиги, не шутя посчитаем себя героями.

Запас цитат служил для Вени арсеналом в баталиях на студентских сходках. Он знал не только литературу и естественные науки, но интересовался историей, мог вспомнить и записки о Джунгарии петербургской знаменитости прошлой зимы султана-географа Валиханова: «Остра ли твоя сабля? — спросил бек оружейника, пришедшего к нему с мальчиком, своим сыном. «Остра, мой повелитель, остра».— «А ну-ка попробуем!» — Бек взмахнул саблей и срубил голову мальчику...»

— Вот объявят новые правила для студентов, и все их примут, как овцы! — не унимался Веня.— Нужен лист. В первый же день занятий! Разве я не прав, Михаил Ларионович?

В своих крайностях Веня всегда находил поддержку у Михайлова. Но сейчас Михайлов его плохо слушал, он думал о том, как сказать друзьям о ночном визите, с чего начать.

— Самовар подавать? — громко спросила кухарка в дверях, и Михайлов снова вздрогнул, заметил обеспокоенный взгляд Людмилы Петровны и виновато улыбнулся.

— Я плохо спал сегодня.

— Если запретят студентам давать уроки! — Веня поднял кулак в сторону Дворцовой площади.

— Мишулька тоже чуть свет поднялся,— сказала Людмила Петровна.— С утра капризничает.

— Весь в меня,— неохотно переключился Веня.— С детства чувствует несправедливость мира сего. Да и я

плохо спал, у вас что-то шагало, гремело.— Веня обернулся к Михайлову.

— Мих тайком принимал очередную поклонницу. Она, видимо, гремела доспехами.

— И не одну, Людмила Петровна. И доспехи, кстати, тоже были.— Под взглядом ее тревожных глаз он приободрился, вскинул бороду, сел соколом и речитативом пропел: — Два покло-онника, два полко-овника.

— Вот как, два полковника! — подхватил шутку Веня.— И что же вы, Михаил Ларионович? — При всей своей начитанности Веня бывал по-детски наивен и смешлив.

— А я? Что же я?..— Михайлов поглядел на живое, симпатичное лицо юноши и не захотел его огорчать.— Вошли они в кабинет, сняли каски и положили на подоконник...— Людмила Петровна пристально на него смотрела и Михайлов смешался.

— Ну, а вы? Вы-то что? — не унимался Веня, заранее улыбаясь, сейчас будет анекдот.— Распростерли свои объятия?

— А я? «Как можно-с, говорю, здесь дует!» И перенес каски на стол.

Веня благодарно рассмеялся, он обожал Михайлова.

— Оставь неуместный смех, братец,— недовольно сказала Людмила Петровна. Веня хотел ей весело возразить, но его перебил ровный баритон Шелгунова:

— А если серьезно?

— Если серьезно...— Михайлов положил руки на стол, сжал кулаки, силясь удержать тревогу. Все утро его преследовало ощущение угрозы, срыва стихии, то ли хлынет Нева на город, то ли земля провалится. Будто нынче узнал, что Петербург стоит на трясине и не устоялся еще. И главное — видение: на пороге мальчик в белой рубашке до полу... а с ним и всё, вся жизнь на пороге чего-то нового.— На рассвете у меня были два полков-

ника,— продолжил Михайлов, следя за голосом.— Жандармский Ракеев и полицеймейстер Золотницкий.

— Извините,— пробормотал Веня и самолюбиво покраснел.

— Сделали обыск, кое-что забрали.— Волна перед ним, потоп, а он выстоит и себя проявит.

— Лист? — хрипловато спросил Николай Васильевич.

— Портрет Герцена, брошюру «Народный сход» и томик Пушкина, вагнеровское издание.

Эта стихия — испытание для него.

— А лист, лист? — нетерпеливо переспросил Шелгунов.

— Не смотри на меня сентябрем, Николай Васильевич. Лист в сохранности. Полагаю, они его и не искали.

Спокойный, волевой Шелгунов не сдержал облегченного вздоха.

— А что же они искали?

— Не могу понять. Гадал-гадал, наблюдал-наблюдал, похоже, они и сами не знали, зачем пришли.

— Давайте прикинем, откуда они могли узнать про лист,— предложил Николай Васильевич.

— Злой упрямец Шелгунов! — воскликнул Михайлов.— Я же сказал: про лист им ничего не известно! Я бы сразу понял. Они не скрывали своих намерений.

— Каких?

— Что пришли вслепую, на авось. «Нет ли у вас чего на русском, запрещенного?» — Михайлов нервничал.

— Давайте сначала позавтракаем, а потом уже будем прикидывать,— сказала Людмила Петровна.— Ничего особенного не произошло. Ни-че-го! — повторила она, ласково глядя на Михайлова.

— Вы не правы, Людинька,— мягко возразил Шелгунов.— Мы должны обсудить все, не откладывая.

— А кому вы показывали лист, кроме меня? — спросил Веня.

— Никому,— быстро солгал Михайлов.
— Никому, кроме Костомарова,— уточнил Николай Васильевич.
— Нет! — загорячился Михайлов.— Никому, я повторяю. Никто о листе ничего не знает. Кроме, разумеется, Герцена и Огарева.
Шелгунов деликатно промолчал.
— Герцен, правда, говорил, что за ними следят. Но если бы тамошняя агентура дала сведения, в Штетине перерыли бы мои чемоданы. Ничего подобного, досмотр был обычным.
— Они тоже умнеют, Мих,— заметила Людмила Петровна.
— Костомаров в свой последний визит не произвел на меня хорошего впечатления,— раздумчиво проговорил Шелгунов. Ровно, упрямо он гнул свое, помня, однако, о том, что сам утверждал: «Вредный человек есть в то же время и глупый».
Михайлов рывком поднялся, оттолкнул стул, пошел к окну, от окна к роялю, от рояля к столу, вокруг стола, восклицая на ходу:
— Всеволод Дмитрич наш друг! Он замечательно умен! Он талантлив! Его рекомендовал Плещеев! — Михайлов солгал, попался и обиделся, как ребенок, из-за своей неправды. Неделю назад он говорил Шелгунову, что показывал лист Костомарову и даже просил его взять в Москву сто экземпляров. Показывал, но не придал этому особого значения. «А коли я не придал, то и вы не придавайте». Ведь так все просто: он не хочет никого тревожить излишним опасением.— Не забудем, именно появление здесь Костомарова подтолкнуло нас составить лист. Не только этот, но и другие.
— Всеволода Дмитриевича мы не должны считать источником сведений для Третьего отделения,— заявила Людмила Петровна.— Что вы носитесь, Мих? Садитесь.

Михайлов послушно сел, кротко стал пояснять Шелгунову:

— Он задавлен нуждой, понимаешь, Николай Васильевич, семь душ на его плечах. Он угнетен, жалуется, а у меня денег кот наплакал после заграницы. Хотел помочь от конторы «Современника», но Некрасов уехал в деревню, а Чернышевский в Саратове. В нужде, без денег всякий не произведет хорошего впечатления.

— А он не родственник нашему профессору истории? — спросил Веня.

— Кажется, племянник его, но он, Веня, поэт, уланский корнет, в нем развито чувство чести.— Михайлов ощущал, что заступничество его сверх меры, но остановиться не мог.— Бедный, разорившийся, вернее, отцом разоренный, но дворянин. Он никогда не пойдет к профессору за подачкой.

— Я не хотел тебя обидеть, Михаил Ларионович,— сказал Шелгунов,— но позволь напомнить тебе наш разговор в Париже.

— О чем?

— О том, что такое легкомысленный человек, к коим отчасти принадлежит мой друг. Ты со мной согласился.

— Да-да,— Михайлов закивал головой.

— Если тебе грозит арест, я за то, чтобы немедля, сейчас же затопить камин, и пусть все улетит в трубу.

— Был у меня такой момент, я уже спички схватил запалить, едва удержался.

Настал черед взволноваться Вене. Он порывисто вскочил и, подражая Михайлову, заходил вокруг стола.

— Господа! Помилуйте, господа! Лист крайне нужен молодому поколению! Если что-то грозит, я тут же, сию минуту распихаю все экземпляры за пазуху, по карманам, в сапоги, и духу его здесь не останется. Зачем же сжигать?! Столько надежд! Такая будет буря, господа!

— Братец, сядь и не обезьянничай,— приказала Людмила Петровна.

Веня сел — такая уж она напористая, сестрица,— и, волнуясь, начал горестно пощелкивать пальцами.

— Сжигать лист неразумно,— продолжала Людмила Петровна,— тем более что Мих уже спас его от полковников. Лист, можно сказать, получил крещение. К тому же, вспомните — весь год, в сущности, проходит у нас в заботах и хлопотах об этом листе.

— В таком случае, давайте распространим его незамедлительно, не дожидаясь занятий в университете.

— Отлично, Николай Васильевич, я согласен! — подхватил Веня.— Полковники пришли и ушли. Все это мелочи перед вечностью, как говорит султан Валиханов.

— А теперь продолжим завтрак как ни в чем не бывало,— сдался наконец Николай Васильевич, или сделал вид, что сдался.

— Это замечательно! Это бодрит! — И Веня запел, ликуя: — «Жрецов греха и лжи мы будем глаголом истины карать».

Когда Михайлов сказал, что полковники перерыли все его бумаги и личные письма, Людмила Петровна возмутилась:

— Врываются среди ночи, бесчинствуют, поневоле вспомнишь Европу. Вы не должны прощать, Мих, сегодня же пожалуйтесь шефу жандармов.

— Князь Долгоруков в Крыму вместе с государем,— пояснил Николай Васильевич.— За него правит Третьим отделением граф Шувалов.

— К нему я и пойду,— решил Михайлов.

— И что скажешь?

Михайлов обиженно нахмурился. Шелгунов ведет его на помочах, да еще в присутствии Людмилы Петровны, предупреждает, оговаривает. Другого Михайлов сразу бы осадил дерзостью, заставил бы отказаться от забот

о ближнем. Но Шелгунов знает, что говорит. В Париже, в отеле «Мольер», перед самым отъездом в Россию Николай Васильевич попросил Михайлова раскрыть упакованный чемодан. Михайлов, хотя и с неохотой, послушался, раскрыл. Шелгунов одним движением ворохнул содержимое, и сразу весь грех паружу — белоснежные листы, четкий шрифт. «Кес-ке-се, мусью Михайлов?» — спросит тебя таможенный чиновник». Шелгунов аккуратно распорол подкладку чемодана, тщательно уложил все экземпляры листа и ровненько подклеил подкладку обратно. Потому-то и легко прошел Михайлов досмотр при въезде в Россию.

Ну а сейчас разве Шелгунов не прав в своих предостережениях? Михайлов ведь не сказал друзьям, с чьей помощью полковники заполучили добычу,— он ведь им сам вручил. Вот вам запрещенный Пушкин, вот вам запрещенный Герцен, вот вам запрещенный «Народный сход». Вручил для отвода глаз, но... нелепая все же услужливость. Так что не зря Николай Васильевич уточняет, советует, как лучше,— он знает своего друга.

— Я спрошу Шувалова прямо: чем я привлек ваше внимание?

— Не откладывайте, Мих, сегодня же.

— Сразу после завтрака, Людмила Петровна.

Но после завтрака она села за рояль, сама, не дожидаясь просьб, прошла, села и энергически ударила по клавишам — марш Бетховена «На Афинских руинах» в переложении Рубинштейна.

У Михайлова — зябкие мурашки по телу, он выпрямился, напрягся, он все вынесет! Веня, как на параде, под марш прошагал к окну и воздел руки, грозя Петербургу, бледный и взволнованный. Николай Васильевич задумчиво курил, опустив глаза, один только Михайлов смотрел па Людмилу Петровну, зная, она для него выбрала этот редкий марш, сложный в исполнении. Щеки ее

горели, играла она вдохновенно, а он слушал и каменел в своей отваге идти до конца, следил за ее красивыми, ее прелестными руками с узкими и слегка пухлыми пальцами, которые он увидел впервые на маскараде шесть лет назад, увидел и сразу полюбил.

Ничего страшного не произошло, нич-чего! Взошла заря обновления, о которой они все мечтали, ради которой и действовали. И ярче под звуки марша, значительнее стали его строки, написанные для нее прежде: «Боже, каким перепутьем меня, странника, ты наградил! Боже, какого дождался я дня! Сколько прибавилось сил!»

Граф Шувалов сам вышел в приемную, пригласил Михайлова в кабинет и спросил о причине его визита. Холеное лицо бесстрастно, служебно-приветливо.

— Долг вежливости, Петр Андреевич, сначала вы ко мне, а теперь вот и я к вам.

Граф слабо улыбнулся и ничего не сказал. Обстановка в его кабинете, довольно просторном, ничем не напоминала канцелярию. Топился камин, на нем резные часы, канделябры, возле камина письменный стол. Вдоль стены мягкие кресла хорошей работы.

— Не скрою, ваш визит оставил у меня пренеприятное впечатление,— продолжал Михайлов.— Кажется, к этому не было с моей стороны никакого повода.

Шувалов не отвечал, глядя на Михайлова без всякого выражения.

— Разве только мой образ мыслей кому-нибудь не понравился?

— Дело не в образе мыслей. Я и сам человек либеральный.

Если под либеральностью понимать свободу позиции, то у Шувалова она была. Ярый противник освобождения крестьян, граф выглядел среди крепостников фигурой

оригинальной. Прежде всего молод, едва перевалило за тридцать, тогда как другие враги реформы уже в преклонном возрасте, николаевские сподвижники. Не скрывая своей позиции, молодой граф делал тем не менее на удивление блестящую карьеру при царе-освободителе. В тридцать лет он стал обер-полицеймейстером Петербурга, в тридцать три — директором департамента министерства внутренних дел и теперь ведает Третьим отделением. Он перечил государю императору в деле освобождения крестьян, а государь в ответ почему-то повышал его и повышал.

— Я пришел затем, чтобы услышать ваше объяснение,— настойчивее продолжал Михайлов.

К чести графа, он не стал юлить.

— На вас, господин Михайлов, падает подозрение в причастности к делу московских студентов. У них открыта тайная типография и литография. Печатали Огарева. И еще кое-что собирались печатать.

Михайлов пожал плечами, едва не сказав: «Так это совсем другое!»

— Дело передано из Третьего отделения в министерство внутренних дел. Оттуда вы получите на днях вопросные пункты.

Граф не лгал, московские студенты арестованы в августе, о чем говорил Костомаров в свой последний приезд сюда десять дней тому назад. Ненапечатанными остались воззвания «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и «К солдатам», они у Костомарова в рукописях, и в них есть места, вписанные Михайловым.

А что, если рукописи попали в Третье отделение? Тогда понятно, зачем Золотницкий просил подписи Михайлова на пакете,— есть у них с чем сличить. Вопросные пункты скорее всего будут на эту тему. Что же, ответ готов: Михайлов не знает, кем эти воззвания составлены. Разве мало по Петербургу всяких подземных сочинений?

Он их не писал и не знает, как они попали в Москву. А что касается почерка — виноват, не утерпела душа литератора, приложил руку во исправление несуразностей.

Все это пустяки, главное, они не знают про лист. Михайлов приободрился. Ехал домой возбужденный, веселый. Глядя на воду канала, вспомнил Трувиль, берег моря, представилось — после отлива остался песок на отмели, чистый и ровный. Побежать бы по глади босыми ногами к воде, оставляя след, каждый шаг...

Впрочем, следа лучше не оставлять.

Но ведь снова будет прилив и все смоет, иди смелей!

А вдруг не будет прилива, тогда что?..

Поскольку в листе было сказано: «Печатано в сентябре 1861 года», следовало выждать с распространением хотя бы дня два-три для достоверности. Никто больше Михайлова не тревожил, и он спокойно готовил порох для петербургских умов — раскладывал лист в пакеты и, меняя почерк, подписывал их частным лицам и редакциям — «Современника», «Русского слова», «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения», «Времени», не забыл и про «Рассвет» (журнал для взрослых девиц). Помогали Михайлову Шелгуновы и Веня. Все были оживлены, острили, охотно смеялись. Ждали — что-то будет! Для большего грому адресовали четыре штемпельных пакета высшим правительствующим лицам: министру внутренних дел Валуеву, министру народного просвещения Путятину (он ведал цензурой), министру государственных имуществ Муравьеву и, наконец, в Третье отделение, самому графу Шувалову. Условились о способе распространения: ходить пешком, отдавать по два, по три пакета в мелочные лавки, где принимают городскую корреспонденцию. В больших домах, если там есть ящик

для писем, опускать туда по одному, по два пакета, если же нет ящика, звонить у дверей, класть пакет на пол и быстро уходить. В парадном без швейцара разбрасывать по два-три пакета, никому не звоня. Не забыть подбросить пакета два и в своем подъезде.

Кто будет распространять? Веня заявил, что у него найдется добрая дюжина молодцов, способных подбросить лист хоть государю императору. Михайлов уже согласно закивал, но вмешался Николай Васильевич:

— Я не сомневаюсь в ваших друзьях, Веня, но полагаю, что лучше нас четверых никто этого не сделает.

Михайлов повернулся к Вене и развел руками — Шелгунов, как всегда, прав.

— Вчетвером по всему Петербургу? — усомнилась Людмила Петровна.

— А не пригласить ли нам Серно-Соловьевича младшего? — подсказал Михайлов.

Зимой Михайлов носился с Костомаровым, весной он уже жить не мог без Александра Серно. Тот провел несколько лет за границей, отлично знал языки, театр, музыку, был умен, образован. Вернувшись в Петербург, он нашел здесь предостаточно поводов для язвительного остроумия, быстро сошелся со многими литераторами, покорил Михайлова и сам покорился.

Против Александра Серно Шелгунов не стал возражать, и Вене поручили пригласить его на завтра. Братья Серно-Соловьевичи имели собственный дом на Царскосельском проспекте и жили на широкую ногу.

На другой день сразу после полудня приехал Александр Серно, румяный, сероглазый, молодой (двадцать три года), нетерпеливый — что тут у вас? Получив лист из рук Михайлова, он воскликнул как при виде давнего друга:

— О, шрифт и формат «Колокола»! Как вы его достали?

— Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе,— отозвался Михайлов и рассказал, кстати, о шрифте, который достался «Колоколу» по закону Ломоносова — Лавуазье о сохранении вещества. Некогда Петербургская академия наук заказала в Париже русский шрифт для просвещения России — и не выкупила. Лежал он, отлитый, годами, пока Россия не изгнала Герцена. Там поляки помогли ему шрифт выкупить, и пошел он на просвещение России с другого боку.

— Господа, я не могу читать в вашем присутствии, позвольте мне потом прочесть? — Улыбка у него обаятельная, как же такому не позволить?

Михайлов коротко сказал ему, как решили распространять.

— Господа, я не могу ходить в подъезды! — воскликнул Серно-Соловьевич виновато, не поясняя, почему не может, и без того ясно, он слишком аристократичен. — Позвольте мне самому найти способ. А в наказанье дайте мне самую большую пачку.

Серно-Соловьевич уехал первым, за ним ушел с пакетами Шелгунов, потом Веня. Получилось само собой, что Михайлов и Людмила Петровна остались вдвоем...

Они решили не брать извозчика и сначала занести пакеты литераторам, чьи квартиры неподалеку от Екатерингофского проспекта. На Садовой жил Писемский, а подальше, за Фонтанкой, в Измайловском полку жил Достоевский.

На Вознесенском проспекте они оставили пакет швейцару в гостинице «Неаполь». В двадцать пятом году здесь арестовали декабриста Каховского. Михайлов написал на пакете карандашом: «Передать в нумер 25», а Людмила Петровна вручила пакет швейцару в ливрее. Пусть увезут в провинцию, куда бог пошлет.

Писемский жил напротив Юсупова сада. Михайлов поднялся на второй этаж, положил пакет у двери, позво-

нил и быстренько сбежал с лестницы. Попадись на глаза Алексею Феофилактовичу, непременно затащит в квартиру и не выпустит до утра, угощая наливками, пока сам не свалится под стол и гостей не свалит. Писемский редактировал «Библиотеку для чтения», писал пьесы, прозу и творил анекдоты. Встретив однажды знакомого литератора, он начал бурно приглашать его сотрудничать. «Помилуйте,— говорит ему литератор,— вы же разругали меня в последней книжке, неужто забыли?» «Экая беда,— отвечает ему Писемский.— Не стану же я за тыщу рублей в год читать всю книжку». В другой раз, сидя у Тургенева в роскошном кресле, он стал гасить папироску о резной подлокотник, приговаривая с веселым злорадством: «Вот тебе, вот тебе, не заводи сторублевых кресел!» Сумасбродный человек Алексей Феофилактович, но талантливый, пишет много и усердно. В суждениях резковат, а то и монструозен: женщина есть лишь подробность в жизни мужчины, а сама по себе пустое место. Трудно предугадать его отзыв на лист, но можно не сомневаться, он растрезвонит о нем по всему Петербургу, разукрасив событие фантастически.

Пересекли Садовую, прошли к Фонтанке, через нее по мосту и оказались в ротах Измайловского полка.

— Достоевский мне неприятен,— Людмила Петровна поморщилась.— Пойдешь к нему сам. Можно и совсем не ходить.

— Полонский считает его гением, дружен с ним, печатает у него свой роман в стихах.

— Полонский дитя большое, кто этого не знает. Не верю я — «гений». У кого падучая, тот сразу и гений. Мрачный, замкнутый.

— Не забывай, мой друг, стояние в саване на эшафоте накладывает печать.

— Но ведь и Плещеев стоял, а сохранил себя. Я понимаю, надобно ему сочувствовать, но неприязнь переси-

ливает. Олицетворенный недуг, ворчлив, говорят, сварлив, постоянно болен.

— В Лисино я тоже был постоянно болен, значит, ты и ко мне вот так же относилась?

— Ты забыл, как я к тебе относилась в Лисино? — подняла голос Людмила Петровна. — Ты воровал у меня пирожки из буфета, а я прощала.

Михайлов отвернулся, напоминание о Лисино его растрогало.

— Вы с ним разные,— успокоила его Людмила Петровна,— противуположные. Ты, Мих, душа общества — всякого, а он всякое общество заморозит. Мне удивительно, как это он вступился за тебя в полемике с «Русским вестником».

— Да не за меня он вступился, скорее за Пушкина.

Петр Вейнберг, «Гейне из Тамбова», литератор неглупый и не бездарный, осудил в своем журнале «Век» некую госпожу Толмачеву, она, видите ли, осмелилась на вечере в Перми прочитать во всеуслышание «Египетские ночи». «Русская дама, статская советница, явилась перед публикой в виде Клеопатры, произнесла предложение «купить ценою жизни ночь ея», и как произнесла!» Вейнберг оснастил статейку стишком: «Как ваше слово живо, ново, мадам Толмачева!» и подписался: Камень Виногоров (Петр — камень, вейн — вино, берг — гора). Михайлов тут же обрушился на него громовым фельетоном: «Безобразный поступок «Века». Естественно, творец женского вопроса в России, каковым считался Михайлов, не мог промолчать, когда публично осуждают женщину, да за что? — за чтение Пушкина.

Вслед за Михайловым ополчились на «Век» журналы и газеты, поднялась целая кампания в защиту дотоле неизвестной госпожи Толмачевой. «Век» принес свои извинения, но тут подлил масла в огонь «Русский вестник» Каткова, дескать, камешки, брошенные Камнем Виного-

ровым, никуда бы не долетели, никто бы их не заметил, «если бы не гаркнула вся эта стая, спущенная г-м Михайловым». Катков осудил статскую советницу за безнравственность, а «Египетские ночи» назвал эротическим фрагментом. В ответ Достоевский в своем журнале «Время» назвал «Египетские ночи» самым полным и самым законченным произведением нашей поэзии. «Да, дурно мы понимаем искусство, не научил нас этому и Пушкин, сам пострадавший и погибший в нашем обществе, кажется, преимущественно за то, что был поэтом вполне и до конца». Клеопатра, по Достоевскому, представляет общество гибнущее, под которым уже давно пошатнулись его основания. «Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо потребовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело...»

— Времена меняются,— сказал Михайлов.— То, что ты мне читала в маске шесть лет назад, госпожа Толмачева прочитала открыто, да где? В Перми, в глуши. Меняются времена.

— Меняются, но это не значит «все уходит в тело». Меня это особенно возмущает, как ты не понимаешь?

— Ясно, мой друг, у тебя с ним личные счеты.

— Только из-за тела я тебе шесть лет назад читала Пушкина?

— Вот уж не знаю, не знаю,— рассмеялся Михайлов и вернулся к Достоевскому: — Может быть, он неприятен внешне, но по существу глубок и своеобразен, я верю Полонскому: он загадочен и весь еще впереди.

— Он не нашего лагеря, Мих, критиковал Бова и притом зло.

— Бов в долгу не останется, отвечает ему в девятой книжке «Современника».

Сразу же по приезде из Лондона Михайлов зашел к Добролюбову. Он один и оставался в редакции «Современника». Чернышевский уехал в отпуск в Саратов, а Некра-

сов в деревню. Бов был возмущен статьей Достоевского «Г. — бов и вопрос об искусстве». Добролюбов назывался в ней «предводителем утилитаризма», не признающим художественности, требующим от искусства только голой идеи, только направления.

«Автор может ничего не дать искусству... — говорил Бов,— и все-таки быть замечательным для нас по направлению и смыслу своих произведений». Михайлов заспорил слегка, чтобы не обидеть и без того обиженного Добролюбова: «Если он ничего не дает искусству, то в чем же смысл? Когда писание не отвечает художественным требованиям, его и читать не станут». Михайлов старше Добролюбова и самолюбиво помнит об этом. Как литератор он утвердился уже тогда, когда юный Бов ходил еще в семинарию, крестясь по дороге на все церквушки.

«Пусть он и не удовлетворяет художественным требованиям,— стóял на своем Бов (он скоро перестал креститься на церкви, а заодно и на признанных литераторов, лирику Пушкина мог назвать альбомными побрякушками),— пусть он иной раз и промахнется, и выразится нехорошо: мы уж на это не обращаем внимания, мы все-таки готовы толковать о нем много и долго, если только для общества важен почему-нибудь смысл его произведений». Нетрудно было понять, что цитирует он уже готовую статью.

Взгляд Михайлова на эстетиков и дидактиков Добролюбову известен, но он его попросту не учитывал, и это Михайлова задело. «У Белинского критика вместе с эстетическим характером принимала и характер общественный. А после него эстетики ухватились за его эстетические положения, а дидактики за его положения общественные, и каждый на свой лад стали развивать эти стороны до безобразных и смешных крайностей». Добролюбов не любил спорить, заявил, что статья его уже написана и состоит не из общих мест, а из конкрет-

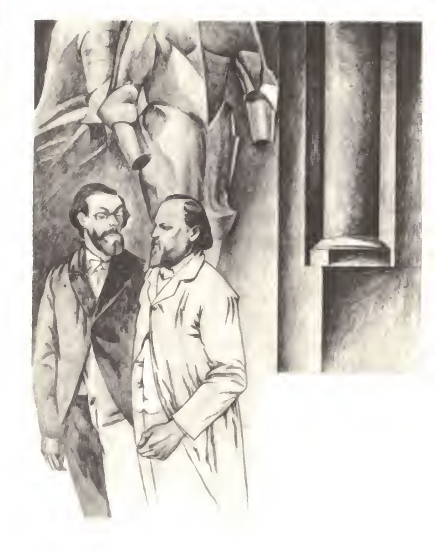
ного разбора романа «Униженные и оскорбленные», в коем главные лица не раскрыты с достаточной психологической глубиной, персонажи говорят одинаково и роман в целом стоит ниже эстетической критики. Статья пойдет в сентябрьской книжке «Современника» и название уже есть: «Забитые люди»...

— Не будем спорить, мой друг,— сказал Михайлов Людмиле Петровне. — «Время» нынче популярно тоже, и его издатели должны знать о листе.

Они остановились на углу Третьей роты Измайловского полка, возле каменного дома Палибина, где жил Достоевский. Михайлов зайдет, позвонит, положит пакет и повернет обратно.

Он поднялся по темной лестнице, скользя рукой по сырой стене, добрался до двери с табличкой «Ѳ. М. Достоевскій», нашарил еле заметный снурок и дернул. Колокольчик зазвенел надтреснуто, будто отсырела медь. Можно и уходить, но Михайлов раздумал класть пакет на пол, в полумраке не обратят внимания и затопчут, как затоптана вот эта плоская тряпка возле порога. Он дернул за снурок еще два раза. Сейчас выйдет прислуга, и он передаст лист. Какая у него прислуга, интересно, тоже забитая? У Шевченки был отставной солдат, а квартировал кобзарь в Академии художеств.

Михайлов прислушался — тишина за дверью мертвая. Может, и у Достоевского солдат? Тем более что дом в Измайловском полку. Солдат спит, а служба идет. Он снова дернул за снурок, накатило вдруг упрямое желание: он не уйдет, пока не дозвонится. И не прислуга ему нужна, а сам Достоевский. Зачем? Да затем, чтобы первым прочел лист в Петербурге каторжный, все прошедший. Пусть он увидит, что дело их не пропало зря, у них есть последователи и новая волна высока и неукротима. Требования листа выражают давнюю мечту борцов, и петрашевцев, и декабристов.



«Мы хотим, чтобы власть, управляющая нами, была власть разумная, власть, понимающая потребности страны и действующая в интересах народа. А чтобы она могла быть такой, она должна быть из самих нас — выборная и ограниченная.

Мы хотим свободы слова, то есть уничтожения всякой цензуры.

Мы хотим, чтобы все граждане России пользовались одинаковыми правами, чтобы привилегированных сословий не существовало, чтобы право на высшую деятельность давали способности и образование, а не рождение.

Мы хотим открытого и словесного суда, уничтожения императорской полиции — явной и тайной; уничтожения телесного наказапия.

Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране; чтобы личных землевладельцев не существовало, чтобы землю нельзя было продавать, как продают картофель и капусту.

Мы хотим полного уничтожения следов крепостного права, уничтожения развитого им неравенства в землевладении.

Мы хотим освобождения из казематов и возвращения из ссылки осужденных за политические преступления; мы хотим возврата на родину всех политических выходцев».

Он звонил и звонил, переминаясь с ноги на ногу, снедаемый капризным нетерпением увидеть, показать, высказать. Наконец заскрипела дверь, но не перед ним, а позади него, колыхнулась его тень от слабого света, и оп услышал сиплый и грубый голос:

— И чего звонить?! Чего попусту названивать?!

Михайлов обернулся и увидел за порогом человека на деревяшке, в мундире поношенном и незастегнутом. Человек держал свечу на уровне пояса, и свет от нее падал сиянием на его патлатые бакенбарды.

— Чего, спрашиваю, людей булгачить? — недовольно продолжал инвалид, приподымая и отводя в сторону свечу, намереваясь разглядеть, кого ему приходится урезонивать, а разглядев, слегка смягчил тон: — Там нету никого, пусто. Их свезли.

«На кладбище, что ли?» — чуть было не спросил Михайлов.

— Давно?

— Позавчерась. Первого.

«У меня был обыск, а он снялся с места».

— А куда? — машинально спросил Михайлов. — Не знаете?

— А мне и знать не надо. На Малую Мещанскую. Звонит и звонит, а там и таблички нету. — Человек посветил, и Михайлов увидел слабый след от таблички. Потрогал пальцем шершавую дырку от гвоздя. Он же видел ее минуту назад! Стало не по себе.

— Извините великодушно, я не знал.— Михайлов повернулся к лестнице и сделал шаг вниз, брезгливо касаясь ослизлой стены.

— Стойте, куда же вы?! — скандально окликнул его человек сзади. — Кому это? Ведь некому! Я же говорю: пусто!

Стукнула деревяшка по полу, раз и другой, человек выдернул из дверной ручки всунутый туда пакет. Михайлов взял его и быстро ушел. Инвалид остался у двери, как на карауле для отгона нечистой силы.

«У меня был обыск, а он не смог усидеть на прежнем месте. Чутье каторжника. Время тревоги. Журнал «Время тревоги»...»

Вышел и вздохнул с облегчением. Солнце село, и уже не от солнца, а не поймешь от чего разлился розовато-желтый свет, матово сияли охристые степы казарм. «За туманами потух свет зари вечерней; раздражительнее слух, сердце суеверней». И Людмила Петровна была

красновато-охристой вся — и щеки, и руки, и одежда.

— Что случилось, Мих? На тебе лица нет.

Когда она тревожилась, голубые ее глаза синели, темнели, но голос ей не изменял.

— Сомнение его тревожить начало, наморщились его и харя и чело. На Невский, мой друг! Рысью, галопом! К людям! — Подавленность его сменилась возбуждением.

Они взяли извозчика и понеслись через роты Измайловского, затем Семеновского полков, свернули на Загородный проспект. По дороге дважды останавливались, разносили пакеты. На углу Владимирской и Графского переулка отпустили извозчика, зашли в дом, где жил Вейнберг, оставили ему пакет. На Невский вышли пешком.

А когда вышли, как тут не вспомнить Гоголя! Тем более что мало изменился проспект с того времени. Как и двадцать лет назад, он в течение дня бывал то пуст, то полон, оживал порывами, налетом. Как и при Гоголе, едва взойдешь на Невский проспект, так уже пахнет одним гулянием. Нигде при встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском. Вечером весь город превращается в гром и блеск, кареты валятся с мостов, «форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде». Перспектива огней тянется к Адмиралтейству. Вывески с кренделем, вывески с ножницами. Будочник взбирается по лестнице и зажигает фонарь...

Мало изменился Невский со времен Гоголя, с той поры как прощался с Питером юный Михайлов в сорок восьмом году, уезжая в Нижний, убегая из столицы от нужды, прожив средства и покойного отца и живущего во здравии дядюшки. Мало, но все-таки изменился, не было тогда стриженых девиц и длинноволосых юношей. И фонари были масляные, а не газовые. И студенты

носили мундир, треуголку и шпагу, а нынче ходят как душа пожелает. Смелее стал Невский, проще. Да и развязнее тоже. Не курили прежде на Невском, воспрещалось, а теперь дымят. Меньше стали разнаряживаться, перестали обвешиваться орденами и медалями. Еще с тех лет осталось: «Скажи мне, дитя, кто этот дядя?» — «Этот дядя — елка».

— Давай постоим немного вот здесь, а публика пусть проходит, — попросил Михайлов, и они встали под фонарным столбом.

— Тебе хочется себя показать. Горделивый стал, заносчивый.

Он рассмеялся — она угадала отчасти его состояние.

— Хочу посмотреть на Невский, который ни о чем не догадывается.

Запомнить надо, каким он был, Невский, ибо завтра все переменится, завтра он забурлит, совсем другие мысли взметнутся под шляпками и цилиндрами, кудряшками-завитушками — от листа!

— Ты и ростом как будто выше стал.

Еще бы! Он растет уже третий день, причастили его два полковника, и теперь сама история будто подтянула его вверх. Сознание того, что он не просто обыватель, житель, но гражданин и деятель, презревший битую колею рутины, заставляло его выше держать голову и смотреть по сторонам осанисто.

Проехала новинка — омнибус в два этажа, на боку крупно: «Grand Hôtel de Paris», вполне по-европейски, но лакей и кучер стрижены под скобку, в косоворотках, поддевках и смазных сапогах. Глядя на бока с буквами, можно подумать, что омнибус ходит из Парижа сюда и обратно, а на самом деле — от Московского вокзала до гостиницы в Малой Морской.

Процокали копыта серых в яблоках лошадей, ушел омнибус, вызвав дорожное настроение, желание укатить

подальше, но... забрали паспорт, сиди, Михайлов, на месте, как при Петре Великом, дабы быть граду новому многолюдным. Сейчас не верится, а тогда по губерниям составляли списки: сколько голов и какого сословия надлежат высылке в Санктпитербурх для постоянного жительства. Нынче всякий мало-мальски грамотный так и рвется в столицу, на перекладных, пешком, без гроша, а тогда... пригоняли партиями по указу государеву и обязан был каждый явиться в Канцелярию строений и получить чертеж. Если беден, получай бумагу «для подлых людей» и строй по ней дом в один этаж с четырьмя окнами по фасаду, ни больше ни меньше. Если у тебя достаток, бери чертеж «для зажиточных людей» и возводи по нему дом в четырнадцать окон да обязательно с мезонином. Богатые и знатные получали бумагу «для именитых людей» — непременно два этажа и с оформлением фасада.

Он как будто жил тогда и видел своими глазами, как застраивались домами приречные места, как вырубали и корчевали лес, рыли канавы. Курился туман над болотом, свиваясь с дымом костров, хрипели и кашляли мужики. Вместо «Мойка» говорили «Мья», а Фонтанку называли Безымянным ериком. Одного только не мог представить — болота с рощей ивняка на месте Невского проспекта.

Живя в Нижнем или уезжая в казахскую и башкирскую степь, он вспоминал Петербург, бродил-гулял по нему, представляя улицы, площади, переулки. Фонари на Галерной, висящие меж домов на веревке, будочник на Знаменской площади с кивером, как ведро. Он любил Петербург, но любовью странной, с примесью ненависти и ущемленного самолюбия — как к непокоренной женщине.

— Мне скучно,— сказала Людмила Петровна. — Так мы и будем стоять, словно два столба?

— Не лучше ль было б нам с надеждою смиренной

заняться службою гражданской иль военной? — Михайлов взял ее под руку и украдкой поцеловал в щеку.

— Ай, матушки! — притворно смутилась Людмила Петровна. — Где полиция? Тут шалят!

Смутить ее по-настоящему невозможно, за шесть лет их знакомства Михайлов не помнит, чтобы она потеряла самообладание, ни здесь, ни в Лисино, ни в Париже, ни в Лондоне. Сама же она других легко приводила в смущение и Михайлова выбивала из колеи часто. Устойчивость ее характера восхищала его, как всякое свойство, ему недоступное.

— Целовать на Невском замужнюю даму, светскую, ай-я-яй, что публика скажет?

— Публика! — воскликнул довольный неизвестно чем Михайлов. — Публика! — И повел Людмилу Петровну в толпу. — Было время, это еще до построения Петербурга, когда у нас не было публики, был народ. Публика образовалась очень просто: часть народа отказалась от русской жизни, языка и одежды и составила публику.

За Аничковым мостом стало еще многолюднее — офицеры и чиновники, студенты и барышни, девочки-подростки, сердитые оттого, что их сопровождают нянюшки.

— У публики свое обращается в чужое, у народа чужое обращается в свое.

Сбоку уже кто-то пристроился, шел прихохатывая.

— Публика говорит по-французски, народ по-русски. Когда публика едет на бал, народ идет ко всенощной.

— Узнаю по когтю льва,— сказала Людмила Петровна. — Это Хомяков?

— Аксаков Константин,— скороговоркой уточнил Михайлов и продолжал: — Публика презирает народ, народ прощает публике. Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас почтеннейшая, а народ — православный.

— Браво, браво! — донеслось сбоку, и Михайлов приостановился, высокомерно вскинул бороду: «В чем дело,

господа?» Два молодых человека поклонились ему с улыбкой и заспешили вперед.

— Ты совсем про меня забыл! — упрекнула Людмила Петровна.

— Ни-ког-да! — горячо возразил Михайлов. — Публика имеет фамилию Михаэлис, а народ — Михайлов. Как видишь, я твой перевод с немецкого. Куда ни глянь, куда ни кинь, всюду ты!

Позади них послышался зычный окрик:

— Эй, пади! Па-берегись! — И по мостовой пронесся вороной рысак с лосняшимися боками, запряженный в эгоистку, пролетку для одного седока. Кучер с гиком правил, подняв вожжи выше головы, выкатив грудь и отклячив зад, а за его спиной стоял молодой господин, прямой и ладный, под стать рысаку, в темном пальмерстоне, в блестящем цилиндре, в белоснежном воротничке — картинка прямо-таки из «Модного магазина». Вот он энергически взмахнул рукой — и на тротуар полетели вроссыпь белые листы. Кучер снова зычно и сладостно возопил, эгоистка помчалась дальше, и видно было, как саженей через тридцать — сорок стройный господин снова артистически, изящным, но и резким жестом, будто бросая цветы на сцену, взмахнул рукой, в толпу гуляющих полетели белые чайки, и пролетка помчалась дальше в сторону Адмиралтейства.

— Да это же Александр Серно! — воскликнула Людмила Петровна.

Михайлов захохотал, в ладоши ударил и даже ногой притопнул левой, правой, ему хотелось ура кричать, он ошалел от дерзости Серно-Соловьевича.

Движение возле белых листов сразу замедлилось, люди стеснились, как голуби на крупу, одни, подняв бумагу, пытались вглядеться при свете фонаря, другие прятали в карман, в сумочку, никто не бросил обратно на тротуар.

Стороной, по обочине, легкой бравой походкой шел почтальон в черном сюртучке, в черной каске с гербом, с полусаблей на перевязи и с большой сумкой через плечо. Он ловко на ходу нагнулся, поднял с тротуара белый лист и, не глядя, сунул в сумку.

— Почтенный, на одну минуту! — властно остановила его Людмила Петровна. — Передай вот это швейцару в парадной князей Белосельских-Белозерских, адрес знаешь?

— У Аничкова моста, слева. Не знать, как же-с!

Людмила Петровна вручила ему пакет, Михайлов добавил гривенник, он любил ублажать служивых. Почтальон втиснул пакет в сумку и браво зашагал дальше.

— Эк-кий молодец Александр Серно,— врастяжку произнесла Людмила Петровна. — Право, я его расцелую при встрече.

Михайлов сразу успокоился. Не от слов ее, а от голоса страстного и своевольного; он знал, когда у нее бывает такой голос. Повертел шеей, будто тесен воротничок, поправил галстук.

— Очень смел,— продолжала Людмила Петровна. — Не по-нашенски, не по-русски.

— Почему же не по-русски? — холодно возразил Михайлов. — Он не стал бы разбрасывать лист в Париже, где ему ничто не грозит. Русские народ рисковый.

— Я трепетал, как говорил, явившись в зал, славянофил.

Ей не понравился его тон, быстрый спад настроения, холодность.

— Герцен восхищался Иваном Киреевским, который в своих трудах на десять лет опередил европейскую мысль.

— Я тосковал и тер свой лоб, как он строгал Европе гроб,— рассмеялась Людмила Петровна.

— Наша западническая партия только тогда получит значение общественной силы, когда овладеет темами и

вопросами, пущенными в оборот славянофилами. Опять же Герцен.

Теперь его уже не остановишь, поздно. Если бы она в этот смутный момент ненароком за славянофилов вступилась, он бы на них обрушился, но беда в том, что ненароком у нее не бывает, а вот у него часто. Ненароком стал ломиться к Достоевскому, звонил, звонил, пока не прогнали: «Там пусто...»

— Чернышевский судит о них отрицательно.

— Всякое огульное отрицание провоцирует огульное утверждение. А Чернышевский не скупился и на превосходные слова: господа Аксаковы, Киреевские, Хомяков принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе.

— Это не помешало благороднейшим аксаковым запороть твоего деда до смерти! — Он донимал ее цитацией, а она его фактами. — Образованнейшие спорят о преимуществах киевских ведьм перед ведьмами новгородскими. Поют про эпоху до Петра, плачут по бороде, по зипунам и лаптям. А там опричники Грозного, смута, грязь и кровь, сплошной хаос!

Она права, но для другого раза, а сейчас бес поперечности гнал его неостановимо, сейчас он наговорит с три короба, будет сожалеть, каяться, но — потом, а теперь, хоть тресни завеса в храме, его не остановишь.

— Хао-ос?! — завопил Михайлов. — Да были удельные князья до монголов с библиотеками не хуже Парижской. Они свободно говорили на греческом и на латинском, как на русском. В писаниях Нила Сорского есть выписки из таких творений греческих, которые совсем не были известны Европе, да и в самой Греции утратились и только недавно найдены.

Он говорил и говорил, и хорошо, что не было рядом славянофилов,— такого бешеного апологета они не слыхивали. Они отвергают чистое искусство. Они считают, что

художественное творчество должно быть проникнуто общественным содержанием. Они критикуют Фета и Майкова. Каждое выступление Хомякова в клубе на литературном вечере вызывает скандал и донос в Третье отделение.

В споре с нею он всегда вдохновлялся, был неистощим на доводы, загорался от всякого ее замечания. Она и здесь была нужна ему. Впадая в крайности, он как бы опробовал свои парадоксы, упивался своим самоцельным знанием и следил, как она слушает. Он сламывал ее своим азартом, о чем ни заговорит, если вожжа под хвост,— все становилось его кровным делом. Однажды сгоряча начал доказывать ей ошеломительные возможности френологии, хотя за день до этого смеялся, называя черепологию пустологией.

— Хватит, Мих, не пойму я, от чего ты распалился? Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидит месяц.

— Целуй Александра Серно!

— Ах, во-он оно что! — Она рассмеялась, и до того ей стало весело, что она остановилась смеясь, а он в ярости рванулся вперед, один и так быстро, ничем не остановишь, уйдет на край земли. Шагов через десять, однако, повернул обратно — только этикета ради, нельзя покидать женщину,— пошел рядом с ней, но смотрел в сторону, задирая бороду.

— Тебе это так идет, Мих. Мужчин любят за силу, за рыцарство, за то, что они мужи превеликие, зрелые, а ты у меня истинное дитя. Такой смешной, милый, знал бы ты, как я люблю тебя. — Она взяла его повыше локтя обеими руками, смиряя лаской его буйство, чувствуя, как он дрожит. — Успокойся, мой дорогой, успокойся.

Он согнулся к ее руке, поцеловал пальцы.

— Мои крылушки...

Возле Казанского моста к Михайлову шагнул, почти бросился тучный господин, носатый и усатый.

— Михайло Ларионыч, это вы?! Как я рад, как рад! — Он протянул Михайлову обе руки и заговорил приглушенно, словно таясь от публики: — Меня обманули, это жестоко, так обманывать, просто возмутительно так шутить. Очень рад!

Михайлов без особого желания подал ему руку, кивнул раз и другой слегка высокомерно, не сказал ни слова в ответ и останавливаться не пожелал.

— Он искренне рад тебя видеть, а ты с ним холоден,— с легкой укоризной заметила Людмила Петровна.

— Бог простит,— Михайлов пожал плечами.

— Ты с ним незнаком?

— Да заходит в редакцию, бонжурится. Принес както заметки петербуржского наблюдателя. Возле Полицейского моста упала карета, видишь ли, и сей тонкий наблюдатель сделал вывод: еще Гоголь писал, что кареты валятся с мостов, годы идут, двадцать лет прошло, а кареты все валятся. «Не пора ли магистрату починить дороги?» Таких на выстрел нельзя пускать к литературе! Разве можно так читать Гоголя?

— А почему нельзя? Я так и понимаю, как сей господин. Грязь непролазная, лужи, скользко, кто-то же должен...

— Не надо! Прошу тебя! — взмолился Михайлов. — У Гоголя картинка, восторг, а не тяжба с магистратом. Представь, всякий мост горбат, карета сначала идет на подъем, достигает зенита на всем скаку и затем словно падает. У седока только дух захватывает. Тут миг восторга, скорости, лихости, а сей господин приписал Гоголю сутяжные поползновения, тьфу да и только!

— Ты умница, Мих, убедил. — Она провела ладонью по его щеке, опять вольно, с вызовом публике, и сама же и спохватилась: — Не много ли у нас бравады, Мих? Вместо тайной вылазки веселый вояж.

— Да от кого нам прятаться? — удивился Михай-

лов. — Если другие... — И осекся, не договорил об Александре Серно, тепь скользнула по его лицу.

— Разнесем еще три пакета — и домой.

— Тайно! — подсказал Михайлов. — Ползком.

— Наши уже наверняка вернулись и ждут.

— А мне домой не хочется. Хотя Николай Васильевич может напомнить: «Только тот истинно цельный и надежный, в ком головная теория не расходится с практикой чувств». — Он вздохнул: — А у меня расходится.

— У Шелгунова есть и другое предостережение: «Личность, лишенная всякой узды, выскочит из себя». Не про меня ли это?

— А не про нас ли? Ладно, мой друг, домой!

Но тут им помешал новый господин, на сей раз знакомый, всегда желанный, почти родной. Прихрамывая и стуча тяжелой тростью, их догнал Полонский, высокий, с бородкой клинышком и с длинными волосами.

— Ми-их, да ты ли это? А я уже думал, тебя не увижу!

Михайлов побледнел, а Людмила Петровна рассмеялась:

— Да что это с публикой, то один радуется, то другой!

— Ну как же! Только что был в Шахклубе, говорят, Михайлова забрали.

— Куда забрали?

— Да куда же еще, душа моя, в Третье отделение, в крепость, в узилище. И Михайлова, говорят, и Костомарова, не историка, а друга твоего нового, корнета, в Москве который.

К новым друзьям Михайлова Полонский относился ревниво. Но ведь и у Полонского новый друг и тоже из кавалерии, правда, чином повыше, не корнет, а штаб-ротмистр, путешественник Валиханов. Петербург носился с молодым ученым-географом, как некогда с молодым Адамом Мицкевичем.

— Новейшие врали вралей старинных стоят, не слишком-то меня их бредни беспокоят,— горделиво сказал Михайлов, довольный слухами; он привык, чтобы о нем говорили. Но все же из скромности он сменил тему: — Как твоя нога?

Два года назад Полонский упал с дрожек и ушиб колено, да так сильно, что встал на костыли.

— Лучше не спрашивай, Мих. Приковал себя за ногу на все лето к Австрии, принял сорок две ванны, а толку пшик. Но как я рад тебя видеть! «Михайлова забрали».

— И все поверили?

— Если бы шесть лет назад мне сказали такое, я бы лишь рассмеялся. А нынче весь Шахклуб всполошился.

— У вас там не шахматы, а клуб страха перед полицией,— сказала Людмила Петровна.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Шесть лет назад они жили вместе с Полонским, снимая квартиру в Офицерской улице. Оба недавно приехали из провинции, Михайлов из Нижнего Новгорода, а Полонский из Тифлиса, сошлись, подружились и зажили типичной жизнью столичных литераторов, притом холостяков. Чай, сахар и хлеб были общие, а обедать шли куда бог поведет. Получив деньги в редакции, любили посидеть в злачных местах на Невском, захаживали в трактир Демута, в ресторан Палкина, посиживали и с француженками и с балетными корифейками, чередуя посиживания с посещением салона Марии Федоровны Штакеншнейдер, жены придворного архитектора, в роскошном доме на Миллионной; наведывались и в салон Анастасии Толстой, которая была на тридцать три года моложе своего супруга, графа Федора Толстого, вице-президента Академии художеств (миниатюрами графа восхищался Гете).

Михайлов любил поволочиться за женщинами — что было, то было,— побед своих не скрывал, а порой их преувеличивал, и Полонский ему завидовал. «Почему тебя любят женщины, а меня нет? Или моя наружность слишком проигрывает рядом с твоей?» Благородный Яков Петрович не мог сказать, разумеется, что такой наружности, как у Михайлова, во всем Петербурге второй не сыщешь — скуластый, черный, лицо желтое, глаза щелками, да к тому же в толстых очках. Недруги Михайлова находили его безобразным, а друзья — исключительно обаятельным, остроумным, душа человеком. Друзей, слава богу, было у него гораздо больше, чем недругов. На сетования Полонского Михайлов отвечал его же стихами: «Улыбнись природе! Верь знаменованью! Нет конца стремленью,— есть конец страданью!»

У них бывали слегка чопорный, увлеченный античностью Аполлон Майков, кроткий Мей, неукротимый в своей язвительности Щербина, лейб-улан красавец Гербель, молодой и достаточно безрассудный, если учесть, что ни с того ни с сего он затеял рискованное издание переводов Шиллера; бывал Василий Курочкин, в недавнем прошлом гвардейский офицер, а ныне поэт и переводчик Беранже. Заходил к Михайлову и Чернышевский на правах давнего друга. Он сотрудничал у Некрасова в «Современнике» и в последний год стремительно приобрел известность, хотя и скандальную, в среде литераторов. Молодежь им восторгалась, а Тургенев, Григорович и особенно Дружинин не могли говорить о нем без зубовного скрежету за твердость его позиции.

У Михайлова же позиции не было никакой, ни твердой, ни мягкой, хотя спорщиком он был горячим. Позицию его отчасти выразил Полонский, посвятив другу длинное стихотворение «Качка в бурю». Море кипит, корабль качает, а я себе сплю. Шквал обрывает парус, вот уже и стеньга обломилась, а я сплю да сплю, я влюблен и в бла-

женном сне вижу, как «стан ее полувоздушный обвила моя рука»; а корабль качает все больше, вот уже и руль оторван, и матрос унесен волной, беда! «Что же делать? Будь что будет! В руки бога отдаюсь: если смерть меня разбудит — я не здесь проснусь».

Таким Полонский представлял Михайлова, блаженным в житейских бурях, что было верно, но лишь отчасти. Михайлов порой нападал на Майкова за его попытки впрягаться в придворный рыдван и на Полонского нападал за неумеренную апологию чистого искусства, а то вдруг схватывался с Чернышевским, защищая стихи Майкова, ругал безответного беднягу Мея за его псалом на смерть Николая и цитировал ему для примера бродячий мотив: «По неизменному природному закону, события идут обычной чередой: один тиран исчез, другой надел корону, и тяготеет вновь тиранство над страной».

Не обремененные семьей друзья тем не менее сильно нуждались. Оба уже были признанными литераторами, писания их кормили, но похаживания и посиживания требовали уйму денег. Они печатались чуть не каждый месяц то в «Отечественных записках», то в «Библиотеке для чтения», в «Современнике» и в «Санкт-Петербургских ведомостях», а денег все равно не хватало. Да и редакции, бывало, задерживали выплату, особенно «Отечественные записки». Возвратясь от Краевского, Полонский сердился на него, ворчал: «Безродный архаровец! Нам, дворянам, сын потаскушки осмеливается задерживать гонорар!» (Краевский был побочным отпрыском екатерининского вельможи Архарова, а звучную свою фамилию получил от какого-то проходимца за благосклонность матушки.) В другой раз возвращался ни с чем Михайлов и тоже костерил Краевского, от души желая ему той палки, которую тот просил у Одоевского («Желаю иметь на память от Пушкина камышевую желтую палку, у которой в

набалдашник вделана пуговица с мундира Петра Великого»).

Однако ничего подобного ни Полонский, ни тем более Михайлов не позволяли себе в отношении «Современника» и его издателей — Некрасова и Панаева. Если говорить о надежном, хотя и небольшом, заработке, то именно Некрасов обеспечил им Михайлова — поручил ему читать корректуру «Современника» и охотно печатал его очерки и повести.

Полонскому все-таки было легче, он издал книгу стихотворений в том году, а Михайлов, хотя имя его не сходило со страниц журналов, так и получил кличку, неуклюжую, но справедливую,— Безденежный литератор. Его задевало — будто остальные сплошь денежные, он оправдывался: годовой доход у него более двух тысяч, но... получишь гонорар в конторе редакции, положишь в карман, не успеешь и шагу сделать, а деньги уже поют петухами, просяся на волю.

А тут еще весь Петербург словно с цепи сорвался. Осенью стали закатывать балы, званые обеды, маскарады, литературные вечера. Казалось, чему тут радоваться — весной государь скончался, Крымскую войну проиграли, флот, национальная гордость, потоплен, а все танцуют не натанцуются. По всему видно, начиналась в России новая жизнь, и Михайлов не мог уже вторично бежать из Петербурга от нужды, как прежде. Надо было устраиваться куда-то на службу, но куда?

Полонский осенью определился в канцелярию гражданского губернатора Петербурга Смирнова, стал вскоре домашним учителем его сына, а заодно прилежным слушателем воспоминаний его жены, некогда известной красавицы, фрейлины; она была дружна с Гоголем, была дружна с Пушкиным, он ей посвятил стихи: «Черноокая Россети в самовластной красоте все сердца пленила эти, те, те, те и те, те, те».

Михайлову же не везло со службой, он уже отчаялся получить место, как вдруг — манна небесная,— приглашает его Панаев для важного разговора. Оказывается, великий князь Константин Николаевич, брат государя, генерал-адмирал и председатель Русского географического общества, передал Панаеву просьбу указать на литераторов из круга «Современника», способных принять участие в экспедиции по изучению быта населения прибрежных областей, поморов и рыболовов, из коих рекрутировались матросы. Желательно, чтобы литераторы были молодые, способные к частому передвижению, ну и, разумеется, даровитые, проявившие себя в журналах. Плоды своего изучения они должны представить для опубликования в «Морском сборнике», издаваемом под покровительством великого князя.

Затея с экспедицией вызвала толки — уж не подвох ли какой? Литераторы привыкли к гонению, вроде бы притерпелись, а тут их, наоборот, зовут. Совсем недавно цензурный комитет запретил новое издание Гоголя, приостановил продажу повестей Казака Луганского. Министр просвещения Уваров вслух мечтал о том, чтобы русская литература наконец прекратилась. И вдруг такой перелом, от запретов к поощрению, сам великий князь приглашает литераторов в свой журнал. Событие небывалое.

Надо отдать должное «Морскому сборнику», в пятьдесят пятом году он был самым популярным журналом. Если подписка у «Современника» не достигала в то время трех тысяч, то у «Морского сборника» она перевалила за пять тысяч. В чем тут причина, почему сухопутные просторы России так заинтересовала вдруг морская тема? Дело в том, что журнал этот был изъят из общей цензуры, статьи его удивляли смелостью, критическим направлением. И флотом не ограничивались. Во время войны в нем правдиво писали о военных действиях, помещали тревожные письма сестер милосердия о нехватке ме-

дикаментов и перевязочных материалов, публиковали списки раненых солдат и матросов, наконец, крупным шрифтом печатали имена помещиков, безвозмездно освободивших из крепостного состояния семьи севастопольских героев.

Но почему именно морское, а не какое-нибудь другое ведомство взяло на себя такую задачу? Да потому, что именно русский флот, дотоле не знавший поражений, понес наиболее тяжелые потери. Для обороны Балтийского побережья против паровых судов противника выходила гребная флотилия канонерских лодок, годных разве что для музея. То, чем Россия гордилась при Петре, стало ее позором при Николае. Бесславная гибель флота наиболее красноречиво говорила об экономической и технической отсталости страны. Вот почему «Морской сборник», поощряемый великим князем, а это важно, от недостатков ведомственных перешел к недостаткам общим. В журнале стали появляться письма о воспитании, о новой организации армии, об отмене телесных наказаний. Провозглашалась необходимость реформ — крестьянской, суда и школы, и тут без участия просвещенных людей не обойтись. Отношение к литераторам стало заметно меняться. Видный сановник, президент Академии наук граф Блудов говорил, что в России существует три рода литераторов: одни — злонамеренные и упорные в своих крайних желаниях, другие — не имеющие никаких желаний, кроме желания набить себе карман, и третьи — люди благородные и даровитые, которые могут действовать только по убеждению. Последних правительство может привлечь на свою сторону, не иначе как сделав их участниками своих благих видов, что и сделал великий князь, обратясь к издателю «Современника», журнала в мнении общества передового.

После переговоров и недолгих прикидок в экспедицию отобрали уже известных и сравнительно молодых лите-

раторов: Островского, Писемского, Михайлова, Афанасьева-Чужбинского и Максимова.

Михайлов был чрезвычайно рад обновлению своей жизни. Не говоря о безденежье, он с тревогой стал убеждаться, что, сидя в Петербурге, ограничивая себя салонной жизнью, он не находит достойной темы, ему не о чем писать, запасы его впечатлений словно поистерлись и ему грозит литературное истощение. Стихи он писал, но где напечатаешь такие, к примеру, строки, написанные им в разгар Крымской войны: «Спали, господь, своим огнем того, кто в этот год печальный, на общей тризне погребальной, как жрец, упившийся вином, в толпе, рыдающей кругом, поет с улыбкою нахальной патриотический псалом». Тут потребуется цензура гражданская, цензура военная, а также и церковная, поскольку упомянут господь. Стихи пошли по рукам в списках.

«Лета к суровой прозе клонят». Ему уже двадцать шесть, он известен своими рассказами, повестями «Адам Адамыч» и «Кружевница», романом «Перелетные птицы» из жизни провинциальных актеров. Теперь он считает себя беллетристом прежде всего — а писать не о чем, да и, по правде сказать, некогда, не позволяет круговерть заработка, нет у него того, о чем говаривал Пушкин: «На праздность вольную, подругу размышлений». Не до праздности ему, он и сейчас должен «Библиотеке для чтения» четыреста шестьдесят рублей, а обещанная журналу повесть все еще в чернильнице. Одно утешение: Пушкин перед кончиной записал долгу 138 988 рублей 33 копейки.

Для своего путешествия Михайлов выбрал родную Оренбургскую губернию — реки Дёму и Белую на башкирской земле, Урал и побережье Каспия — на киргизской. Морское министерство вручило ему бумагу на имя оренбургского генерал-губернатора: «Благосклонное внимание вашего сиятельства к этому даровитому писателю,

несомненно, облегчит предстоящие по этому поручению труды, от которых морское начальство ожидает и пользы и занимательности». Михайлов получил кругленькую сумму серебром, после чего в министерстве отметили, что 29 ноября 1855 года Михайлов отбыл на почтовых в Оренбургскую губернию.

Отметить-то отметили, однако двадцать девятого Михайлов никуда не отбыл, его задержал пустяк — маленький конверт, полученный им только что. Для кого-то, может быть, и пустяк, но только не для Михайлова, поскольку в конверте была записка по-французски, к тому же надушенная. Неизвестная особа просила Михайлова явиться в Благородное собрание на Литейный к началу маскарада и ждать в красной гостиной. К нему подойдет дама в маске и в домино, скажет пароль: «Уфа», после чего сообщит ему нечто важное.

Записка порадовала Михайлова не меньше, чем замысел великого князя. А вдруг это наконец она, та самая? А если шутка Дружинина? В своих знакомствах и увлечениях он поначалу грезил об одном и том же: а вдруг она? Но страсти утихали, наступало разочарование, затем новое знакомство, снова грезы и — увы, не та... Во всяком случае, ничто ему не мешает задержаться в Петербурге еще денька на два, на три. Пусть это для него будет прощальный маскарад, ведь он уезжает из столицы надолго, на целый год по меньшей мере, а может, и того больше.

— Вот и снова тебе записка, а мне хоть пропади,— сокрушался Полонский, заехав к другу перед маскарадом.

— Улыбнись природе! Верь знаменованью!

Михайлов умел одеться с большим изяществом. Фрак, жилет, панталоны он шил у модного Шармера, а обувь у модного Пеля; едва получив гонорар, тратился без оглядки на статьи туалета. Галстук завязывал особо изящ-

ным узлом, белоснежный воротничок у него последней моды.

Они приехали в Благородное собрание на Литейный, поднялись наверх, Михайлов прошел в красную гостиную, как его просили, уселся в кресло и стал ждать с видом спокойным и независимым.

А вдруг это и в самом деле она на сей раз, вечная, роковая? Должно же ему повезти когда-то. Пусть так оно и случится, да поможет ему господь. Он старался сохранить лицо бесстрастным и слегка легкомысленным, дабы не испугать маску своей скованностью, но и не обнаружить ничем, что ждет ее с нетерпением гораздо большим, чем она может себе представить.

В гостиной появилась дама в домино и в маске и направилась к Михайлову. Он поднялся с кресла без особой радости, пытаясь скрыть быстрое свое разочарование. Пока она шла, за какие-то пять-шесть шагов ее он успел и разглядеть и оценить — увы! Снова не она, ясно ему с первого взгляда. Не блистательна. Не хрупка и не полувоздушна. Не-не-не... Полновата, если не сказать полна, белокура, если не говорить белобрыса, с большим и неженственным лбом, Вольтер прямо-таки. Хотя идет легко, с той плавностью и стремительностью, свойственной полным, но резвым. И домино не скрывает грации этакой крупной кошки.

— «Уфа», Михаил Ларионович, здравствуйте!

О-о, какой у нее голос, бездна в голосе всяких напастей, игривый, глубокий, смелый. Он побледнел от ее голоса, не сразу ответил, но сразу понял, что она не от Дружинина, она — сама по себе.

— Не узнаете меня, Михаил Ларионович, а ведь мы с вами были так близки в Уфе!

Он рассмеялся от ее промаха. Явный перебор. В Уфе ему было шестнадцать годков, сколько же было ей? Десять, двенадцать?

Ну а если она и впрямь из Уфы, то должна знать приветствие по-башкирски, кто его не знает из тамошних жителей?

— Исенмесез,— сказал он,— хелегез ничек? (Здравствуйте, как здоровье?)

— Comme ci, comme ça,— ответила она по-французски (так себе), но это не значило, что она поняла вопрос, могла догадаться по тону, ответ ее уклончив, так можно говорить о погоде, о самочувствии, о стихах и нарядах. О чем угодно можно сказать «так себе», в том числе и о его внешности! Она стояла близко, разглядывала его беззастенчиво, сама спрятана, а он открыт. По говору она конечно же петербуржская, вне сомнений. Провинциалка проживет здесь всю жизнь и не выучится такой интонации. Испытывать ее по-башкирски глупо, молчать — тем более.

— Вы и родились в Уфе?

— Я родилась в Николаевке.

Он попытался вспомнить, кажется, есть такое имение под Уфой.

— Кстати, как и вы, Михаил Ларионович, мы с вами земляки.

Она повторяется, если бы не голос ее, он бы сейчас зевнул.

— А восемнадцатого февраля сего года я оказалась в Александровке.

«Восемнадцатого февраля? Пятьдесят пятого года? День смерти царя, ну и что?..»

— Кстати, как и вы, тоже в Александровке. — Она улыбнулась, и улыбка у нее оказалась девичьей, лукавой, она подсказывала: да ведь я же играю, неужели не видите?

— А-а, Клейнмихель! — догадался наконец Михайлов и рассмеялся. (Прыткий немец настолько возлюбил Россию и познал ее национальный дух, что с чистым серд-

цем предложил государю переименовать Россию в Николаевку, поскольку всякое поместье справедливо носит имя своего барина.)

— Вы и раньше были сообразительны, Михаил Ларионович.

Если отвести взгляд и только слушать ее, молчать и слушать... Но надо же и говорить!

— Ваш спектакль готов заранее, и мне остается только подыгрывать. Я готов.

— Мой спектакль? — Маска, похоже, обиделась. — А не лучше ли вам было признаться, что я находчива, остроумна, что cela ne se retrouve plus. (Это неповторимо.)

— У вас прекрасное произношение.

— Это вам не Уфа, mon chere, здесь так принято, по-французски говорить прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно, ибо неприлично в свете хорошо говорить по-немецки. Но вернемся к нашему спектаклю. Какую роль вам хотелось бы сыграть?

— Je veux jouer le rôle d'un oncle, qu'on embrasse avec cordialité dans la dernière scéne. (Я хотел бы сыграть роль дядюшки, которого горячо обнимают в последней сцене.)

— Chacun à son tour. (Каждому свой черед.) Вас много, а я одна. — Она улыбнулась, свободным движением поправила его галстук, и он, поймав ее руку, поцеловал в ладонь, вовсе не собираясь этого делать, само собой получилось.

— У вас безудержный темперамент, Михаил Ларионович, не зря говорят, вы сын калмыцкой княжны.

И калмыцкой, говорят, и татарской, только правды почему-то не говорят, не хотят, так, наверное, экзотичнее.

— Не знаю, как бы к этому отнеслась моя покойная матушка, но она была...

— А я знаю, Михаил Ларионович,— перебила маска,— она была дочерью киргизского князя Уракова.

Это мог знать только близкий Михайлову человек, Чернышевский, его жена, Полонский, еще некоторые. Кто же она, маска? Новая подруга Ольги Сократовны? Однако же не станешь спрашивать, нельзя нарушать закон маскарада.

— Я знаю про вас все,— продолжала маска, ловя нить его размышлений. — Про ваше прошлое, ваше настоящее, а также и будущее. Завтра вы уезжаете в литературную экспедицию.

— Допустим. А сегодня?

— А сегодня вы будете заинтригованы мной и притом надолго.

Черт возьми, голос, голос — это голос ее, той самой...

— Вы даже притвориться не сможете, что ко мне равнодушны. Следуйте за мной! — Она взяла его под руку, и они пошли в общую залу, в сказочную толпу с феями и арлекинами, с гномами и пиратами, будто попали на тот свет. Не прошли и пяти шагов, как подлетела к ним резвушка в цыганском платье, с серьгами и певуче-привязчиво заговорила.

— Михайлов, позолоти ручку! — протянула к его лицу руку, закованную в множество перстней. — Разгадаю, что будет, чем сердце успокоится, предскажу судьбу!

— Поди прочь, черноокая! — сказала маска. — Его судьба в надежных руках. — И взяла Михайлова за локоть.

«А она гордячка, ее задело».

Цыганка оказалась воспитанной, вильнула юбками и исчезла.

— Кто это? — спросила маска.

Он почувствовал, как она сжала пальцами его локоть, и невольно рассмеялся — ему правилось, как она решительно брала власть над ним.

— Волга Саратовна.

— Вон как, сплошная география. А из биографии что-нибудь?

Он не видел здесь никакой темы для игры, зачем скрывать? И сказал, что это Ольга Сократовна, жена Чернышевского.

— А-а, того самого, которого высмеял Григорович в «Школе гостеприимства». Наружность Чернушкина так поражала своей ядовитостью, что, основываясь на ней, только один редактор пригласил его писать критику в своем журнале.

— Григорович добрая душа, и потому он легко подвержен влиянию злых людей. Повесть его на удивление плоха, это карикатура, а не беллетристика. Чернышевский чрезвычайно умен, правда, несколько однобок, но в этом его сила.

— Вы вступаетесь за мужа нахальной цыганки, оттого что являетесь кумом Чернышевских?

Она действительно все про него знает. Но для этого нужно не только слышать, но и запомнить, а значит...

— Запоминая столько сведений о ком-то, вы тем самым проявляете к этому господину повышенный интерес, не так ли?

— Вы имеете в виду Чернушкина?

— Я имею в виду себя.

— А разве я это скрываю, Михаил Ларионович? Скажу вам больше, вы были близки с Волгой Саратовной, но только до сего дня, пока не встретились со мной.

Надо же быть такой напористой, самоуверенной! Они будто поменялись ролями, полами — он жеманничал, а она волочилась. Ну коли так, сейчас он ей даст отпор.

— В альбом Ольги Сократовны я записал стихи: «Есть возможность не влюбиться в красоту ее очей, есть возможность не смутиться от приветливых речей...» — Он умышленно сделал паузу и посмотрел на маску демоном.

— Дальше должно быть «но»,— подсказала маска невозмутимо.

— «Но других любить решиться нет возможности при ней».

— Ну, это мы еще посмотрим,— пообещала маска, и он снова невольно и как будто в благодарность ей рассмеялся.

Но кто же она такая, в конце-то концов?! Хоть какую-нибудь ниточку ухватить!

— Если вам хотелось меня заинтриговать, вы этого добились. Мне бы очень хотелось...

— ...чтобы я сняла маску?

— Нет-нет,— неожиданно для себя сказал он. — Вам лучше в маске.

Она рассмеялась:

— Экий вы любезный! Я еще не слыхивала такой деликатности. А если я без маски еще привлекательнее?

— Сомневаюсь, право...

Она расхохоталась, как девочка, даже согнулась от смеха и совсем не по-светски хлопнула себя по бедрам.

— Без маски вы станете, как все другие,— оправдывался Михайлов, смущенный ее смелым смехом. — Снимете маску и наденете личину светскости. Пойдут фразы, ханжество. Куда денется ваша искренность! Так вы мне интересны, я вас никогда не видел прежде, не видел таких прелестных рук, не слышал такого голоса, не встречал у женщин такого... — Он хотел сказать «такого ума», но сдержался, подумав, как бы она не обиделась чего доброго. — Когда вы в маске, одним словом, мне и самому легче говорить с вами откровенно.

Кажется, он ее убедил, но сказала она совсем о другом:

— Отныне я заведу альбом, и все знаменитости будут мне записывать в нем стихи. Стану собирать ваши сердца, как грибы.

Так и сказала «как грибы», хотя, наверное, полагалось бы сказать о поэтических сердцах «как цветы». Видно, Волга Саратовна сильно ее задела, в ней вспыхнуло нечто сродни ревности.

Слуги длинными щипцами сняли нагар со свечей, в зале стало светлей, загремела музыка, и началась кадриль. Ему было удивительно легко с ней, легко и просто. Оказывается, ему отраднее быть ведомым, нежели ведущим.

— Спасибо вам,— сказал Михайлов.

— За что?

— За то, что вы прислали мне записку.

— Экий пустяк. Мне это не впервой.

Он говорил искренне, а она продолжала играть. Костюм, что ли, ее обязывал?

— В прошлый раз на вашем месте был молодой граф Л. Н. Т. Он писал в «Современнике» про Севастополь.

— Лев Толстой.

— Так я с ним и десяти минут не вынесла. Он убил меня своей каменностью. Такую скуку нагнал, что я усомнилась в своем таланте интриговать. И решила следующую жертву заполонить.

Мерцал паркет, свечи в канделябрах оплывали и меркли, а маскарадные страсти разгорались. Михайлов никого не видел, вернее, видел, но не задерживал взгляда, внимания. Замечал Полонского, он так и рвался попасть в третьи лишние, делал какие-то знаки,— то ли он разгадал маску, то ли просил у Михайлова позволения подойти; видел, как волновалась за него Сонечка, смотрела круглыми глазами и жалась к матери, а мать показывала Михайлову надменный профиль, и было за что — он совсем забыл про них, а ведь приехали сюда вместе...

Снова гремела музыка, и они танцевали, маска была возбуждена, щеки ее горели.

— А не собрать ли мне, Михайлов, ваших друзей, Полонского, Мея, аристократа Майкова.

— Собрать, непременно собрать! — подхватил Михайлов.— Как грибы в лукошко.

Маска после его слов поутихла, уголки ее губ опустились, и она сказала устало:

— Я подобна тем аахенским собакам у Гейне,— голос ее стал совсем низким,— которые как милости просят у прохожих пинка, чтобы разогнать скуку.

Он не ожидал такой перемены в ней. Наверное, он переусердствовал в чем-то, но в чем?

— Извините, если я вас нечаянно обидел.

Она не ответила. Молчала долго и равнодушно, как будто они уже расстались.

— Скажите еще что-нибудь,— попросил Михайлов. — Про меня.

— Могу сказать, почему вы уезжаете в экспедицию.

— Меня зовут Безденежным литератором, кто этого не знает? — Он хотел улыбнуться лихо, но получилось скорее жалко.

— Я знаю про вас другое: «Михайлов-пиита тянет все клико, не терпит лафита — ибо не крепко». Прежде вам это нравилось, а теперь вас тревожит, что вы мельчаете, прожигаете жизнь и все делаете впопыхах, вам хочется остановиться, оглядеться, но вам все некогда, некогда. Потому и едете искать себя.

Он схватил ее руку, поднес пальцы к губам и стал осыпать их поцелуями.

— Я хочу видеть вас каждый день! Вы мне очень нужны, я прошу вас, не покидайте меня! Что я должен сделать для этого?

— Что сделать? — медленно переспросила она, чем-то, непонятно чем, расстроенная. — Оставить меня, Михаил Ларионович. — И продолжала тверже: — Да-да, уехать сейчас отсюда. Домой или куда хотите.

Хороша же плата за его откровенность! Маска ему подала салазки. Он резко выпрямился, сделал шаг назад,

поклонился рывком, еще шаг назад, еще поклон, вскинул брови, бороду, повернулся и пошел не оглядываясь. Оделся и уехал.

Но до чего же не хотелось ему сейчас расставаться с ней!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сегодня начинаю писать повесть из моей жизни. Меня зовут Соней, будущей весной мне исполнится шестнадцать лет. Я любимая дочь своих родителей и единственная внучка бабушки, хотя и седьмая по счету. Росту я в самую меру, наружностью очаровательна и преграциозна и уже получаю предложения. «Подрастай скорее, Сонечка»,— говорит мне Михаил Ларионович, а на мой вопрос, куда мне торопиться, он отвечает: «Я на тебе женюсь». Он любит пошутить, хотя и говорит правду. Мы живем с ним в одном доме, только этажом выше, и у нас он бывает часто, поскольку maman упросила его заниматься со мною русской словесностью и французским языком.

Михаил Ларионович знает стихов тьму-тьмущую, говорить может на разных европейских языках, и я сожалею, что по вокалу и танцеванию у меня другие учителя, а не он. Внемля его совету, я начинаю писать повесть. Он сказал, что прежде запрещалось писать и даже нельзя было мыслить без риска оказаться в крепости, и потому человек оставался недоделанным, но теперь уменьшился цензурный гнет и можно дышать. Он мне говорит, чтобы я училась выражать свои мысли на бумаге, записывать впечатления и события, но мысли я и так умею выражать да и кто не умеет, поэтому я сначала настроилась писать стихи и сочинила про деву, кувшин и животворящие струи и показала стихи Михаилу Ларионовичу. Он прочитал внимательно и говорит: «Кувшин падает на камень или камень падает на кувшин, всегда горе кувшину». И еще он

вздохнул и мне улыбнулся. Я сообразительная, необидчивая, хотя и весьма гордая. Оставляю стихи поэтам и начинаю сочинять повесть из моей жизни, которую ему не покажу, а может быть и покажу, на все воля господня.

Я сочиняю, а на том краю стола сидит моя любимая бабушка. Она без гостинца к нам не приезжает и сейчас с любовью смотрит на занятия своей единственной внучки. Вот кто будет моей читательницей! Но поскольку она не умеет ни читать, ни писать, я ей буду сама про все рассказывать.

Продолжаю сочинять вечером при свечах. Бабушка глядела-глядела на мое занятие, а потом и спрашивает: «А зачем ты, внучка, бумагу мараешь? Да еще небось николаевскую?» Я ей отвечаю, что пишу повесть из моей жизни, а потом ей прочту. Бабушка хотела засмеяться сначала, но тут же рассердилась по неизвестной причине. «Да я тебя, говорит, розгами! Ишь чего надумала в пятнадцать-то лет!» Бабушка далее расшумелась и стала требовать у папеньки розог, а папенька отвечал, что розог мы теперь не держим, поскольку новые времена и даже при дворе говорят об отмене телесных наказаний. Бабушка совсем разгневалась: «Будет сочинять повести, никто не приедет свататься!» Даже к самовару не пошла. «Не бить,— говорит,— так и добру не быть». И уехала к себе в Гороховую. Вот с какого печального происшествия началась моя повесть. Цензурного гнета меньше, но как мне быть с бабушкой?

Продолжение моей повести не заключает в себе никакой радости. Михаил Ларионович уезжает в киргизские степи пить кумыс. Сейчас он худой и желтый, а хочет вернуться в Петербург поперек себя толще. Ему надо по-

править свое подгулявшее, как он говорит, здоровье, но кто теперь будет со мной заниматься? Кто теперь оценит по достоинству мою привлекательность и грациозность? Он будет писать мне письма бухарским слогом, а я должна ему отвечать по-французски.

Повесть моя на этом прерывается по причине отсутствия вдохновения.

Вдохновения нет, но есть интересные события. Вчера мы с maman были на маскараде в Благородном собрании на Литейном. Сначала я хотела сделать себе волшебный костюм, но папенька заявил, что мне наряжаться рано, а maman — поздно.

Ехали мы туда в карете с Михаилом Ларионовичем и с Полонским. Михаил Ларионович выглядел франтом и все шутил, что против него интрига, возможно, его похитят и мы его больше не увидим, как не увидит его и морское министерство, которое посылает писателей за моря-окияны ловить рыбу в мутной воде для великого князя Константина Николаевича. Maman смеялась, Яков Петрович смеялся, и я тоже смеялась, хотя и не видела поводу, но мне важно быть наравне со взрослыми. На самом же деле никто его похищать не думал, весь вечер он провел с дамой в черном домино, о чем я напишу подробнее, когда почувствую полет вдохновения. К нам он так и не подошел, и maman на него обиделась, а я и того больше. Полонский представил нам своего приятеля, молодого брюнета, отрекомендовав его поэтом Василием Курочкиным. Однако сей поэт совсем нас не развлекал, а скоро удалился в буфетную, и я не сделала бы его героем повести, если бы он не вернулся. Но он вернулся и притом не один, а с неким господином, одетым беспечно в желтые панталоны с большой клеткой. Они встали рядом с нами, и господин, показывая пальцем на Якова Петровича, спросил: «Это

Полонский?» Последовал ответ: «Полонский». — «Он написал «Песню цыганки». — И господин запел: «Мой костер в тумане светит; искры гаснут на-а лету-у», довольно приятно, как актер, хотя и настолько громко, что maman дернула меня за подол, чтобы я не стояла, разиня рот. Я послушалась, но мне было любопытно, и весь разговор их я воспроизвожу в дословности: «Хватит петь, сын льва, тут тебе не Александрынка. Давай лучше поговорим». — «Давай. Слышно, новый государь пьет горькую?» — «Пьет, сын льва, пьет». — «Значит, душа у него добрая, как у всякой пьяницы». — «Добрая-предобрая». — «Он дарует народу волю. Либертэ, эгалитэ и фратернитэ. Либертэ будет, а... а цыган не будет!» — Тут господин всхлипнул на мое удивление, достал платок и начал вытирать слезы, самые настоящие, мокрые. «Не печалься, сын льва, цыган будет еще больше». — «Зачем же больше?! — Господин заревел. — Упаси боже! Надо в самый раз...» — «И цыгане будут, и побирушки, и христорадники, не приведи господь сколько. Пошли в буфетную, сын льва». — И они ушли.

Я попила чаю с бабушкиным вареньем из крыжовника, подождала, когда моя любимая бабушка уехала, и пишу теперь снова главу о маскараде. Черное домино не выпускало Михаила Ларионовича весь вечер из своих зловещих объятий (это я выражаюсь фигурально). Угадать, кто она такая, невозможно, хотя сразу же ясно всякому справедливому человеку: она не имеет и половины тех достоинств, которые имею я. Михаил Ларионович такой тонкий, изящный, весь приподнятый, выгнутый, так и кажется, вот-вот выпорхнет из своего фрака и взовьется над ней соколом ясным. Только вот лицо у него было странное, желтее всегдашнего, и выражение растерянное, хотя maman сказала, что он так рад, будто



получил душ двести наследства. Я улыбалась ему, а он вовсе меня не видел. Наверное, отсвечивали стекла его очков. Но прежде-то они никогда не отсвечивали! Обидно мне до сего времени...

Скандал! Или похоже на скандал. Или если еще не было скандалу, так он непременно будет. Черное домино оказалось мужней женой, дамой! Супруг ее, офицер корпуса лесничих Шелгунов служит в департаменте и характеризуется человеком достойным.

И еще наш дом взбудоражен новой повестью Михаила Ларионовича в «Библиотеке для чтения». Она так и называется «Наш дом», и многое в ней похоже на то, как есть и в самом деле. А главное, там героиня по имени Соня и все заканчивается ее счастливым браком. Какие это намеки?

Началась зима, а с нею множество всяких вечеров, балов, маскарадов. Но мне более по душе литературные вечера, я ведь пишу повесть, и мне нужны встречи с известными литераторами. Мы выезжаем с maman, и моя мечта попасть в салон Штакеншнейдеров. Однако туда надо получить приглашение, а папенька щепетилен и запрещает нам туда соваться. И хотя он действительный статский советник, но таких много, признает папенька, а государев архитектор Штакеншнейдер один.

За неделю до рождества я все-таки появилась в салоне вместе с Михаилом Ларионовичем. Он все еще уезжает в экспедицию, а сам уже не может и дня прожить, не повидав Шелгунову.

У Штакеншнейдеров я очень сошлась с их дочерью Еленой девятнадцати лет. Она, как и я, тоже начала повесть из своей жизни. Тот, кто ничего не пишет, у них не бывает. Елена проницательна, рассудительна и очень

умна, может, потому, что горбатенькая. Она тоже убеждена, что Михайлов от Шелгуновой совершенно потерял голову, хотя откуда ей знать, каков он с непотерянной головой?

Мы с Еленой постоянно выбираем в салоне даму, на которую надобно равняться в своем развитии. Я полагаю, что женщина должна быть загадочной и роковой, но Елена со мной не согласна и говорит, что такие натуры уже ушли в прошлое, а сейчас свобода на первом месте и раскрепощение чувств.

Не сговариваясь с Еленой, мы обе заняты Шелгуновой как возможным примером для подражапия. Елена вычитала, что есть два типа женщин — собачьей привязанности и кошачьей гибкости. Шелгунова будто бы относится ко второму типу. Меня не особенно восхищает ее внешность, хотя волосы у нее белокурые. Она полновата и лицом и телом, но Елена говорит, что ей даже полнота идет, походка у нее плавная, словно ладья плывет, и пол под ее ногами не содрогается, как под другими дамами. Но неужели и я в свои двадцать три года стану такой же пухленькой? Останется ли хоть что-нибудь от моей преграциозности? И еще я задаюсь вопросом, почему Шелгунова не следует моде, не сделает себе баску на платье, а они в большой моде, у иных даже очень низко, наподобие юбки, а у нее совсем нет. И платье она не дополняет ни аграмантами, ни гипюром, ни гагатами, ни бахромой. И шляпки у нее очень обыкновенные, а вот Дружинин явился с дамой, у которой шляпка по наиновейшему вкусу из гладкого бархата гранатового цвета, по обеим сторонам перья такого же цвета, а поля обхвачены черным кружевом — преграциозная шляпка!

Елена говорит, что мы находим в ней недостатки, потому что слишком внимательны к ней, нельзя забывать, что она прекрасно говорит на всех европейских языках,

в детстве ей держали в доме француженку для разговора. Она прекрасная музыкантша, одна из лучших пианисток Петербурга, и сама это знает. И еще Елена говорит: несмотря на всякие наши придирки, мужчинам она очень нравится. Но почему, почему? — вот что для меня важно уразуметь. По мнению Елены, она очень умна, а мне кажется, она больше хитра и своевольна, для нее нет ничего невозможного. Она будто бы утверждает, что только мятежность делает женщину в наш век прекрасной. Как это понимать?

Полонский тоже обожает Шелгунову, он смотрит на нее глазами Михайлова. А Михаил Ларионович сильно изменился и нравится мне такой еще больше. Только мне кажется, что он ее любит сильнее, чем она его, и это обидно. Когда он говорит с ней, слышать его голос просто одно удовольствие! Но они часто уединяются куда-нибудь в сторонку и способны проговорить вдвоем весь вечер. О чем? — хотела бы я знать. Она не жеманничает, не кокетничает, но временами смеется весьма откровенно, запрокинув голову и показывая шею (мне надобно этому поучиться).

И еще мне любопытно, почему она совершенно не смущается своего мужа. Он, видно, строгий господин, лощеный такой офицер, слегка насмешливый. Суждения его сплошь новые (так Елена говорит). Он выше зряшной ревности (опять же по словам Елены). И что особенно удивительно, в чем не разобраться ни мне, ни другим,— Шелгунов и Михайлов очень между собой дружны. Я даже полагаю, что если Шелгунова обидит Михаила Ларионовича, то муж ее вступится за него, как друг. Ну не странно ли все это, не загадочно ли?

Михаил Ларионович умен и образован, спору нет, но какой же он все-таки недогадливый, его так легко обмануть! Оказывается, на другой день после того маскарада он перебрал всех своих знакомых, вспомнил своего приня-

теля по Уфе Пекарского, разыскал его квартиру и начал изливать душу — как он заинтригован, как ему хочется раскрыть эту маску, не знает ли ее Пекарский? А Шелгунова стояла в это самое время в двух шагах за портьерой и все слышала! Пекарский живет с ними в одной квартире. Это тот самый господин, высокий блондин, который неприлично хохотал, следя за ними на маскараде. Но Михаил Ларионович и за него склонен вступаться, называет его ученым, который скоро прославится своим трудом про Петра Великого, с утра до ночи копаясь в архивах и музеях. Я же считаю, что великие учёные не должны так громко хохотать на маскарадах, ведь Ломоносов не хохотал.

Повесть из моей жизни превращается в повесть о мадам Шелгуновой, и я ничего не могу с этим поделать. Вчера она рассказывала анекдоты касательно двора, определенно неприличные, иначе нас с Еленой не стали бы выпроваживать в другую комнату.

Может быть, она ведет себя вольно по причине неудачного брака? Но Елена считает, что брак ее, наоборот, удачен, хотя и отличается от других какой-то особенной новизной. Муж ее сопровождает во всех забавах, бывает на литературных вечерах, хотя сам не литератор. Она его зовет Николаем Васильевичем и на «вы» с ним не только в обществе, но и дома. И он также зовет ее на «вы». Вдобавок они еще и родственники, подавали прошение в синод на разрешение кровного брака. Елена все знает и говорит, будто по причине их близкого родства до сих пор у них нет детей, хотя ей уже двадцать три года.

Не слишком ли много я пишу о ней? Все о ней да о ней, а когда же о себе? Но почему-то о себе и писать нечего. Моя любимая бабушка загоревала, ездит к нам

редко и говорит, что, если ее единственная, седьмая по счету, внучка будет посещать маскарады с грудного возраста, ноги ее в нашем доме не будет. Это у меня-то грудной возраст?

Вот и рождество прошло, Новый год наступил, а повесть моя все о тех же людях, и пишу я не из страсти к болтовству, я уже не могу жить без них. Михаил Ларионович все уезжает и уезжает в Оренбургские степи со дня на день, никак не уедет.

Запишу еще один случай про Шелгунову, последний, а далее воздержусь. Вчера у Штакеншнейдеров зашел разговор о каком-то Огареве. Он богач, миллионер, живет в Москве, у него есть шкатулка, набитая деньгами, и всякий из его приятелей берет оттуда сколько вздумается, даже не спрашивая соизволения. Сейчас он в Петербурге и закатывает вечера, а к Штакеншнейдерам не идет. Михайлов заявил, что все это вздор и что Николай Огарев прежде всего замечательный поэт, и начал читать по памяти: «Просило сердце впечатлений и теплых слов просило вновь, и новых ласк, и вдохновений, просило новую любовь». Полонский тоже начал хвалить его стихи под названием «Монологи». Но было бы удивительно, если бы Шелгунова не выразила своего желания познакомиться с таким талантом, но она выразила, сказав, что сама хочет прочесть его стихотворения. Поискали в библиотеке — библиотека преогромнейшая, а стихов его не нашли. Шелгунова огорчена, а Михайлов тут же: «Я вам сейчас принесу их!» И пошел одеваться. Стали его отговаривать, слишком поздно уже, на дворе ночь, мороз, все отговаривали, все, кроме Шелгуновой! (ставлю восклицательный знак.) Михайлов быстро ушел, не внемля никаким уговорам. Я просто дрожала вся — вдруг не найдет, что с ним будет? Я, можно сказать, страдала, а Шелгунова тем временем шутила с красавцем Григоро-

вичем, высоким и солидным господином, сама смеялась, а уж он и подавно, как студент; наверное, она пустила в ход свои знаменитые анекдоты.

А Михайлова все нет и нет. Дружинин, Тургенев и Григорович заговорили о молодом графе Толстом, называя его башибузуком, троглодитом и надеждой русской литературы. Мне было неинтересно, я только запомнила, что у молодого графа две двоюродные тетки живут в Зимнем дворце и воспитывают внучек императора Николая, а один двоюродный дядя живет в Академии художеств, являясь ее вице-президентом, и любит выделывать кадриль в домашнем костюме — в бархатной куртке, в вышитых туфлях и в шерстяных чулках. Затем они стали высмеивать Чернышевского, называя его семинаристом и даже клоповоняющим господином. Я бы не стала этой скуки записывать, если бы не вмешался в разговор Шелгунов. Обходительно, не касаясь личностей, он сказал, что Чернышевский — человек большого ума и что его новая эстетическая теория совершает переворот. Это прозвучало вызовом, и трое маститых литераторов ответили на его заступничество по-разному. Григорович, так жестоко высмеявший Чернушкина в «Школе гостеприимства», согласился с Шелгуновым (уж не из-за его ли жены?). Тургенев довольно язвительно вставил, что в обществе заметен сдвиг, коли об эстетических теориях рассуждают офицеры лесной службы. Это было оскорбительно, но Шелгунов совсем неамбиционно отвечал ему, что офицерам легче судить беспристрастно о значительных общественных явлениях, «не преследуя узкие цели литературного кружка», в то время как в «Школе гостеприимства» видны личные счеты. Тургенев, видимо, гордец, промолчал, но тут прямо-таки в ярость пришел Дружинин и заявил, что он готов бить по голове палкой, бутылкой и чем угодно всякого, кто осмелится порицать Пушкина. При чем здесь Пушкин? Шелгунов не собирался

досаждать литераторам, но и уступить им ему как будто было совестно перед самим собой, он даже побледнел, но отвечал твердо, что господин Чернышевский и не думал порицать Пушкина, его неверно, якобы, поняли. Спорщики увлеклись, забыли про женщин, и Шелгунова быстро поставила всех на место, предложив сочинить пьесу и самим же разыграть ее на домашнем театре. Ее поддержала хозяйка салона Мария Федоровна, сказав, что их пустующий театр давно не оглашался криками «браво» и «бис».

А Михайлова все нет и нет. Может быть, он уже пьет горькую, не найдя обещанных стихов?

Шелгунова хотела предложить тему из народной жизни, а Дружинин сказал, что лучше фарс, и он уже есть, его с успехом играли в имении Тургенева Лутовинове, это та самая «Школа гостеприимства», из которой Григорович сделал рассказ. Шелгунов был в тот вечер особенно несговорчив, он заметил, что фарс может быть и презабавным, если убрать из него пасквильную фигуру Чернушкина. Непонятно мне совсем, почему он в одном случае тверд, как кремень, а в другом мягок, как воск, с женою, например? Кто бы мне разъяснил?

В это время как раз-то и воротился Михайлов, красный с морозу, со сверкающими глазами и такой счастливый, что мне захотелось подставить ему щечку для поцелуя. Он подбежал к Шелгуновой и подал ей стихи, о которых она уже и забыть успела. Однако же улыбнулась (нам с Еленой ее улыбка хороша, перед зеркалом я улыбаюсь вполне так же), улыбнулась и говорит: «Чем я вам обязана, милый Мих?» — «Позвольте поцеловать вашу руку?» Она рассмеялась и милостиво подала.

С приходом Михайлова спор затих, возможно потому, что он близок с Чернышевским, но я полагаю, спор прекратился оттого, что Михаил Ларионович своим обхождением не способствует разжиганию всякой распри.

Елена считает, что у Шелгунова и Чернышевского одинаковые принципы в отношениях с женами. Они будто бы новые люди. Жена Чернышевского принимает гостей отдельно в своей половине, а он, если пожелает, может принимать отдельно своих гостей. Но он доволен тем, что его оставляют в покое и не мешают писать возмутительные для Дружинина сочинения.

Теперь по средам все собираются у Шелгуновых в маленьких комнатах, и я хожу туда с большим любопытством и волнением. Сейчас я просто диву даюсь, как сильно изменилась моя жизнь с недавнего времени, а Михаил Ларионович говорит, что изменилась не только моя жизнь, дело тут в общем обновительном духе, в новом каком-то ветре, веянии.

Собираются у них все известные литераторы, бывают Тургенев, Полонский и остальные друзья Михайлова. Наконец-то я увидела здесь Чернышевского, который стал притчей во языцех, и он не произвел на меня особого впечатления. Сразу видно, не петербуржец. Он больше сидит в сторонке, но каждое его слово ощетинивает спорщиков. «Не торопитесь осуждать русского писателя. Чего хочет публика, тем и бывает литература». Некоторые господа стараются его не замечать, но исподтишка говорят для него какие-нибудь крайности, дабы вызвать его на возражения. А он иногда возражает, а иногда посмеивается, отчего противная сторона негодует еще больше. Мне все это непонятно. Однако он хорошо относится к своей жене, которая во многом не уступает и самой Шелгуновой. Жена его очень нежна и всегда весела с Михайловым.

Уже раза три Елена втолковывала мне, кем приходятся друг другу супруги Шелгуновы, я кое-кое-как запомнила. Дай бог памяти и сейчас. Прабабка у них одна, из фамилии Шелгуновых. У прабабки была дочь, которая в

замужестве стала Афанасьевой и родила дочь. Эта дочь вышла замуж за обрусевшего немца Михаэлиса и родила Людмилу Петровну. Но у прабабки был еще сын, который женился на обрусевшей немке фон Поль, и у них родился Николай Васильевич. Значит, матери ее он брат двоюродный, а ей дядя.

У Шелгуновых много музицируют, ведут всякие разговоры и подают вкусные расстегаи. Ни один разговор, особенно при Чернышевском, не проходит без мужика. Сам он такой темы не начинает, но другие полагают, что без мужика Чернышевскому скучно, либо задеть его хотят нарочно. Вчера завели разговор о собачках, но перекинулись, как и следовало ожидать, снова на мужика. В Петербурге усилилась мода на домашних собачек, появились разные диковинные породы, смешные и серьезные, у иных морда сильно похожа на человеческую физиономию, их стригут по-особому, моют французскими мылами и даже подбривают. Был поставлен вопрос: западное это или наше, русское? Решили, что западное. Но вот появилось в «Санкт-Петербургских ведомостях» сообщение о суде. Мужик повадился воровать на улице господских собачек. Украдет, подождет объявления о пропаже и несет собачку по адресу, получая вознаграждение. Западное это или наше, русское? Заводить собачек — западное, а воровать их — чисто наше, русское. Господ забава тешит, а мужика кормит.

Кроме расстегаев и музицирования, у Шелгуновой есть замечательный альбом с посвящениями. Она не делает из него секрета, наоборот, так и выкладывает его на вид, и я переписала оттуда некоторые записи. Вот экспромт Майкова: «Среди толпы пустой и сонной невольно я стремился к вам, как к свежей розе, приплетенной в венке к искусственным цветам». Из этого можно сделать вывод, будто она покоряет своей естественностью. Ох, уж эта мне естественность! Доживу ли я до нее когда-нибудь? У По-

лонского посвящение более туманное: «Я был богов твоих певец, когда я пел ума свободу, неискаженную природу и слезы избранных сердец». Тут мне тоже не все понятно, к примеру, чьи слезы? Мужские или дамские? Лучше всех написал Михайлов, без комплиментов, одну печальную правду: «Боже, каким перепутьем меня, странника, ты наградил! Боже, какого дождался я дня. Сколько прибавилось сил!»

У Елены 7 февраля на домашнем театре давали «Школу гостеприимства». Чернушкина все-таки заменили на Брандахлыстова, он ломает стулья, курит, на сцене дым коромыслом. Женщин он называет ничтожными созданьями и поет: «Прощаюсь, ангел мой, с тобою». Михайлов играл помещика Лутовицына, а Шелгунова его сварливую жену. Они до того скандалили, до того злословили, что половина публики разбежалась, а сидевший в первом ряду старик со звездой, Греч, заявил: «Полюбуйтесь, милостивые государи, вот она, натуральная школа!» — и с гневом ушел. Скандал! Михайлова мне жалко, но ругались они с Шелгуновой предерзостно. Если бы и вправду так...

Михайлов говорит, что морское министерство скоро выловит его, как рыбку, и отправит к синю морю под ружьем. И будет он там сидехом и плакахом на брегах вавилонских. Рыбка он хоть и не золотая, но и не простая, поскольку экспедиция оплачена серебром, а он уже все прожил, ибо у него бекрень в голове, и теперь ждет, когда кто-нибудь обнадежит: «Mais je puis vous donner de l'argent». («Но я могу вам дать денег».)

Михайлов наконец уехал. Солнышко мое калмыцкое укатило в степи киргизские. Вчера я радовалась, что он нашел в себе силы оторваться от Шелгуновой, а сегодня

узнала, что это не он от нее оторвался, а совсем наоборот — Шелгуновы уезжают за границу, о чем поместили сообщение в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции». Вот оно в чем дело! При всем своем обаянии я недогадлива, у меня тоже бекрень, если не сказать хуже. Ведь иначе он бы так и не уехал! Как мне ему помочь?..

Буду писать ему, а вернее сказать, буду отвечать ему на письма по-французски. А повесть свою буду продолжать по-русски.

Скоро весна, и мне пойдет уже семнадцатый год.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Господин Костомаров Всеволод Дмитриевич, двадцати трех лет от роду, вероисповедания православного, отставной корнет, холост, род занятия... — последовала пауза,— начинающий литератор, это вы?

Горянский, начальник второй экспедиции собственной его императорского величества канцелярии, худощавый брюнет в темном фраке и со Станиславом на шее, сидел по одну сторону стола, а вызванный на допрос Костомаров — по другую.

— Отчасти это я,— согласился Костомаров,— а отчасти и вы.

— Как изволите понимать «отчасти и вы»?

Костомаров будто не слышал. Ожидая ответа, Горянский внимательно его разглядывал. Стриженная под гребенку голова и обросшее лицо придавали Костомарову несколько больной вид. Лоб высокий и гладкий, глаза мрачные и взгляд в сторону, но не убегающий, а твердый, не робкий, а с вызовом — не желаю на вас смотреть. Губы бледные, почти не видные, и оттого слова будто исходили из волосатой дыры под носом. Он сидел словно сам с собой и не замечал окружения. Горянский нашел, что у него лоб мыслителя, а взгляд заговорщика и често-

любца. Мрачная его поза выражала, видимо, решимость сохранить тайну.

Горянский пе стал повторять вопроса, иначе беседа уйдет в софистику (сей мыслитель начнет доказывать, почему «отчасти и вы») и продолжал невозмутимо:

— Воспитывался в Московском дворянском институте, затем в Михайловском артиллерийском училище, не окончив которого поступил юнкером в Смоленский уланский...

— Арестовали в Москве,— перебил Костомаров,— доставили в Петербург, зачем? — Подождал ответа, не дождался: — Справиться относительпо вероисповедания? Убедиться, того ли взяли на переделывание?

Горянский помолчал, подождал со вниманием — пусть он поистратит запас ехидства,— наконец спросил:

— А что вас заставило?..

— Поступил юнкером не в Смоленский уланский,— спова перебил Костомаров,— а в малороссийский кирасирский принца Альберта прусского полк. Затем произведен корнетом в Смоленский улапский.

Он, видимо, до того погружен в свою упрямую решимость, что пе сразу впикает в разговор, запаздывает с ответом.

— Что вас заставило так рапо выйти в отставку? — договорил свой вопрос Горянский.

— Для поэта и смерть не отставка.

— Разумеется, поэты бессмертны, это мы с гимназии знаем. Но вы не отвечаете на вопрос, господин Костомаров.

— У корнета имепий нету. — Взгляд его по-прежнему в сторону.

— И потому вы решили...

— А есть два брата, да две сестры, мать и больной отец. Теперь они на совести Третьего отделения. Будете их содержать.— Помолчал несколько. — Семеро душ сорвут куш.

«Так и норовит в сторону, не только взглядом, но и помыслом. Попридержим»,— решил Горянский.

— Имений нету, и вы занялись литературою. Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать.

— За сколько?

«В самообладании ему отказать нельзя,— отметил Горянский,— хотя Путилин характеризовал его трусом. Значит, «за сколько?». Умысел его тут или просто дерзость?»

— Сначала товар, потом деньги,— на всякий случай сказал Горянский.

Костомаров коротко и злорадно рассмеялся:

— Благородных мало, ох как мало,— будет еще меньше. Негодяев много, ох как много,— будет еще больше.

— Нет, литература не прокормит,— громче, тверже заговорил Горянский,— вы это поняли, господин Костомаров, и потому решили заняться печатанием...

— Николка молод, глуп и падок на деньги.

— Какой Николка?

— Отнюдь не Николай Павлович, в бозе почивший.

— Извольте меня выслушать, господин Костомаров! — повысил голос Горянский. — Извольте не перебивать!

Костомаров развел руками, дескать, готов, слушаю.

— Вы решили заняться печатанием и распродажей возмутительных сочинений.

Костомаров приподнял бровь, показывая, что ждет беседы более содержательной.

— Вы хорошо знаете, что Искандер,— Горянский не спеша уточнил,— государственный преступник Герцен, на распродаже «Колокола» имеет тысячные барыши и может содержать на них не одну такую семью, как ваша. Это соблазняет молодой, неокрепший ум.

Костомаров улыбнулся кому-то третьему за спиной Горянского и туда же сказал:

— Распродажи за мной не водится. Не успел. Не дали поднажиться.

— А печатание?

— Чего печатание?

«Он упрям, но это на первых порах,— размышлял Горянский. — Самолюбив, и это необходимо учесть. Похоже, не трус, хотя Путилин так и сказал: трусоват. А у Путилина глаз наметан, сыщик дарования редкого». Горянский ему поверил и начал от этой характеристики — с порога резкий тон, полная нелюбезность, да, видно, не с той ноги заплясал, Костомаров замкнулся. Путилин имел с ним дело сразу после ареста, когда отставной корнет еще не пришел в себя, а теперь пообвыкся, пообтерся в стенах Третьего отделения и осмелел. Не стоило оскорблять его самолюбия словами «начинающий литератор».

— Вы поэт, господин Костомаров, не так ли?

Костомаров молча отвернулся, взгляд его скользнул низом, по полу и остановился на углу сосредоточенно, будто он там мышь увидел. Он по-прежнему не желал вникать в разговор.

— Ваши стихи привлекли благосклонное внимание публики,— терпеливо продолжал Горянский, невольно подражая Костомарову и глядя в тот же угол.— Ваши стихи напечатали в «Современнике». Да и сами вы привлекли внимание господина титулярного советника Чернышевского.— Он помедлил, выдержал паузу.— А также благосклонное, более того, дружеское участие знаменитого переводчика Гейне, известного нашего беллетриста, ратоборца женских свобод и еще кое-чем знаменитого господина Михайлова, я не ошибаюсь, дворянин Костомаров?

— Отрадно,— глуховато сказал Костомаров и, видя, что Горянский со вниманием качнулся к нему, умышленно не стал продолжать.

— Что вы находите отрадным, господин Костомаров?

— Журналы читаете.

— А как же! Господин Михайлов посылал вам деньги,

посылал вам письма. А в письмах, которые вы нам любезно представили при аресте... — Горянский сделал паузу — пусть взбрыкнет отставной корнет, пусть покобенится,— но Костомаров будто не слышал. — ...в тех письмах Михайлов предлагает вам ехать за границу, побольше писать и признается: «Вот я с каким эгоизмом цепляюсь за вас. Крепко, крепко целую вас, дорогой друг». Как же-с, читаем, почитываем.

— У меня во «Времени» у братьев Достоевских скоро статья будет, прочтите. — Костомаров слегка похлопал себя по губам пальцами, прикрывая зевок, затем почесался. — То ли блохи у вас, то ли клопы.

«Отставному корнету скучно, не пора ли его заинтересовать?»

— А в каком журнале будет ваша поэма «Православие, самодержавие, народность», в которой вы глумитесь над святыми для нашего отечества понятиями?

— Глумление над святыми рассматривает синод.

— Ваша поэма бесцензурна, и вы пустили ее в потаенную литературу, того и гляди она появится в «Колоколе». Охаиваете все на свете, будто вы не дворянин и не литератор российский, не союзник Пушкину.

— Со-узник,— поправил Костомаров. — Суть в узах, в со-узах. Один напишет слово, другой припишет два, кому не охота почесать язык на щекотливой теме? И пошло гулять по белу свету сочинение ко всем и ни от кого. А касательно меня, то названной вами поэмы у меня не имеется.

«Так и будем топтаться на одном месте».

— На нет и суда нет, зато есть у вас кое-что другое, куда более серьезное.

— Я так и понял, иначе не приволокли бы меня в Тайную канцелярию. Не пора ли выложить, что там у вас?

— Не спешите, господин отставной корнет! — с командными нотками сказал Горянский. — Будет вам и бел-

ка, будет и свисток. А впредь извольте собственную его императорского величества канцелярию называть правильно, без искажений и уничижений.

— Виноват-с,— хамским тоном извинился Костомаров и даже голову склонил. — Я грубо ошибся, ибо в писании сказано: нет ничего тайного, что не сделалось бы явным.

«Все-таки Путилин в оценке его просчитался, ибо сей субъект не пуглив, да склонен еще и дерзить, на всякий нажим тут же и ощетинивается. Пожалуй, Костомаров на что-то рассчитывает, возможно, на кого-то опирается, ведя себя довольно-таки безрассудно. Что-то есть». Горянский почуял, что-то есть. Не одна только поза героическая, но и некий расчет, основанный, впрочем, на заблуждении. Он как будто не считает Горянского за фигуру в начатом деле. Он не знает, что у Горянского кое-что припасено. Не пора ли пустить в ход?

— По сообщению вашего брата Николая, вы являетесь главой партии заговора.

— Я вам давно сказал: Николка молод, глуп и падок на деньги, чем вы и пользуетесь.

«Заспешил корнет, заспешил».

— Ваш брат честен и предан государю.

— Доносы, по-вашему, дело чести и преданности. Вполне логично для явной канцелярии.

«Ага наконец-то вникать стал, забеспокоился».

— Вашим братом представлены в Третье отделение два воззвания: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и «Русским солдатам от их доброжелателей поклон». Вы, оные доброжелатели, начали их печатать в своей так называемой Первой вольной типографии, чтобы затем пустить в дело для потрясения основ государства. Одна из прокламаций писана рукою Михайлова, что нами уже доказано. Что вы на это скажете?

— «Разве?» — скажу я на это. И еще могу добавить: «Какой пассаж!» — не без игривости отвечал Костомаров.

— Вам известно, нами арестованы в Москве студенты Заичневский, Сороко, Гольц-Миллер и еще некоторые. Смею вас заверить, на допросе они не будут столь безрассудны, как вы. Все они являются членами вашей партии заговора, и все вы понесете самое суровое наказание.

Здесь Горянский ради дела слегка преувеличил. Упомянутые им воззвания не были напечатаны, а значит, и не пущены в ход. Студентов исключат из университета и сошлют в провинцию, куда-нибудь в Калугу или в Саратов. А отставного корнета разжалуют в солдаты и отправят служить на Кавказ или в глушь к инородцам. Если бы дело ограничивалось только двумя этими воззваниями, то Горянскому не поручали бы вести расследование. Ему поручили нечто совсем другое, куда более серьезное.

В начале сентября в столице появились листы настолько преступного содержания, что Шувалов вынужден был срочно телеграфировать шефу корпуса жандармов князю Долгорукову, который находился в Ливадии при государе императоре, о том, что в Петербурге показалось у разных лиц и в войсках возмутительное воззвание «К молодому поколению». О том же Шувалов телеграфировал в Москву генерал-губернатору Тучкову и лично говорил с управляющим военным министерством Милютиным. Вместе с обер-полицеймейстером Шувалов поднял на ноги всю столичную полицию. В свою очередь Долгоруков немедленно доложил государю о событиях в Петербурге, последовало повеление о срочном проведении расследования и обнаружении виновных. Вот какое немаловажное дело было поручено Горянскому.

— Скажу вам прямо, господин Костомаров, все, мною перечисленное выше, является только началом вашего преступления, а продолжение его заключается в том, что вами распространен лист воззвания «К молодому поколению», особо возмутительного содержания. В нем наличествует прямой призыв убивать. «Мы смело идем навст-

речу революции; мы даже желаем ее... Если для осуществления наших стремлений... пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого». Воззвание печатано вами, господин Костомаров, и за него уже не помилуют ни царь, ни господь бог. Согласно уложению вам будет каторга!

Все это Горянский выговорил твердо и с напором, после чего закурил тонкую папироску. Затянулся, посмотрел на Костомарова. На лице того не было ни страха, ни растерянности — он думал. Спокойно думал и сосредоточенно, как игрок за шахматной доской.

— «Печатано вами»,— наконец проговорил Костомаров с усмешкой. — Экий дока отставной корнет! На лондонской бумаге, лондонским шрифтом. Экий хват!

Горянский поперхнулся дымом, он не ожидал такого хода, быстро подхватил:

— «На лондонской бумаге, лондонским шрифтом». Так можно говорить только в том случае, если вы имели лист перед глазами. — Горянский уже забыл о своей лжи «печатано вами», она потеряла значение. — Где вы видели лист, у кого?

Костомаров молчал. Он явно проговорился, но не смутился.

— Отвечайте, господин Костомаров! — Горянский часто-часто задымил папироской, встал, подошел к Костомарову вплотную и склонился к его стриженой голове, будто Костомаров глухой. — Где вы видели лист? У кого?

Костомаров молчал, не меняя своей задумчивой позы.

— Отвечайте на мой вопрос! — вскричал Горянский.

Костомаров дернулся, будто очнулся.

— Что вы сказали?

— Где вы видели воззвание, черт возьми, у кого?!

— А-а... Валялось на тротуаре. — И подчеркнул: — Допустим.

— В Москве?

Костомаров думал или делал вид, будто думает.

— Я вас спрашиваю, где, как вы сказали, валялось на тротуаре, в Москве?

— Да с какой стати? В Петербурге, разумеется.

— У кого именно?

— «У кого именно»,— оговорил Костомаров. — А кому принадлежат тротуары в Петербурге?

— Вы живете в Москве, господин Костомаров.— Горянский с трудом удерживал свое злорадство. — Каким же образом за сотни верст вы разглядели лист в Петербурге?

— Вы играете со мною, господин Горянский, лицедействуете, а зачем? Вам же хорошо известно, что двадцатого августа я был в Петербурге у господина Михайлова.

— Тэк-с, тэк-с. — Об этом-то как раз Горянскому ничего не известно, об этом-то он впервые слышит.— Тэк-с, тэк-с,— повторил он раздумчиво, пытаясь разгадать умысел Костомарова. Вне сомнения, какой-то умысел! Относительно лондонской бумаги и лондонского шрифта Костомаров не обмолвился, нет,— он сказал сознательно. Не странно ли? И тем более удивительно его открытие о свидании с Михайловым двадцатого августа. Что за шаг, что за скачок такой? Если ему поверить, а оснований не верить ему тут нет, то выходит, он видел лист у Михайлова?

Горянский затянулся папироской, распаляя радость в себе. Однако спешить не надо, потихонечку да полегонечку.

— Вот и хорошо, мы с вами разговорились наконец, господин Костомаров. Пойдем дальше, с богом. Злонамеренный лист появился на белый свет третьего сентября. А вас арестовали двадцать пятого августа, то есть за девять дней до появления оного. Как же вы могли его видеть и где? Находясь под арестом?

— Совершенно верно! — воскликнул Костомаров. — Я не мог его видеть, находясь под арестом. Так и запишем.

Снова скачок, но уже на попятную.

— Так почему же вы говорите «лондонская бумага, лондонский шрифт»? — с раздражением обронил Горянский.

Костомаров провел ладонью по щетине на лице, почесался. Он оброс за эти дни, не похож на корнета, похож на пьющего дворянского отрока, а скорее — арестант арестантом, вечный, каковым и суждено ему быть.

— Я не печатал этого листа, господин Горянский,— устало проговорил он. — Не мучайте ни себя, ни меня. А если вы полагаете, что относительно шрифта и бумаги я проговорился, дело ваше, полагайте.

Теперь упрется, и выйдет сказка про белого бычка. Вопросы задавать нет смысла, пора перейти к утверждениям.

— А ведь вы действительно проговорились, господин Костомаров, как же это вы так? — пожурил Горянский. — Неосмотрительно с вашей стороны...— Он внимательно следил за Костомаровым — ни раскаяния в нем, ни осознания промаха, наоборот, удовлетворение, будто он чего-то важного для себя добился.

Впрочем, если подумать, так ведь оно и есть, добился. В том, что он сказал, цель слепому видна — отвести от себя грозящее каторгой обвинение в печатании листа. Дескать, в Лондоне, и все. Что же тут странного, нелогичного? Отвести от себя, во-первых, но есть что-то и во-вторых... У Горянского появилось ощущение, что не он ведет допрос, а Костомаров ведет с ним игру по какому-то своему плану. Будто они вдвоем в бильярдной. Костомаров сделал ему подставку, а Горянский от неожиданности своим глазам не верит и целится по другой лузе. А подставка стоит. И теперь уже Костомаров любезно делает вид, будто ее не видит...

— Я не проговорился,— напирая на «не», сказал Костомаров. — Я всего лишь не договорил.

— Договаривайте, это пойдет лишь на пользу вам.

— Я не договорил того, что лондонскую бумагу и лондонский шрифт, то есть лист «К молодому поколению», я видел па столе у графа Петра Андреевича Шувалова.

«Экая скотина!» — Горянский пружинисто вскочил, быстро прошел через кабинет, толкнул дверь и сказал через порог:

— Составьте отношение коменданту крепости его превосходительству генералу Сорокину на предмет водворения одного арестованного!

Свою подставку Костомаров сам же и загнал в лузу, да еще с треском. Да прежде подразнил партнера. Горянского взбесило, ибо Костомаров говорил правду — Шувалов действительно получил лист по почте, что вызвало особенное негодовапие графа.

Горянский вернулся к столу, не глядя на Костомарова, будто его уже нет здесь, он уже в крепости.

— Можете идти, господин Костомаров, сейчас вас переведут куда следует. — Не садясь, он уперся прямыми пальцами в стол, всей своей позой показывая, что разговор окончен.

Выражение лица Костомарова не изменилось, оставалось сумрачно-задумчивым.

— Во мне, как и во всяком живом человеке, пе может молчать чувство самосохранения,— не спеша, сосредоточенно заговорил он. — Считаю, одпако же, долгом уверить вас в том, что я всегда почитал и почитаю общественное мнение. Я охотно перенесу даже жестокую месть с вашей стороны, по не решусь опозорить шпионством честное свое имя. И если я даже погибну под тяжестью употребляемых против меня насилий, то это не может иметь никаких последствий для других, потому что мною будут приняты против этого известные меры.

«Он позирует, будто я с пим из одпой партии, будто

сегодня же я поеду к Михайлову и скажу ему, как геройски держится его вскормленник».

— Считаю своим долгом заверить вас, господин Костомаров, что я тоже всегда почитал и почитаю общественное мнение. Только общества у нас — разные. Идите, господин Костомаров!

Тот поднялся, едва заметно кивнул и пошел к двери неуверенным шагом, у него затекли ноги после сидения. У порога он остановился.

— Из крепости мне будет дозволено написать письмо?

— Нет, писать из крепости запрещено.

— В таком случае, позвольте мне написать отсюда?

Горянский подумал, прикинул, сделал вид, что колеблется.

— Пишите.

— Надеюсь, частные письма у вас не вскрываются? — Тут Костомаров впервые глянул в глаза Горянскому, и Горянский убедился: Путилин прав, таких жалких, наполненных страхом глаз Горянский давно не видел. А словеса его хоробрые — попросту занавеска. — Если мне станет известно, что вы используете сведения из моего частного письма,— продолжал Костомаров твердо,— предупреждаю, я подвергну огласке ваши незаконные действия.

Снова перед Горянским зеленое сукно и желтый шар возле самой лузы...

— Идите, Костомаров, идите! — жестко велел Горянский и потер виски, он устал от вязкой игры Костомарова, от его домоганий черт знает чего. И добавил желчно: — Иначе не успеете составить своего письма.

Войдя в арестантский нумер, отведенный ему тут же, в Третьем отделении, Костомаров прошел к столу и сел, держа спину прямо, стараясь не опускать головы. Он досадовал на свою походку там, в кабинете Горянского, ког-

да шел от кресла до двери. Ноги его не слушались, будто проскакал он охлюпкой верст двадцать. Не ожидал он от ног такого подвоха. В остальном же позора он не допустил, не унизил себя. Ничьей чести, и своей прежде всего, не посрамил. И нет в том ничего необычного, он всегда был тверд, мужествен и таковым останется.

На столе потрепанные журналы, газета «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции» и снаряжение для поэта — стопка бумаги, чернильница с песочницей и гусиное перо.

В крепости этих благ не будет.

Перо заточено, он взял его, коснулся чернил, ощущая пальцами, как оно вобрало черную влагу, почиркал по бумаге, машинально вывел: «Возлюби ближнего». Затылком ощутил шевеление за дверью, обернулся,— усатая рожа за стеклом смотрела на него, как на рыбку в аквариуме.

За что он здесь? Это же не сон, а явь!

Сменил седло и саблю на перо и бумагу. Едва успел сменить, как очутился в Третьем отделении. Как отбиться?

Слово тоже оружие, и он им владеет весьма недурственно.

От каких нападок мне защищаться? Чем они располагают? У них есть донос Николки, где я назван главой партии ниспровергателей. И два воззвания: «К барским крестьянам» и «К солдатам». Они не знают, кем составлены эти рукописи, и взваливают вину на того, у кого они обнаружены, то есть на меня. Они знают про типографию и литографию. Им известно то, известно другое. Но Горянскому требуется как раз неизвестное. «К крестьянам» и «К солдатам» написаны (я не знаю кем, господа, они попали ко мне случайно), но не отпечатаны. Свет их не видел и теперь уже не увидит: Третье отделение умеет хранить тайны.

Но мир увидел другое воззвание — «К молодому поколению», оно-то и взбаламутило всех. Составителей и распространителей его ищет-рыщет господин Горянский.

Весьма любопытно, сколько они дали Николке?

Николка не знает, а значит, и они не знают, что я видел этот лист у Михайлова. Он предлагал мне сто экземпляров для Москвы, но я взять отказался. Третьему отделению известно подсудное и неведомо неподсудное — моя твердость против топора и пролития крови. Тем не менее мне уже уготована крепость.

За что?..

Опять за дверью послышалось шевеление. Костомаров поднялся и пошел к двери, сделав презрительную гримасу. Усатый солдат моргал и смотрел на него сквозь стекло, как на тварь бессловесную. Костомаров сплюнул под ноги и вернулся к столу. Ты здесь жалкий раб! А у раба есть одно-единственное оружие, сказал Конрад Валленрод...

Однако же я не в крепости — пока не в крепости — и волен защитить себя.

Возлюби ближнего, сказано, как самого себя. Значит, прежде все-таки самого себя. Для образца.

Из-за одного лишь сходства почерка арестовывать Михайлова не станут.

За почерк не станут, но могут арестовать за лист, и мой долг — предупредить.

Как? Писать Михайлову нельзя, всякий намек будет сразу разгадан, и выйдет глупость. Ни Михайлову нельзя, ни Шелгунову, ни Чернышевскому тем более. Написать надо кому-то совсем непричастному. И лучше не в Петербург, а в Москву. Кому же? Брату Николке? Отдал ли он, каналья, деньги матери?

Написать, допустим... Плещееву. Он поймет все без лишних слов, приедет в Петербург, найдет способ предупредить, не мне учить прошедшего чистилище грешника.

Костомаров положил перед собой чистый лист. «Дорогой Алексей Николаевич! Судьбе угодно было прервать мои поэтические занятия...»

Но вряд ли Плещеев поедет в Петербург, коли за ним полицейский надзор. Да еще к Михайлову. Глупо. Надо писать кому-то постороннему и благонадежному. К примеру... преподавателю кадетского корпуса прапорщику Ростовцеву. Он тоже слагает стихи и может явиться к Михайлову по делу чисто литературному. Адрес Михайлова пусть он узнает у Плещеева.

«Дорогой друг Яков Алексеевич! Как вы поживаете? Успешно ли продвигаются ваши переводы из Шиллера? Пожелаю вам вдохновения и проч. А что касается меня, то судьбе было угодно прервать...»

Звякнул, как монета в пустую копилку, вставленный в замок ключ, заелозил, дверь отворилась и вошел... уланский корнет в фуражке с желтым околышем, сам Всеволод Костомаров.

— Велено напомнить,— гнусаво заговорил двойник,— по составлении письма вас велено препроводить...

— Я еще не составил письма! — вскричал Костомаров тонким голосом. — Кто вы такой?! Как вы здесь оказались, корнет?

— Согласно приказу. Велено напомнить,— повторил он гугниво и повернулся к двери.

Костомаров шагнул за ним следом.

— Послушайте, мне обещан прием у графа Шувалова. Извольте доложить.

Улан молча исчез, снова, как в копилке, позвякало, и Костомаров вернулся к столу. Взялся за перо, прислушался — тишина...

Уже являешься сам себе, дабы чувствительнее напомнить об участи. Ты здесь раб, жалкий раб, и Конрад Валленрод прав: у рабов есть одно лишь оружье...

Стонала Литва от нашествия тевтонов, не было у нее

сил бороться с врагом, и тогда литвин по имени Альф принял имя Конрада Валленрода и пошел служить к тевтонам. Со временем он стал главой у них, магистром, и привел орден к поражению в войне с литвинами. Потом имя Конрада Валленрода стало заметаться ветром истории и могло совсем исчезнуть из памяти за три с лишним столетия, если бы не Адам Мицкевич. Высланный из Литвы поэт приехал в Петербург, был здесь принят с уважением и вниманием. Баратынский перед ним преклонялся, высоко ценили поэтический дар изгнанника Пушкин, Жуковский, Вяземский. Юная Каролина Яниш полюбила его и стала его невестой. В салоне Зинаиды Волконской Мицкевич засиял звездой первой величины, все слои русского общества благоволили к поэту, превознося его, восхваляя. Но не молчали и польские его сотоварищи, разбросанные по глухим местам России, они слали Мицкевичу свои жалящие упреки. И тогда он написал «Конрада Валленрода», предпослав поэме эпиграф из Макиавелли: «Ибо должны вы знать, что есть два рода борьбы... Надо поэтому быть лисицей и львом». Поэму он издал на польском и уехал из России в Париж, так и не женившись здесь. А невеста его, выйдя за другого, стала Каролиной Павловой и пишет стихи: «Пусть гибнут наши имена — да возвеличится Россия».

Михайлов о Мицкевиче был лучшего мнения и «Конрада» считал поэмой о любви, неразумной, как всякая любовь. Костомаров спорил, называя «Конрада» поэмой о предательстве, разумном, как всякое предательство, долгом и терпеливом.

Конрад тайно появился в стане тевтонов и добился доверия. Он их лишил могущества и чести, «сам сатана не сыщет выше мести». У него не было иного способа бороться с всесильным орденом. Лишь свободные рыцари могут сражаться открыто. «Ты же раб, у раба есть одно лишь оружье — измена!»

Я не хочу крепости, не желаю солдатчины, как было с Плещеевым. Годами лямку тянул в Ак-Мечети, где по улочкам бродят туземцы в струпьях проказы, а в желтой реке — усатые сомы с человека.

«Ты входи к ним в доверье, а дальше что делать, увидишь».

Воображение поэта летуче, крылато, оно способно оправдать любое действие. Я не хочу крепости! Я, Всеволод Костомаров, противник закостенелых нравов, обличитель самодержавия и холопства, поборник Французской революции, которая дала личности только одну действительную, одну подлинную свободу — свободу эгоистического самоутверждения,— не желаю гореть на чужом костре!

Он взял перо, как некогда взял меч Конрад Валленрод. «Ты входи к ним в доверье...» С детства он читал стихи и писал стихи, и поэзия питала его душу, поэзия русская и французская, греческая и немецкая, стихи заражали его стихией борьбы и гордостью одиночки. «Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда влечет тебя твой гордый ум». Письмо должно быть кратким и носить следы спешки.

«Дорогой друг Я. Алекс. Дело мое гораздо хуже, чем я предполагал...»

Но можно рукопись продать. Я заставлю вас платить, господа, я лизну вашу казну, милостивые государи!

«Брат не только донес на меня, но и захватил кое-какие бумаги, которые я не успел уничтожить...»

Михайлов тверд в разрушении, а я — нет. Ему некого щадить, ни отца у него, ни матери, ни детей. А на мне сколько?

Все, что ни делает Михайлов против царя, ему выгодно, поскольку он известен России и теперь станет еще известнее. Все, что делаю я против власти, идет в ущерб мне, ибо я безвестен. И не у кого спрашивать позволения, как мне быть дальше, благоденствовать или влачить судь-

бу, жить или умереть,— некого спрашивать да и незачем. Я как шекспиров Глостер, бросаю бремя горестей без спросу. Я не хочу брести в рекрутах ни в тех, ни в сих. «Никому отчета не давать, лишь себе служить и угождать». Я чист перед собой, бросаю бремя горестей с размаху, а вы ковыряйтесь в них, рабы престижа и честолюбия, тираны сверху и тираны снизу, суетная толпа — тень народа.

Он дописал еще несколько самых важных строк, не перечитывая, сложил в пакет, зажег свечу и расплавил лиловый сургуч. Затем сильно постучал кулаком в дверь, появилось испуганное лицо солдата за стеклом; он сделал ему знак открыть. Солдат исчез, минуты через две зазвякал ключ, дверь отошла, Костомаров увидел желтый околыш и утробно рассмеялся — никакого двойника не было, рядовой улан перед ним, безусый юнец с насморком, приставленный дежурить к Третьему отделению.

— Отнеси-ка, служивый, на городскую почту,— велел ему Костомаров, подавая запечатанный пакет. — За мной двугривенный — на том свете.

Прикрыл дверь, загасил свечу и лег спать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Солнце печет голову, в ушах звон, плывут видения, а солнце все ближе и жжет, он видит себя красным, как кизяк в костре, и слышит остатки своего голоса, сиплый звук:

— Су-у беринизши... пить...

Ему отвечают тревожно и ласково, лицу стало прохладнее, звон в ушах тише, солнце отошло и не слепит больше. Теперь видна зеленая степь и желтая дорога, слышен поскрип колес, деревянный тук-перетук на редких камнях. Хвосты коней перед глазами и спина казака с пухом пыли на черном сукне.

Серые псы возле бурой юрты и желтый верблюд, горбы его набекрень. Казак плетью отогнал псов, из юрты вышла женщина в синем камзоле из бархата, белый плат покрывает голову ее и плечи, оставляя овал с темным ликом.

Мерцают деревянные решетки юрты, кумыс в деревянной чашке. И морщины на лице женщины деревянные. Ее имя Алтынай-Золотой месяц.

— Кто твой отец? — спрашивает она.

Его отец умер, а был он... сначала рабом, простым жатаком, по-русски крепостным, потом стал знатным человеком, можно сказать, баем.

— Значит, твой отец русский? А кто отец твоей матери?

Глаза ее выжидательны и спокойны.

Отец его матери военный человек, генерал.

— Тоже русский? — В голосе ее сомнение, голову она склонила чуть набок.

Русские называют его киргизским князем, может быть, она слышала, фамилия его Ураков.

Она чуть не выронила пиалу, ущипнула себя за щеку, в глазах удивление и радость.

— Ты из нашего племени, мой джигит. Мы потомки Урак-батыра.

...Костер горит, но в глазах его темень, весь огонь внутри его, в животе, в груди, и пальцы его шевелятся, как острия пламени. Но мрак вокруг не рассеивается. Где очки его?

— Кёз-айнек... Бериниз маган...

Из мрака ему отвечает голос Людмилы Петровны. Он ловит звук, вслушивается, но в ушах звон, все сливается, жар и мрак, и снова степь, юрта, слабый засветился костер и голос, живой и звучный голос Алтынай-Золотой месяц:

— Раз в двенадцать дней он садился есть, раз в три-

надцать дней он ложился спать. От могучего клича Урак-батыра сотрясались небеса, летом проливался дождь, а зимой начинался буран. Его булгарский лук не могли согнуть пятеро джигитов, его бухарская стрела пронизывала коня от груди до хвоста. Кованый меч батыра украшали имена зарубленных им врагов. Боги наказали ему не расставаться с мечом, и тогда он будет бессмертным. Однажды Урак-батыр вышел из юрты полюбоваться на молодой месяц. Он забыл про наказ богов, оставил свой меч в юрте. Тучей налетели калмыки и увезли его в плен. Там окружили стражей и стали подсылать ему девушек одну красивее другой, чтобы иметь в своем племени такого же как он, батыра. Но Урак устоял перед чарами красавиц.

Много жен было у батыра Урака, но любил он единственную — одноглазую, однорукую, одноногую и паршивую. Зато родила она ему богатырского сына Казыя. Был у него и приемный брат по имени Матрешка, от русской пленницы. Он всегда сопровождал в походах Урак-батыра и служил его гонцом — ярыгой.

Бессмертным рожден был Урак-батыр и дожил бы до сего дня, но прогневал богов, и они приговорили его к смерти от его же меча, но не сразу, а при случае. Исполнить волю богов должен был человек — не враг и не друг, а третий. По-прежнему сокрушал Урак противника своим мечом, а стрелы врага осыпались с него, как овечий помет. Но вот появился третий — предатель, сородич Урак-батыра, коварный Исмаил. Ему стала известна тайна бессмертия Урака. Черной ночью, когда батыр спал, прокрался Исмаил в его юрту, привязал его меч поперек двери и поднял тревогу. Вскочил сонный батыр, бросился на крик о помощи и упал бездыханным под своим же мечом, украшенным именами врагов — они отомстили ему через предателя.

Полный год совершал народ обрядовый плач — жоктау, полный год по три раза в день — на восходе солнца,

в полуденной высоте его и на закате. А жестокий Исмаил учинил расправу над детьми Урака. Сын его Казый, обездоленный, ушел казачить в степи за Идиль, по-русски Волга, и стал потом предводителем Ногайской орды...

Затухает костер, Алтынай-Золотой месяц заливает остатки углей водой из кувшина...

Лицо его обдает паром, он весь в поту, мокрая подушка под головой и под лопатками влажно. А женщина берет его на руки, и он до того беспомощен, что ему не стыдно, он не видит ее лица, ничего не видит, но явственно ощущает ее руки, они приподнимают его с постели, и опять он слышит голос, но не Алтынай, а Людмилы Петровны, и запах... не дыма, не костра, не степи, а запах городской квартиры. Он открывает глаза, видит слитный оранжевый свет, все размыто.

— Кёз-айнек...

— Я не понимаю вас, Мих, дорогой, о чем вы говорите?

Боже мой, как он устал от бреда, видений и голосов, спаси и помилуй мя...

Снова ему слышится страдальческий голос Людмилы Петровны.

— Очки...— сказал он на всякий случай, едва различил смутное движение возле лица, холодная оправа коснулась его висков, и он увидел лицо Людмилы Петровны, простоволосое, заплаканное, и шею в розовом пеньюаре.

Он прикоснулся шершавой щекой к ее руке и закрыл глаза. «Господи, господи, как я счастлив». Еле выговорил:

— Вы... Где мы?

— В Лисино, Мих, в Лисино.

— Где?.. А-а...

— Я вам все потом расскажу, Мих, родной мой, только вы...

— Я не ум-ру,— потверже выговорил он.

— Я так устала, измучилась... — Теплая слеза капну-

ла ему па щеку, одно стекло расплылось. — Скажите хоть что-нибудь!

— Я вас люблю... Я буду жить вечно... пока боги не откроют тайну... Не оставляйте меня.

— Нет-нет, Мих, я так рада, что вы очнулись. — Она вытерла ему лицо мягко, осторожно.

— Не верится... Потрогайте меня, Людмила Петровна.

Опа стояла на коленях у его изголовья, положила ему руку на лоб.

— Позвольте мне... уснуть?

— Спите, Мих, спите, я не оставлю вас.

Он ощущал свой запах — горького дыма, конского пота, степной полыни и пыли дорог.

— Ураковский перекат на Волге... есть,— бормотал он, засыпая. — Слышали?

— Слышала, Мих, слышала.

«Боже мой, боже, как я счастлив».

Он проснулся к вечеру другого дня. Сухое белье, прохладная постель с запахом чистоты, стирки. Беспокойно подумал: «Кто меня переодевал?» Рядом на столике чай в стакане, порошки в пакетиках, флаконы с султанами рецептов, голубых и желтых. В приоткрытую дверь проникал дух куриного бульона. Попробовал подняться, боясь рассыпать себя, и лег — слишком слаб, не стоит рисковать. Но голова уже слушалась, он все вспомнил.

Долгой была его экспедиция, очень долгой: весна — лето — осень — зима — снова весна и начало лета. Больше года! Но время — лишь внешняя сторопа, а по существу... Он поехал на родину, чтобы там родиться заново, а почему и отчего — пе охватить, не осознать всего сразу.

Он побывал в Оренбурге и в Уфе, объехал всю губернию, прошел вдоль берегов Белой, Уфы и Дёмы, спустился к югу вдоль Урала, пожил в Уральске, добрался до Гурьева. Проехать до Ак-Мечети, что на Сыр-Дарье, уже пе хватило ни сил, ни тем более денег. И столько повидал,

столько услышал, столько передумал... В Оренбурге он сошелся с Плещеевым, отбывающим ссылку. Совсем недавно солдатом линейного батальона поэту пришлось выбивать кокандцев из крепости Ак-Мечеть. Плещеев получил унтер-офицера за участие в штурме. А Перовский, оренбургский генерал-губернатор, удостоен был Николаем I такой чести, какой не удостаивали ни одного из прославленных полководцев, ни Румянцева, ни Суворова, ни Кутузова,— Ак-Мечеть переименована теперь в форт Перовский.

Плещеев переписывался с собратьями-петрашевцами, и в те дни с большой теплотой он написал о Михайлове Достоевскому в Семипалатинск, называя его натурой весьма симпатической, доброй, готовой на услугу. «Он участвует во всех журналах, знаком со всеми и просил, чтоб я дал ему все, что у меня есть,— ручаясь, что напечатано будет и деньги вышлют».

Михайлов с детства говорил немного по-татарски, как и все коренные жители Оренбургской губернии, в поездке легко освоил туземные языки и мог толково объясниться с любым встречным, будь то башкир, черемис, мещеряк или казах.

Обратно он вез с собой тяжелые чемоданы, набитые, как свинцом, рукописями, в них казахские и башкирские сказки, народные предания, легенды, песни, описание обычаев и верований, рыбной ловли, багренья на Урале осетра — царского куса, которого по традиции живым везли в Зимний дворец, обернув саженную рыбину рогожами.

В Петербурге он узнал, что Полонский уехал за границу все с тем же семейством Смирновой-Россет, а Шелгуновы — в Шлиссельбургском уезде, в Лисино, где Николай Васильевич ведет занятия в лесничестве с молодыми кондукторами.

И вот он явился в Лисино. Обтянутые сухие скулы, отросшая борода и горячечный блеск в глазах, умножен-

ный стеклами очков, кожа на ушах шелушится, и весь он, как обросшая обезьяна в приемной у человека.

Он еще успел съездить в Питер для добытия презренного металла, ничего не добыл, поехал в Москву, в «Русский вестник». Катков встретил его радушно и начал уговаривать сотрудничать в редакции, обещая изрядное жалованье и хорошую квартиру со столом. В Петербурге никто не даст ему такого жалованья, и ни в одном журнале он не найдет таких интересных сотрудников, как в «Русском вестнике»,— обещаны и Тургенев, и Толстой, и Островский, а с «Современником» все хорошие литераторы нынче в ссоре. Михайлову журнал нравился и к Каткову он относился с почтением, но... не лежала душа к Москве, пусть ему хоть златые горы сулят, и он вернулся к друзьям.

В Лисино он ехал уже больным, а заболел еще в степи, но держался из последних сил, а как только добрался сюда, увидел Людмилу Петровну и... свалился. Так бывает — обижают маленького, когда он один, либо злые люди, либо шаловливые собаки, малыш надует губы, сведет брови и все терпит, ни звука, ни слезинки, но стоит появиться матери, как он сразу в плач и рев. Так оно вышло и с Михайловым...

Все вспомнил, одного только не мог представить: сколько же он пролежал здесь?

Послышался шорох платья, он повернул голову и увидел озабоченное лицо Людмилы Петровны, внимательное и слегка встревоженное — все дни болезни его она входила сюда вот так, не зная, чего ждать.

— Добрый день, Мих, как вы спали?

Он не мог ответить, лицо его расплылось, стало глупым, он как будто увидел себя со стороны — покоится на подушке физиономия степного идола.

Освоился наконец и спросил сумрачно:

— Кто меня переодевал?

— Доктор Матвеев. Ну и я, конечно. Sans façon, Мих, sans façon. (Без церемоний.) — Она положила руку ему на лоб, разгладила брови, сбила очки и осторожно поправила.— Доктор Матвеев каждый день у нас, прописал вам порошки и микстуры и велел приготовить легкий куриный бульон. Будем есть? — Она присела к нему на постель, в руках у нее книга, тяжеленький и опрятный томик.— А это вам Курочкин передал, старший, Николай Степанович, он ведь доктор и приезжал к нам сюда из Петербурга.

— Не хочу я книг, Людмила Петровна,— глухо сказал Михайлов.— Отрядом книг уставил полку, читал, читал и все без толку. Все в них ложь, Людмила Петровна, простите меня! — продолжал он голосом, сдавленным от обиды.— Я стал другим и еще не привык к себе. Я не человек, а процесс. Не точка, а запятая... Мне надобно привыкнуть к себе новому.

Она послушно убрала томик и сказала:

— Будем вместе привыкать, Мих...

Он выздоравливал медленно и говорил об одном и том же: на родину он съездил, чтобы родиться заново. Тамошняя жизнь изо дня в день смотрела на изменника-петербуржца глазами укоризны. Ничегошеньки они не знают и не узнают, жительствуя в столице, отгороженные от российского мрака книжными страстями салонов, бесед и споров. В сравнении со степью жизнь в Петербурге условная, искусственная и непростительная, поскольку в разлад с народом. А там нищета, продают детей, осенью умирают от одного тифа, зимой от другого, а летом от черной оспы и сибирской язвы, которая особенно свирепствовала во время его поездки. Зимним вечером остановилась его рогожная повозка возле стога в степи, лошади храпят, пятятся, возница разгреб снег, поднял охапку сена, а там два трупа. И вдоль дороги попадались умершие от истощения и голода — и люди и скотина. В губернском горо-

де взятки, корыстолюбие, гнет и невежество. А в степи волостные управители из местных бесчинствуют от имени белого царя. Формально они выборные, но все дело решается не голосами людей, а головами лошадей и баранов. Сколько голов угонишь уездному, столько голосов и получишь в свою поддержку. А в уезде сидят русские чиновники, отсюда и нелюбовь к русским, алчным и несправедливым. Русское правительство защищает ханов и родоначальников, предоставляя им полную власть над соплеменниками, а они творят произвол, забирают все земли и пастбища себе и своим холуям, растят у народа ненависть и тем приносят России вред, как наихудшие ее враги, получая в то же время жалованье от правительства...

Людмила Петровна покорно убрала все книги из комнаты, и он все время, которое прежде отдавал чтению, теперь посвящал беседе с нею. Говорил до изнеможения, и порой Людмиле Петровне казалось, что воспоминания о степи, его прикованность к ней тормозят выздоровление.

— Германцев мы называем немцами, украинцев — малороссами, а русских — то москалями, то кацапами. Знаем, что в степи за Уралом живут киргизы, а они на самом деле казахи. Даль еще в тридцатых годах писал, что киргизы сами себя зовут «казак». Народ милосердный, добрый и сострадательный. А когда эти черты издревле, они неизбежно отражаются в языке. Есть у них удивительное слово «айналайн», обращение к женщине или к ребенку. Его невозможно перевести, так глубоки в нем нежность и участливость. Очень приблизительно — «кружу вокруг тебя», витаю ангелом твоим хранителем, способным защитить от других, но и самому не обидеть. Наше «обнимаю» варварски грубо и притязательно по сравнению с «айналайн», и даже «люблю» — пустая абстракция. «Я кружу вокруг тебя, обожаю тебя и защищаю, но не касаюсь, ты свободна распорядиться мной,

принять мою заботу или отвергнуть» — вот как можно в наших скудных понятиях перевести одно только слово «айналайн». И после этого, какие бы эпизоды о дикости и невежестве туземцев я ни услышу, ни вычитаю, я всему буду искать оправдание! Слово, язык живописуют душу народа.

Она слушала его с улыбкой, она запомнила «айналайн», он называл ее так в бреду.

— Испокон века казахи сострадательны к сиротам, к вдовам и обездоленным. Никогда казах не покинет одинокого в степи, возьмет с собой, накормит и даст пристанище, хотя это человек для него чужой. Они не бьют детей и даже собак не бьют. Но жизнь жестока! Продавали девочку у дороги...— Голос его осип, быстро набежали слезы, и он закрыл глаза. Болезнь расслабила его, чуть что — сразу слезы.— Вот к такому народу я принадлежу отчасти.

— Des parents ont ne choisent pas,— сказала Людмила Петровна («Родителей не выбирают»).

Он вернулся из Азии и повторял туземные слова и фразы, а она вернулась из Франции.

— Я вспоминал там стихи Огарева: «Я просто скиф: потомок дальний златой орды — скуластых рож я образ сохранил печальный, ленивый нрав и дикий вкус, взяв от славян лишь рыжий ус». А я даже рыжего уса не взял... Они очень любят поэзию, каждый второй казах сочиняет стихи, вернее, песню, а песня, я убежден, самый твердый исторический памятник, хотя он и не виден глазу. Поют они под домбру, вроде нашей балалайки, со струнами из бараньих кишок. Поэзия рождается от страданий. Чингисхан разорил их земли и сжег города, и теперь у народа нет своих городов, представляете?

— Il a fait son temps,— сказала Людмила Петровна («Его время прошло»), намереваясь увести больного на другую тему, но не тут-то было.

— Нет, Людмила Петровна, нет! — горячо возразил Михайлов.— Его время еще не настало.

Земля древняя, а нация молодая, сложилась, а вернее, отобралась из разных племен. Названия племен и родов у них разные, но почему же нет у них такого племени, такого рода, которые стали бы основой нации? А потому что «казах» — не имя, а понятие, это рыцарь свободы, вольная душа, ушлец, как толкует Даль, то есть человек, ушедший из тесноты жизни на простор, в вольницу, ушедший с чувством превосходства над привязанными к селениям и наделам рабами неподвижности. И составился народ, отборный по одному признаку — стремлению к простору, к воле.

Казах — это идея, образ, ставший именем нации. Не случайно казаками называли себя отборные из разных наций люди в Запорожской сечи, в вольнице.

Но потом появились казачьи сотни в российских городах — выворотень понятия. Нет большего издевательства над словом «казах», чем назвать им орду ландскнехтов, эскорт перед эшафотом.

Казахи не вероломны, в них нет коварства, а это значит, они склонны к дружбе и надежны в дружбе, что ведет к соединению, к братанию с соседями и миру с другими,— и во всем этом видны задатки большой нации, у которой к тому же велик запас простора географического — от Каспия до Алтая, от Урала и до Тянь-Шаня.

Мы не удивляемся тому, что народы на земле разные. Но, если подумать, разве не удивительно, что все мы издревле одинаковы? Неуязвимы Урак у казахов и Ахилл у греков, но неуязвимы не абсолютно, а при условии — у одного пята, у другого его же меч. Калмыцкие красавицы соблазняли Урака, как сирены соблазняли Одиссея. Но еще ближе Урак-батыр к Зигфриду из «Нибелунгов», тот ведь тоже погиб от собственного меча... Как будто земля была маленькой, и все на ней жили одним стано-

вищем, а потом земля стала расти, и народы разошлись, как веер, в котором каждое крылышко соседствует с другим, и все — от одного корня. Мы одна семья во вселенной.

Для казаха все живое прекрасно, всякая тварь. Глаза возлюбленной он сравнивает с глазами верблюжонка, ребенка — с ягненком, тогда как для европейца все это дико, он отчужден цивилизацией от природы, у него другая эстетика.

Он вернулся из Азии, а она из Европы.

— Зато европейцы деловитее нас, Мих, они прочнее живут, увереннее,— говорила Людмила Петровна.— Немец делает все хорошо, потому что рассчитывает прожить сто лет, русский же думает, что помрет завтра, и делает все тяп-ляп.

— А почему? Да потому что не сегодня завтра набегут баскаки. А не то свой барин засечет плетьми или в острог засадит.

— Немцы любят анекдот о нашем характере. У русских пчела — с воробья, но пролезает в леток с мышиный глаз. Почему у нее так получается? Потому что пчела — русская, она er muss («обязана»).

— Не хватит ли про Ер-манию, Людмила Петровна?

Он был на родине, а она на чужбине, и чужбина для него сейчас, как дождь за стеклом,— не касается, не трогает его.

— Хватит, Мих, хватит, я не люблю немцев.

— Я и об этом думаю, Людмила Петровна. Это ведь пошло, несправедливо, это просто удивительно — не любить нацию, которая так много способствовала нашему просвещению! Новая немецкая философия преподавалась в лицее, где учился Пушкин, читалась в русских университетах. Книги Канта и Гегеля штудировались в дворянских усадьбах в российской провинции. Чаадаев переписывался с Шеллингом. Тютчев и братья Киреевские

встречались с Гегелем. «Поэзия осталась чужда влиянию французскому; — писал Пушкин, — она более и более дружится с поэзией германскою».

— Вы поэт, Мих, и склонны к идеализации.

— Если бы я не был поэтом, то стал бы им после степи.

У кузнеца Сенгербая из рода адай родился сын. По каким-то признакам отец понял, что сын его будет джирау, певцом-сказителем. Что за радость, спрашивается, бедняку в этом? Но Сенгербай сел на своего единственного коня и поскакал по аулам, созывая на праздник, крича во все горло, что сын его будет джирау. Не баем Инсингельды Янмурзиным, у которого двенадцать тысяч лошадей, не завоевателем Тимурленом и не владыкой мира Искандером (Александром Македонским), а всего лишь сказителем, песнопевцем. Собрались сородичи кузнеца, принесли кумыса и мяса, и три дня и три ночи у Сенгербая был той — праздник. А праздник у них не болтовство за столом и не крестный ход под хоругвями, празднуют они, как сыны Эллады, — состязаются в скачках на коне, в стрельбе из лука, в борьбе силачей. Вершина тоя — айтыс, состязание в песне, в импровизации, в остроумии и находчивости. И лучшие песни айтыса тут же разучиваются молодежью и разносятся по степи. В айтысе, впрочем как и в скачках, принимают участие женщины. Рассказывают, как молодая и красивая поэтесса одного за другим побеждала мужчин-соперников на айтысах. Но однажды она оказалась поверженной, батыр песни из далекого края оказался остроумнее, находчивее и получил девятку, приз в девять голов скота — верблюд, лошади, овцы. Уязвленная красавица ночью пришла в юрту соперника. Уходя на рассвете, сказала лежавшему пластом батыру: «Ты меня победил в песне, я тебя победила в любви»... Они свободны, они все делают наравне с мужчиной, их к тому обязывает кочевой быт, их зовут

и на совет старейшин. Казахи не турки и не кокандцы, они не держат своих жен под чадрой и в гаремах.

На празднике у Сенгербая были знаменитый певец Нурум и певец Мурат из рода бериш. Они дали слово кузнецу, что, когда его сын подрастет, они будут брать его с собой по аулам и учить песне. С колыбели сына Сенгербая стали называть Мурун-джирау, определив таким образом его судьбу...

Михайлов выздоравливал медленно и тяготился своим положением. Едва хватало силы подойти к столу, нередко он оставался лежать, отказываясь от еды, и Людмила Петровна кормила его с ложечки. Приходил доктор Матвеев, утомлял его выслушиванием, выстукиванием и наигранным оптимизмом. Доктор считал, что у него сложная форма тифа, а Михайлов полагал, что тиф — пустяки, у него нечто посложнее тифа, болезнь духа, и если бы не Людмила Петровна...

Шелгунов в Лисино не появлялся, он уехал по губерниям с генерал-адъютантом Муравьевым, недавно назначенным министром государственных имуществ. Присылал письма то из Новгорода, то из Тамбова, из Пензы. «В свите Муравьева чиновные машины, эполеты и звания на ходулях. Тоска... Отчего это мне хорошо только с вами? Нет, не с одними вами, и с Михайловым...» Сначала он спрашивал, не приехал ли и когда приедет Михайлов, а потом написал Людмиле Петровне: «Радуюсь за вас,— вы не должны теперь скучать...»

А Михайлов томился, нетерпеливо ждал возвращения друга, он боялся наскучить Людмиле Петровне, она измучилась с ним. А выздоровление, бодрость не приходили, и в рассказ его все чаще вплеталась горечь.

...Старик продавал девочку у дороги вдоль казачьей линии. Двух сыновей он продал по двадцати рублей за голову, осталась дочь, кормить ее нечем, просил за нее пятнадцать...

Плещеев рассказывал, что аулы вымирают от черной оспы, по Ак-Мечети бродят прокаженные, и есть селения в степи с жителями поголовно от трахомы полуслепыми...

Кузнец Сенгербай, не злой человек, два года назад ковал пики против русских солдат.

Генерал Перовский выбивал кокандцев из казахской крепости Ак-Мечеть и просил аулы пригнать ему караваны с верблюдами и продовольствием. Не пришли караваны. Кокандцы — враги казахов, но единоверцы, а русские — гяуры, неверные. «Чем ближе к русским, тем дальше от бога».

...А девочка у дороги смотрит на проезжих с надеждой. Если ее купят, то порадуют тем отца, а у нее будет новая жизнь. Телега проезжает мимо, и глаза ее тоскливо темнеют. Она ничего не знает ни о рабстве, ни о свободе, в ней бесстрашие несведущего существа, и от этого надежда на лучшую жизнь, потому что хуже жить невозможно...

Мулла читает тысячи строк из корана, буквально тысячи строк наизусть — совершенно не понимая смысла арабских слов! Какая чудесная память и какое чудовищное ее применение!..

— Вы часто повторяли, Мих, во сне,— она не хотела говорить «в бреду»,— слово шет-пушпак.

— Шет-пушпак... Это клочок овчины. Оторвыш.

— Видно, для вас он имел какое-то особенное значение? — «Может быть, от него болезнь, какая-нибудь зараза?»

Он закрыл глаза:

— Просто бред...

«А есть ли у тебя копытце, мой джигит? — спросила его Алтынай-Золотой месяц и, видя, что он не понимает,— какое может быть копытце у человека? — пояснила: — Есть ли у тебя сын, твое копытце, на которое ты можешь опереться в жизни?» Нет у него копытца, никого у него

нет, ни жены, ни детей, ни отца, ни матери. «Туажат,— прошептала женщина.— Шет-пушпак. Сыннар-кезек». Она шептала, сострадая человеку и осуждая в нем мужчину: «Безродный. Оторвыш. Одинокий кизяк в долине».

— Просто бред...

Людмила Петровна видела его тоску и понимала, что душевное его смятение мешает выздоровлению, он все еще плохо ест и почти не встает с постели. Он охотно с ней говорил, но быстро уставал и от усталости раздражался, злился. Она знала, помогли бы книги, он любил их прежде, но сейчас отвергал упрямо.

Устав говорить, он просил ее рассказывать о себе, и она вспомнила Европу, пьянящую атмосферу Парижа, жаркие речи о республике, о женской свободе.

— Мне там отвратительны стали наши семейные доблести, домостроевские добродетели, противна стала варварская Россия. Я там бредила эшафотом!

— А что же Николай Васильевич?

— Ездил по лесным делам и писал мне письма.

— Он слишком многое вам позволяет,— сумрачно сказал Михайлов.

Людмила Петровна рассмеялась, а он обиделся, надулся, тогда она принесла письма Шелгунова и зачитала одно, из Ольденбурга: «Я хотел купить вам какую-нибудь безделушку, но ничего не нашел, такая дрянь магазины, что стыдно,— в Самаре гораздо лучше. А что же Михайлов, ведь и ему нужно, я так люблю его... тут пошли мечты дальше... Наконец приезд в Петербург, встреча с Михайловым, поцелуи,— и я заплакал. Право, так — просто среди улицы...»

Они похожи, Шелгунов и Михайлов, хотя воспитывались совсем по-разному, один в казарме (с четырех лет Шелгунов был зачислен в корпус), а другой дома, на вольной волюшке.

В чем-то похожи, а в чем-то и совсем нет.

Людмила Петровна хранила письма Николая Васильевича еще с той поры, когда он, окончив лесной институт, уехал в Самару и слал оттуда невесте свои соображения о семейных отношениях: «Жизнь супругов должна быть основана на товариществе, в котором равенство есть первое основание благоденствия». Характеризовал себя твердо: «Я властолюбив, горд и не люблю быть вторым там, где я могу быть первым». Уже тогда он проявлял благоразумие и резонабельность: «Я отдаю вам власть не по сознанию своего бессилия, а по великодушию». А местами не очень-то щадил свою невесту: «Я знал вас, когда вы были еще в пансионе, в вас была ветреность и кокетство с примесью женского тщеславия».

Скорее бы возвращался Николай Васильевич. С ним спокойнее, с ним надежнее, а так... и семья не семья, и дружба не дружба. Пребывание его в Лисино скоро станет двусмысленным, а уезжать по выздоровлении ему некуда, да и ох как не хочется!..

Полонский прислал письмо из Женевы, сообщал, что намерен учиться живописи у самого Калама, чтобы к святой прислать картину на выставку в Академии художеств, спрашивал, не вернулся ли из экспедиции Михайлов. Отвечала ему Людмила Петровна, а он сделал приписку: «В стихах тебе посланье шлю, о друг Полонский, издалека. Вот видишь — болен я жестоко, бульоны ем, микстуры пью и огорчен притом глубоко: сгубил я молодость свою среди пиров и буйных оргий и за безумные восторги страданья чашу ныне пью».

А Николай Васильевич все не возвращался.

Однажды она пришла к нему с книгой.

— Позвольте, я вам прочту только одну фразу?

Он поморщился, но кивнул, соглашаясь.

— «Ногайские дела в архиве за 1535—1538 годы содержат многочисленные упоминания об одном из главных героев ногайского эпоса Ураке — целый ряд грамот

самого Урака к Ивану IV и ответные грамоты Грозного».

— Ну-ка, ну-ка! — Михайлов привстал в постели.

— «Мы с братьею Кошмагамбет, да яз Урак на Волзе стоим, на сем свете Волзи нам не мочно оставити... Казанский царь нам извечный недруг, а твоя нам дружба горазсо сходится».

— Наверное, толмач писал,— радостно сказал он.— Неужели сам Урак знал по-русски?..

Теперь каждый вечер она зажигала свечи у его изголовья и садилась с книгой. Сам он читать не мог, ломило глазницы, и читала она, негромко и не спеша, то одну книгу, то другую, заранее подбирая что-нибудь интересное для него. И сама не замечала, как в выборе ее постепенно выстраивалась историческая картина, обоим прежде неведомая и во многом неожиданная.

Издавна государство российское создавалось, объединяясь с соседями. И теперь вот среди потомков ногайского богатыря Урака есть и русские и казахи.

Помнил ли его дед, генерал-лейтенант русской армии, крещеный «киргизский» князь Василий Егорович Ураков, о своем давнем предке? Или с принятием новой веры забыл старые корни и конфузился принадлежности к дикому племени? Теперь этого не узнаешь. В пределах одной семьи не узнаешь, а что можно узнать в пределах империи, которая вся из лоскутов наций и народностей? Разных — и одинаковых. Когда русские видят справедливого и доброго степняка, они говорят: хороший человек, совсем как русский. Когда казахи видят справедливого и доброго русского, они говорят: хороший человек, совсем как казах.

Герои казахской истории почти все из ногаев и даже из одной семьи — от Едигея, временщика Золотой орды. От Едигея был Нуреддин, от Нуреддина был Муса-хан, от Муса-хана и его пяти жен было девятнадцать сыновей. От первой жены был Юсуф (позднее — князья Юсупо-

вы), от второй жены был Альчагир-мурза, у него было два сына — Урак-мурза и Кошмагамбет («Мы с братьею Кошмагамбет на Волзе стоим»). Во времена Ивана Грозного многие мурзы, выбитые из ногаев междоусобицей, переходили на службу Москве, их потомки приняли крещение и «вполне усыновились Россиею соответственно происхождению в их благородном достоинстве». Они стали родоначальниками русских княжеских и дворянских фамилий — Юсуповых, Касимовых, Урусовых, Ураковых и многих других.

Имя Урака пропало из переписки с Иваном Грозным после 1548 года, но потом появилось вновь и звучит поныне в названиях мест на Волге — Ураковский перекат между Казанью и Чебоксарами, неподалеку деревня Ураково, а ниже по Волге, верстах в ста пятидесяти от Саратова, есть Ураковский караул, курган, под которым будто бы и погребен предательски убитый батыр.

Как и в предании, наверняка и в жизни была трагедия. После гибели Урака сына его Казыя изгнали, он ушел казачить в сторону Крыма, показал себя в схватках и стал родоначальником Младшей ногайской орды. Женился на черкесской княжне, а черкесские князья роднились с Москвой. Иван Грозный взял в жены вторым браком дочь кабардинского князя Темрюка Марию.

Не одно столетие складывались совокупные признаки российского народа, и первый из них и главный — объединительность. Сумма разностей. Единство и различение — хорошо бы без разлучения.

Отсюда и слагаемый характер России, переливчатый, неожиданный в своих проявлениях, многосоставный. Как будто всевышнему угодно было на просторах России создать некую копию мира и посмотреть, что будет...

И внимание к степи давнее неспроста. Державин написал поэму о царевне «киргиз-кайсацкия орды», Пушкин увез от казахов прекрасное сказанье о Козы-Корпеш

и Баян-слу, историю любви степных Ромео и Джульетты. Давно ходила по рукам в Петербурге повесть Василия Ушакова «Киргиз-кайсак» о блестящем светском офицере, который оказался сыном киргиз-кайсачки. Мать продала его в детстве, умирая от голода, богатому человеку. Даль дорожил книгой Алексея Левшина «Описание киргиз-кайсацких орд и степей» и сам писал рассказы из жизни казахов. Даже Фаддей Булгарин сочинял небылицы про жизнь своего героя Ивана Выжигина среди кайсаков.

Пращуры казахов — половцы и ногайцы — ходили на Русь, жгли селенья, грабили и уводили в плен — это правда. И помнить о ней следовало до поры до времени, пока мы жили врозь. Но теперь мы вместе. Перечень прошлых бед и обид не упрочит дружбы. Неспроста же пошли казахи на союз с Россией, могли ведь пойти на союз с Китаем или с английской Индией.

— Не от ненависти моего отца к моей матери я родился!

В теле его и в душе его угнетенные два народа. И потому он сейчас разбит, и тиф только малая толика в общем его недуге. Неведомо ему, к чему пристать сейчас, к чему привязать себя, две половинки сердца стучат вразнобой — шет-пушпак...

Стонет его земля от неизбывной беды. В Оренбурге переселенцы со всей России, в одном уезде живут выходцы из двадцати губерний. В служилом войске люди из Самары, из Уфы, из Челябы, бывшие московские стрельцы, бывшие смоленские, и новокрещены с ними — татары, башкиры, казахи, мордва, черемисы, тептяри, есть даже отдельное башкиро-мещерякское войско. Чуть что, малое какое-нибудь волнение, недовольство, начальство тут же натравливает друг на друга людей разных национальностей, и бьются они насмерть. Плещеев говорил, что оренбургский генерал-губернатор Перовский

имел чистые листы с подписью Николая I, мог вписать туда любое свое бесчинство и творить его от царского имени.

Хватит писать стихи, не нужны журналы, долой беллетристику! Он обрисует мерзости нашей азиатской политики в сборнике великого князя. И, возвратясь в Петербург, не будет словеса плести по салонам, а пойдет служить в Азиатском департаменте.

«С толпой безумною не стану я пляску дикую плясать,— перевел он в степи стихи Гейне как зарок для себя,— и золоченому болвану, поддавшись гнусному обману, не стану ладан воскурять».

Скорее бы приезжал Николай Васильевич, чтобы вместе решить, как им жить дальше. Михайлову без друзей нельзя, лучше бы ему умереть, чем остаться без внимания и заботы Людмилы Петровны.

«Кажется, берег недалеко,— писал Николай Васильевич,— и можно уже мечтать жить будущей зимой в Питере с приличным содержанием и иметь в месяц за расходами на квартиру еще сто рублей на хозяйство».

К приезду Николая Васильевича он был уже почти здоров, после завтрака не мог дождаться обеда и тихонько потаскивал пирожки из буфета. Застала его, жующего втихомолку, Людмила Петровна, рассмеялась:

— Раз в двенадцать дней он садился есть...

Шелгунов приехал довольный и обнадеженный — Муравьев выделил его из свиты своих «чиновных машин с эполетами» и назначил начальником отдела в Лесном департаменте. Николай Васильевич предложил Михайлову: «Будем жить вместе, а там что бог даст...»

Вместе, навсегда вместе, на всю жизнь. Будущий свой роман он так и назовет «Вместе».

Хотелось снова у судьбы просить и жизни, и борьбы, и помыслов, и дел высоких.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Две недели спустя после обыска, 14 сентября в пять утра пришли уже не двое, а два десятка чинов по душу Михайлова. Три офицера — полковники Житков, Щербацкий и еще молодой жандармский штаб-офицер, уголовный сыщик Путилин в черной цивильной паре, десять солдат жандармских и полицейских, некая баба для осмотра спальни Людмилы Петровны и еще четыре сыщика и два понятых.

Перерыли все в спальне его, в кабинете, уже не спрашивая чего-нибудь недозволенного, ворошили все подряд неистово и рьяно. Не оставили в покое Шелгуновых и Веню, забрали и у них все бумаги и, не читая, свалили в одну кучу для отправки. К полудню в кабинете Михайлова вырос на полу бруствер из картонных коробок, набитых рукописями и книгами. Забрали все его записи в экспедиции, башкирские и казахские предания, татарские песни и сказки, старую корректуру, рукопись новой повести, множество страниц со стихами старыми и новыми. А в них давний мотив расставания, подневольной разлуки: «Предо мной лежит степь печальная. Все мне слышится речь прощальная». Так писал он в юности. «Жутко мне было идти: много суровых я вытерпел гроз, больше их ждал впереди»,— писал он уже зрелым мужем. И, наконец, последние стихи: «Пусть будут гибель, страданья — беда, только б не эта глухая чреда».

Боги будто давно сообщили ему судьбу — в общем виде, он знал: «Мне грозит мой путь глухой злою встречей, битвой...» А теперь вот начались частности.

Солдаты стали выносить картонки с тяжелой бумагой, выпятив животы, будто тащат кирпич для стройки, а полковник Житков сказал:

— Принужден пригласить вас с собой, господин Михайлов.

Он подумал-подумал, скоро зима, надел пальто, взял шапку и стал прощаться. Нагнулся к Мише, взял его на руки, поцеловал и хотел опустить на пол, но мальчик вцепился в него и заплакал, учуял беду. Людмила Петровна отвернулась, стояла, как каменная, затем взяла сына на руки. Михайлов простился с ней, простился с горничной, внизу на лестнице простился с Шелгуновым и с Веней; оба крепко обняли его, сказали ободряющие слова, Веня даже улыбался лихо и слегка криво, пряча страх.

Он прощался спокойно, без всяких таких мыслей, предчувствий. Право же, он вернется скоро, а прощание — ради обычая.

На улице светило солнце, день был ясный и яркий, на углу возле гимназии собирался приодетый люд, глазели на карету, на жандармов с саблями.

Когда пошли к карете, вдруг зазвонили колокола и не только вблизи, на Никольском морском соборе, но, должно быть, по всему Петербургу, на Владимирской, на Исаакии. Михайлов невольно остановился — что это, в честь чего?

— Как же-с, праздник,— пояснил полковник Житков.— Воздвиженье.— Он показал лицом на крест Никольского собора и, сняв каску, перекрестился.

— Ах, да... — И Михайлов, заражаясь жестом полковника, тоже покивал кистью перед собой.

В карете на передней лавке уже стояли его чемодан с бельем, коробки с бумагами, вроссыпь лежали книги. Михайлов кое-как втиснулся, Житков сел рядом с ним, и карета тронулась. Михайлов дернулся к оконцу — но уже было поздно. Он забыл в последний раз глянуть на Людмилу Петровну. Она пошла с Мишуткой к окну и смотрела на него сверху. А его ошеломил колокольный звон, он не поднял головы, стоял и ворон ловил, крестясь заодно с полковником. «Значит, скоро вернусь».

А колокола продолжали звонить, и жандармская карета словно сама плыла сквозь тягучий звон, не слышен был стук колес и лошадиных копыт. Угораздило же их явиться в такой день — Воздвиженье Честнаго Креста! Царица Елена, мать императора Константина, нашла в этот день крест, на котором распяли Христа, и воздвигнула его на поклонение.

Что за срочная надобность заставила их явиться к нему в такой праздник, чей приказ?

«Воздвиженье кафтан сдвинет, шубу надвинет». На каждый праздник у Даля гирлянда пословиц и поговорок. Зайдешь к нему чаю попить, а он про самовар и не вспомнит, угощает словечками редкими, да все русскими, да исконными. «Отец мой выходец,— говорил Даль,— а сам я русский». Мать его немка, отец датчанин, и вся семья лютеране.

«В воздвиженье змея и гад прячется, а которая укусила человека, та остается на земле...» Не зря он вспомнил сейчас Даля, окольным путем пробежала мысль осветить сегодняшнее событие. Замирает к осени все живое, отлетают птицы, прячется всякая тварь, а которая укусила человека, остается,— чтобы укусить других. Не знает граф Шувалов народной приметы, а если бы и знал, так не вспомнил,— не для него она, не для них. А ведь каждый праздник, если ты христианин, чем-то знаменует и твою жизнь...

Ехали Вознесенским проспектом, потом по Большой Морской, пересекли Невский, вскоре он узнал Миллионную, особняк Штакеншнейдеров,— будет там о чем поговорить сегодня. Затем карета повернула к Летнему саду, к Фонтанке. Переехали Цепной мост, сейчас повернут к парадному Третьего отделения. Но за мостом карета покатила, кажется, в Пантелеймоновскую улицу и остановилась возле мрачного здания с двумя жандармами по сторонам ворот. Житков сказал Михайлову идти за ним.

Внутри здания их встретил белокурый, беззаботного вида офицер в мундире с красным воротником, смотритель каземата при Третьем отделении капитан Зарубин.

— Вот вам господин Михайлов! — громко, живо сказал Житков, будто забаву привез смотрителю.— Поместите их. А мне надо спешить. Мое почтение, господин Михайлов.— И он быстро застучал сапогами вниз по лестнице, задевая саблей ступени.

«Куда же ему спешить? За кем-то еще?..»

Смотритель повел Михайлова по ступенькам вверх. Довольно просторная комната, не похожая на тюремную, стены в обоях, два окна, вполне сносный диван. На столе стопка бумаги, чернильница и два гусиных пера. Обстановка приличного нумера среднеразрядной гостиницы, только вот за окнами, как бельмо на глазу, железные перекладины.

Черноусый ва́хтер в бакенбардах принес его чемодан с бельем. Что будет дальше? Пригласят к Шувалову для беседы, граф его вразумит. А потом?

За кем поехал Житков? Шелгунова оставили, про остальных им ничего, надо полагать, не известно, как не известно ничего и самому Михайлову — сделаем узелок на память. Чернышевского нет в столице, Некрасова тоже, в «Современнике» один Добролюбов, забирать его в Третье отделение вроде бы не за что.

Других не за что, а за что Михайлова?

Арестованы студенты в Москве, про то знают обе столицы. Подтвердился слух, что арестован и Костомаров, о чем говорили на сходке у Николая Курочкина по поводу Шахматного клуба. Стало известно, что в Москву ездил полковник Житков. Там тоже наверняка был обыск и забраны все бумаги. Можно не сомневаться, что воззвания к крестьянам и к солдатам попали в Третье отделение. Сличили почерк Михайлова, и Житков явился: «Принужден пригласить вас...»

Значит, почерк главное. И единственное. А листа «К молодому поколению» у Михайлова они не нашли. И теперь уже не найдут. Вспорхнул лист белым соколом, ищи-свищи!

Михайлов сел к столу, потрогал свечу. «Вот наступит вечер, и зажгу я свечи...» Наступит вечер, первый в его заточении. «Не надо считать! Вредоносно считать, полезно читать». Взял книгу, раскрыл ее, но тут снова забрякал ключ в двери, и вошли блондин и брюнет, капитан Зарубин и черномазый вахтер.

— Собирайтесь, господин Михайлов, вас переводят в другой нумер,— сказал Зарубин.

Михайлов возмутился — он уже успел попривыкнуть здесь!

— Далеко от экспедиции, а вас часто будут спрашивать,— пояснил Зарубин. — Велено поближе перевести.

Праздник праздником, а повеления от кого-то исходят.

Пошли вниз по лестнице, вахтер пыхтел с чемоданом, вышли во двор, миновали жалкий и чахлый садик (не хватало еще, чтобы здесь были сады Семирамиды!) и вошли в мрачное здание с часовым, поднялись по грязной лестнице на второй этаж. Тут уже вполне казематная обстановка, двери из железных жердей, как в зверинце, за жердями тьма, какое-то движение, постепенно он различил солдат с ружьями.

Новый нумер значительно отличался от прежнего. Голые стены, вместо стола невысокий шкапчик, железная кровать, два кривоногих стула, а возле печи снаряд с крышкой, означающий, что из нумера уже нет необходимости выходить даже по крайней надобности.

— Приказано вам раздеться, господин Михайлов, велено сменить все платье, верхнее и исподнее.

Пока он переодевался, вахтер обшаривал его платье, рассматривал, водя носом, будто вшей искал, и выдергивал карманы так бесцеремонно, словно намереваясь их

оторвать. Михайлов закипел, но промолчал,— глупо противиться, поздно, после того как провели тебя сквозь железные жерди.

Все забрали — сапоги и шапку и даже часов не оставили. Унесли остатки его прежней жизни, теплую связь с домом.

Что там могло случиться, почему так поспешно перегнали его сюда? Или туда поместили следующего? За кем ездил Житков?

Снаряд у печки пахнет уже тюрьмой. И неба за окном не видно, кирпичная стена застит, смотреть не на что для успокоения.

Прошелся по нумеру до двери, в верхней половине ее стекло толщиной в палец, задернуто белесым коленкором, повернул обратно к окну. Башмаки жесткие, кожа заскорузла, каблуки стоптаны вкось, и потому шаг нетвердый, будто оступаешься. Кто их носил прежде?..

Что им еще известно, кроме почерка?

Ну а почерка разве мало?

Для того чтобы раздеть, переодеть, забрать все дочиста и затолкать в каземат, почерка мало.

Им, конечно, известен лист «К молодому поколению», но в нем нет и следа его почерка. Так за что же?

Первого сентября Шувалов сказал ему прямо: на него есть подозрение по делу тайной типографии и литографии московских студентов. Из министерства внутренних дел ему пришлют опросный лист.

Не прислали.

И вот арест, каземат и воздвиженье — платье с тебя сдвинули, арестантские подштанники надвинули. Либо получено ими новое доказательство, либо таков прием их — без всякой беседы, одними действиями, обстановкой повлиять на твое состояние, подготовить тебя, унизить, чтобы от тебя прежнего осталось как можно меньше, лучше бы ничего не осталось.

Он не боялся ареста и потому не пекся о безопасности, а предупреждения были и не один раз. Приезжал Гаевский, литератор, персона осведомленная, отец его служит в министерстве просвещения. Гаевский сказал Михайлову, что собираются произвести обыск в его деревне под Петербургом. В какой деревне? Откуда у Михайлова деревня? По словам Гаевского, подозрения у Третьего отделения основательные, у них есть какие-то рукописи, компрометирующие Михайлова, надо принять меры.

Надо-то надо, да только какие меры? Бежать? А на какие шиши, прости господи? Он и без того должен Некрасову тысячу рублей серебром, взятую в конторе «Современника» для поездки в Лондон. Да и не может он бежать, не хочет.

Отодвинулась занавеска на двери, показалась солдатская физиономия, забрякал ключ. Оказывается, пора обедать. Солдат принес ему целую вязанку судков на ремне и, снимая их по одному, стал показывать Михайлову содержимое, непонятно зачем, то ли аппетиту хотел нагнать, то ли потом расписку потребовать, дескать, было да сплыло.

— Вот суп, ваше высокоблагородие, вот холодное, смотрите, вот жареное. Тут вот огурцы, гляньте-ка, а вот пирожное.

Михайлов хлебнул ложку-другую жидкого трактирного супу и почувствовал дурноту. «А ложка серебряная...» Позвал солдата, тот нанизал судки на ремень и унес обратно. Подумалось, что и обед такой подан ему с тем же умыслом — унизить.

Солдат удалился, виновато бормоча что-то, а Михайлов прилег на кровать. Почему его не зовут для беседы? Праздник праздником, но ведь кто-то же там есть? Кто-то же распоряжается — перевести, переодеть, накормить. Как будто они успели уже раздобыть новые сведения, которые не позволили им оставлять Михайлова в преж-

нем нумере, в уюте с изразцовой печью, с диваном, столом, свечами в подсвечниках. И поволокли его за железные жерди. И с каждым их маневром он становится все меньше, все беззащитнее. Он молчит, ничему не противится, ничего не требует, ибо ясней ясного для него — глупо здесь требовать, бессмысленно перечить, это лишь унизит твое достоинство. Человек тут сразу сникает, в нем будто просыпается чувство первородной вины, извечный страх. Не знаешь, когда, не знаешь, за что, но чувствуешь: все равно привлекут, особенно на родимой сторонушке.

Прежде был независим, горд, говорил что думал и поступал смело, тебя любили женщины за все это, но вот явились, увезли за железные жерди — и ничего в тебе не осталось. И виновность твоя зримо и вещно подтверждается окружением — вот тебе нумер под замком и с решеткой, чужое белье с треснутыми пуговицами, вахтер с пакостными руками, солдаты с ружьями,— и у всего этого своя логика твердая, и все это течение жизни размеренное и давнее, многолетнее. Обычай, а не случай. Этот свет, а не тот. И ты принужден подчиниться, стать каплей в едином потоке.

На Екатерингофском проспекте, в доме, куда они явились, они были почтительны, вежливы, они принимали условности той, иной жизни, и у него не было там потерянности, оторванности от самого себя. А здесь — от обстановки, от их ритуала, бряканья ключей и ружей, от солдатских глаз, равнодушных и безжалостных,— человек сдается.

Стало темнеть, пора зажигать свечу. Первый вечер его заточения. Сколько их будет еще? (Не считать!) Свечу зажигать не хотелось, сумерки скрывали очертания нумера и позволяли грезить, успокаивали отчасти. Ты распался, собери себя хоть немного. Как там дома? Ужинают, сидят за столом — без него.

Наверное, они уже навели порядок в квартире. Какие у них лица сейчас? У Людмилы Петровны, у Шелгунова, у Вени, какие у них глаза? Какие они слова произносят? Чем успокоили Мишу?..

Михайлов прилег на кровать, закрыл глаза и поплыл в легкой дреме, даже с ощущением покачиванья, услышал, как бьется сердце, словно машина под палубой. «Что же делать? Будь что будет. В руки бога отдаюсь». Друг Полонский, как хорошо ты разгадал меня! «Если смерть меня разбудит, я не здесь проснусь».

Но уснуть не удалось, черномазый вахтер будто ждал момента и возник возле кровати с одеждой Михайлова через руку, с шапкой его и с сапогами под мышкой.

— Прошу вас, одевайтесь, господин Михайлов.

Следовало бы сказать: «Пошел вон!» — так ведь все равно не уйдет.

— Куда?

— Не могу знать-с.

Пока он одевался, пожаловал молодой гусар, совсем неуместный здесь, но уверенный.

— Вас просят в экспедицию, господин Михайлов.

Почему здесь вахтер, понятно, но чем занят гусар в Третьем отделении? Или они тут по праздникам? Щека с флюсом придавала гусару глуповатый вид. Может быть, его списали, дабы косорылый облик не портил строя?

Вышли во двор, миновали ворота, вошли в здание, шли по лестницам и коридорам, остановились, наконец, у двери с табличкой: «Вторая экспедиция».

Он от всего откажется — это нетрудно, это сущий пустяк — от всего отказаться!

Вошли в приемную, отворилась дверь кабинета, и Михайлов увидел на пороге высокого черноволосого чиновника во фраке со светлыми пуговицами и со Станиславом на шее.

— Не угодно ли вам пожаловать сюда, господин Ми-

хайлов,— по-светски суховато произнес чиновник. Он был недурен собой, худощав и подтянут, хорош, если бы не печать хозяина положения и не тон, любезный, но требовательный.

В кабинете чиновник предложил ему кресло и, стоя перед Михайловым, представился:

— Горянский Федор Иванович, начальник второй экспедиции Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии.

Михайлов покивал на его слова.

— Ну а мне представляться, видимо, нет надобности?

— Я очень уважаю ваш талант, господин Михайлов,— продолжал Горянский учтиво,— и весьма сожалею, что мне приходится знакомиться с вами при таких обстоятельствах.

— Весьма признателен, но в чем дело, скажите, в чем меня подозревают?

Горянский посуровел, он не ожидал такой поспешности от Михайлова, сразу вопрос с наскоком вместо приличествующих слов о том о сем.

— На вас падает сильное подозрение, во-первых, в сочинении прокламации к крепостным людям. Во-вторых...— Горянский помолчал, поджал губы, под черными глазами обозначились тени, и в облике его проступило нечто воронье,— на вас падает подозрение в провозе из-за границы другого, уже печатного воззвания «К молодому поколению» и в распространении его.

Михайлов не смог усидеть в кресле, поднялся и тем освободился от взгляда Горянского, прошел к окну, инстинктивно держась подальше от стола, подальше.

— На чем же основываются эти подозрения?

— Против вас есть показания некоторых лиц.

Каких таких некоторых? Сличили почерк, нашли сходство и тут же присочинили показания. «Все отрицаю!» — настропалялся Михайлов.

— А кроме того, вот-с! — Горянский встал из-за стола и с листком бумаги в руках подошел к окну: — Известна вам эта рука?

Узнать почерк Костомарова довольно было одного взгляда. «Все отрицаю, все!»

— Чье это письмо, не знаю,— сказал он.— Дайте почитать.

Горянский сделал движение, будто подает письмо, но, когда Михайлов протянул руку, Горянский миновал ее и, положив письмо на подоконник, прижал его растопыренными пальцами. Михайлов выразительно посмотрел на Горянского: «Что я его, съем?» — и скрестил руки на груди. Горянского его жест не смутил, рука его оставалась на письме, пальцы слегка скрючены, и сам он весь, как поджарая гончая, чуть подвинься ближе, он не только успеет письмо схватить, но и в глотку вцепится. Ясно, что письму этому придается весьма большое значение. Что же в нем?

Вне сомнений, писал Всеволод Дмитриевич. Сразу бросились в глаза буквы «М. Мих.» Но — сначала «Дорогой друг Я. Алекс.» Быстрым скоком пробежал письмо и — ничего не понял. Не мог вникнуть, оглушенный стуком крови в ушах, комом в груди, ощущением страшной беды, провала. Руки-ноги оцепенели, будто лязгнул медвежий капкан, и не шелохнись теперь, все!

«...Ради бога, не забывайте мою бедную старуху». Какую старуху? Зачем все это писано, кому? Что за дорогой друг Я. Алекс.?

— Теперь вам все понятно, господин Михайлов?

— Ничего не понятно,— еле выговорил Михайлов и выговорил сущую правду.— Позвольте, я еще раз перечту?

«Дорогой друг Я. Алекс. Дело мое гораздо хуже, чем я предполагал. Брат не только донес на меня, но и захватил кое-какие бумаги, которые я не успел уничтожить.

Одна из них писана рукою М. Мих. и может сильно компрометировать его. Ради бога, сходите к П., узнайте от него адрес М. и поезжайте в Петерб.; скажите ему все это. Пусть он примет все меры, какие найдет возможными, и во всяком случае уничтожит все до одного экземпляры М. П. Он поймет в чем дело.

Ради бога, не забывайте мою бедную старуху. Я буду арестован, вероятно, сегодня. Брат ушел с утра с угрозами и проклятиями прямо к Житкову...»

Допустим, «М. Мих.» — это он, Михайлов. Но тут еще какой-то П., далее какой-то М. Я не знаю, господа, кто за этими литерами, и вы не знаете. Сначала П., потом М., потом уже вместе М. П.

— Свинство, господа, выкрадывать чужие личные письма! — гневно сказал Михайлов.

Горянский осторожно убрал письмо, вернулся к столу.

— Речь идет о потрясении основных учреждений государства, господин Михайлов. Расхожие понятия о такте и этике в таком случае неуместны.

— Право человека проявить свою добрую волю всегда уместно.

— Это вы видите в письме добрую волю, направленную на ваше спасение, а мы видим злую, направленную на сокрытие государственного преступления. Вы же не станете отрицать, что под «М. Мих.» подразумевается Михаил Михайлов?

— Не стану! — с вызовом сказал Михайлов.

— А под «П.» подразумевается господин Плещеев, не так ли?

О проклятье, до чего же хочется крикнуть, бросить ему в лицо: да! Плещеев, благородный и мужественный, перенесший эшафот и николаевскую солдатчину — и не сдавшийся! И ненавидящий вас, и презирающий ваши козни! До чего же хочется...

— Я не писал этого письма и не могу знать, кто в нем под чем подразумевается.

— Так я вам помогу, если вам угодно играть со мной в прятки. «П.» — это Плещеев, «М.» — это Михайлов, а «М.П.» — это «Молодое поколение», известное вам воззвание, которое вы отпечатали в Лондоне и привезли в Петербург.

— Я ничего не печатал и ничего не привозил!

Горянский поднес письмо к лицу Михайлова.

— Вы признаете руку Костомарова?

Как только вопрос ставил Михайлова в тупик, он не мог усидеть на месте, вскакивал и — прочь от Горянского, подальше, он ощущал тупик не только мысленно, но и физически, всем телом, как птица клетку. Он заметался по кабинету и только сейчас увидел возле стены свои коробки, те самые, которые привез Житков в жандармской карете. Они были грубо раскрыты, зияли пустотой, не было уже ни печатей на них, ни бечевок.

— Почему не призвали меня?! — в ярости закричал Михайлов, сразу вспомнив выворачивание карманов.— Кто потрошил мои рукописи своими грязными лапами?!

— Успокойтесь, господин Михайлов, вы забываете, что здесь...

— Зачем нужно было ломать комедию, завязывать, опечатывать, зачем?! Чтобы учинить здесь разбойщину?!

— В канцелярии его императорского величества ваша печать не имеет никакого значения.— Горянский не терял самообладания, только губы у него стали жестче, словно запеклись. И чем больше ярился Михайлов, тем спокойнее становился Горянский, словно удваивал самообладание за счет утерянного собеседником.— Кстати, о вашей печати еще будет речь, а сейчас вернемся к письму. Вы признаете руку Костомарова?

Михайлов сел в кресло, сцепил руки перед собой.

— Господин Михайлов! — окликнул Горянский, будто

Михайлов уснул.— Костомаров подтвердил, что это им писано.

Им писано, им, и Михайлову ясно, на выручку ему писано, но почему оно так ошеломило Михайлова? И чем оно так важно для Горянского, вцепился в него? Надо вникнуть, сосредоточиться: что для них главное в этом письме? «Писана рукою М. Мих.» — от этого отпираться уже бесполезно. Но что касается «П.» и «М.П.», никаких расшифровок в письме не содержится, и вы вольны, господа, домысливать в меру своих способностей, целенаправленных в одну точку, себе угодную, дабы оправдать пособие государево. И Станислава на шее.

— Упрямство, господин Михайлов, может только навредить вам. Вы не дорожите своей свободой.

Естественно, если у Михайлова один зарок, то у Горянского совсем другой: заставить заговорить.

— Да будет мне позволено молчать,— сказал Михайлов,— какая есть свобода больше этой?

«Относительно листа в письме Костомарова нет ничего доказательного. Да и что он мог знать о листе, господа ретивые, коли арестован до его распространения? Следовательно, отрицаю эту часть письма со всею непреклонностью».

Молчит Михайлов, но Горянский молчать не может.

— Третьему отделению известны и лица, содействовавшие вам в распространении воззвания.

«Вы еще не установили моей причастности к воззванию, а уже толкуете о лицах содействовавших».

— Уже теперь арестованы некоторые, но придется арестовать и других,— продолжал нагнетать тревогу Горянский, и не без успеха.

«Все отрицать невозможно, черт бы вас побрал совсем, господа вымогатели! Намерение детское, каприз, не больше. Чего же не отрицать?..» Михайлов помрачнел. Вроде бы годами готовился к злой встрече, а вышло те-

перь, совсем не готов. А Горянский продумал свою шахматную партию, двигает пешку за пешкой, а там пойдут и фигуры позначительнее.

Как же все-таки объяснить письмо, чтобы оно потеряло для них значение? Допустим, Костомаров воспользовался неверными слухами. Он поступил легкомысленно, решив предостеречь Михайлова, ни в чем не повинного, а они из этой нелепости составляют государственное преступление. Да и «М. Мих.» тоже всего лишь слухи, мало ли всякого вздору болтают про литераторов?

«Письмо вами добыто неблаговидным путем, содержит в себе нелепые слухи и не вызывает у меня никакого доверия» — вот что он может сказать Горянскому.

— Мы давно уже не арестовывали женщин, а теперь вынуждены были прибегнуть и к этой мере.— Горянский пристально смотрел на Михайлова, отмечая малейшее его движение. Сейчас он вскочит и забегает по кабинету. Но Михайлов лишь крепче стиснул руки и остался сидеть. Побелевшие его пальцы не ускользнули от внимания Горянского, и он продолжал: — Арестованы мать и сестра Костомарова.— Горянский выдержал паузу, не сводя глаз с Михайлова.— Часа через полтора после вас взята и полковница Шелгунова.

Часа через полтора его как раз и перевели за железные жерди...

«Как вы смеете угнетать меня?! Вы запугиваете меня словно своего холопа, лакея!»

— А при чем здесь полковница Шелгунова, господин Горянский? — как можно спокойнее спросил Михайлов.— В Лондоне я был один, в Петербург вернулся один и в квартире оставался один. А господа Шелгуновы ездили за границу лечиться, вернулись оттуда позже меня и своим путем.

— Допустим, господин Михайлов, допустим! — Горянский воодушевился, собеседник заговорил наконец.— Вы

вернулись, вы привезли с собой воззвание «К молодому поколению» и распространили его. Костомаров видел у вас это воззвание. Полагаю, что и Шелгуновы видели, вы ведь с ними дружны, кто этого не знает!

«Все отрицать невозможно! Если бы я был один, если бы!..»

— Я действительно привез несколько экземпляров.

— Сколько именно? — Как ни сдержан Горянский, а радости скрыть не мог.

— Но их никто не видел, даже самые близкие мои друзья, уверяю вас.

— Сколько штук вы привезли?

— Штук десять, не больше. Но распространять их не стал. Костомаров действительно видел у меня этот лист, один экземпляр, и, как человек благоразумный, посоветовал мне его уничтожить. Что я и сделал. И никто другой, повторяю вам, листа не видел!

Михайлов вздохнул с облегчением — кажется, он сразу объяснил письмо злополучное, не причинив никому вреда. Не станут они терзать этим письмом Людмилу Петровну.

Михайлов вздохнул, а Горянский потер руки.

— Очень хорошо, господин Михайлов. Это ваше признание касается второго подозрения, а на первое вы ничего не сказали — относительно воззваний к солдатам и к крепостным людям.

— Я не знаю этих воззваний, покажите их мне.

Горянский затруднительно помолчал и сказал:

— Они переданы следственной комиссии, назначенной над студентами.

Ах вот как, значит, над Михайловым одна комиссия, а над студентами другая, его особо выделили.

— Но вы их завтра увидите, — обещал Горянский.

«В чем моя ложь, я знаю, но в чем его, мне неведомо. Неужто вправду ими взята Людмила Петровна?»

Дверь отворилась, просунулась голова гусара с флюсом.

— Федор Иванович, вас просят к графу Петру Андреевичу.

Михайлов надеялся побыть в одиночестве, спокойнее обдумать свое положение, но к нему тут же подошел Путилин, он будто ждал, когда Горянский наконец выйдет. Не подерутся ли эти господа из-за удовольствия общаться с ним? Путилин в черном фраке и тоже со Станиславом на шее. Чего ради они вырядились сегодня, от Станиславов уже в глазах рябит.

— Ведь вы изволите знать Благолюбова? — спросил Путилин, вежливо улыбаясь.— Он ведь в одном с вами журнале участвует.

— Нет, такой не участвует.

— Ах, виноват-с. — Улыбка Путилина стала еще шире.— Я хотел сказать Добролюбова. Его знаете-с? — Выговор у него мягкий, малороссийский, «ехо» вместо «его», улыбка понахальнее, чем у Горянского, видно, склонен придуриваться.

— Добролюбова знаю.

— Вы ведь изволили с ним вместе за границей быть?

Вот он к чему клонит — лист привезли вместе.

— Вовсе нет,— с раздражением сказал Михайлов.

— Но с ним там виделись?

— И того нет.

Отрицательные ответы будто забавляли Путилина, он улыбался все шире и благодушнее.

Вернулся Горянский и сказал, что Михайлова ждет граф Петр Андреевич Шувалов. Зашевелились, то никому не нужен, то нарасхват. С Шуваловым он может держаться иначе. Граф поступил не вполне порядочно, сказав в тот раз Михайлову о том, что ему пришлют опросный лист и этим ограничатся. Не прислали и не ограничились, а приволокли его сюда, и вряд ли сия операция обо-

шлась без указаний графа. Разговор с ним 1 сентября, видимо, потерял значение, за прошедшие две недели они кое в чем преуспели. Письмо Костомарова перехвачено подлым путем, и он спросит графа, имеет ли юридическую силу бумага, добытая вот так, нечестно?

Горянский оставил его в приемной Шувалова с дежурным офицером, развязным и молчаливым. Офицер что-то мурлыкал, ковырял в зубах, мычал, вел себя так, будто Михайлов вещь, тумба безглазая. Дежурному мало дела до посетителей, много их тут проходит всяких, Михайлов понимал, но непочтительность офицера казалась ему подчеркнутой, все с тем же намерением — унизить. Раздевая его в каземате, они заодно с одеждой будто содрали с него кожу живьем, и теперь он всем телом ощущает любой пустяк, на который прежде не обратил бы ровно никакого внимания.

Шувалов встретил его неприветливо, красивое лицо его подергивалось. Он молод, моложе Горянского, года тридцать два — тридцать три. Все они здесь молоды, сил много и много натворят дел.

Граф начал без всяких вступлений, притом стоя:

— Вы не хотите сказать, господин Михайлов, той правды, которая нам хорошо известна. Когда вы были у меня, я уже знал вашу виновность, а теперь все окончательно подтвердилось.

— Так почему вы сразу...

Но Шувалов прервал его:

— А теперь вы заставляете меня действовать как бы мне и не хотелось.— Видя, что Михайлов не пытается возражать, он заговорил мягче: — Представьте себе, что я разделяю ваши взгляды, я достаточно либеральный человек. Но я еще и честный человек и вынужден действовать так, как меня к тому призывает служба государю. Вы, надеюсь, меня понимаете?

— В чем вы меня подозреваете?

Шувалов повторил Горянского: в провозе из-за границы и в распространении воззвания «К молодому поколению», в написании прокламаций к солдатам и к крепостным людям.

— Они несомненно писаны вашим почерком, это подтвердили четыре сенатских секретаря.

— Не видя этих бумаг, я не могу сказать, что они писаны мной.— Голос его подводил, звучал уныло. Он не мог вспылить, возмутиться, это было бы лицедейством, не мог — ему мешала правда! А граф мог и возмущаться и оскорблять его своим ледяным обхождением — он так и не пригласил сесть и сам стоял по другую сторону стола. Михайлова угнетало его преимущество — говорить правду и ждать от других того же.

— Хорошо-с, завтра вы их увидите. Я не хочу брать у вас признание нахрапом. А что вы скажете по поводу вот этого? — Шувалов взял со стола тонкую брошюру, и Михайлов без труда узнал «К молодому поколению».

Они поставили его в глупое положение — заставили отпираться от своего дела. А он не готов лгать, все его существо противится. Но не лгать здесь и не выкручиваться — значит, самому совать шею в петлю и помогать им потуже затягивать. Так почему ты не готов лгать? Почему ты забыл, что есть Третье отделение?

Шувалов отвернул страницу, начал читать:

— «Нам нужен не царь, не император, не помазанник божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность; мы хотим иметь главой простого смертного, человека земли, понимающего жизнь и народ, его избравший».— Шувалов поднял взгляд на Михайлова.

— Я этого не писал.

Шувалов перевернул еще страницу.

— «Момент освобождения велик потому, что им по-

сажено первое зерно всеобщего неудовольствия правительством. И мы пользуемся этим, чтобы напомнить России ее настоящее положение. Наступила пора сделать с нашим правительством то, что сделали крестьяне одного имения Тамбовской губернии с своими управляющими из немцев. Когда манифест о воле был прочитан крестьянам, они запрягли лошадей в телеги, вежливо попросили своих управляющих садиться, довезли их до границы именья и так же вежливо попросили их вылезть. «Ступайте с богом куда вам угодно, но уж к нам больше не возвращайтесь».

— Я этого не писал! — твердо повторил Михайлов.

— А кто же? — Шувалов отложил лист.

— Почему я должен указывать на кого-то, даже если он мне известен? Это бесчестие и позор, ваше сиятельство, ябеду бьют с детства и в гимназии и в пажеском корпусе, вам это хорошо известно.

— Вы заставляете меня действовать противу моих желаний, поверьте мне,— с некоторой даже обидой сказал граф.— Я не хотел бы этого, я честный человек.— Он даже руку приложил к груди, и это взбесило Михайлова.

— Ради какого такого добра вы честен? Только ради того, чтобы отправить меня в каторгу?! Эк-кая заслуга, граф! Вы воспользовались отсутствием государя и бесчинствуете в столице, приказали арестовывать женщин! Но на ваш приказ в следующем «Колоколе» немедля появится сообщение о позорящем Россию факте, уж в этом вы мне поверьте! — И Михайлов приложил к груди обе руки и даже склонился по-китайски.

Шувалов опешил, лицо его задергалось еще больше.

— Мы не арестовываем женщин! — возмутился он.— Кто вам сказал этот вздор? — Шувалов гмыкнул, пожал плечами.

Михайлову стало спокойнее, он увидел, что граф ис-

кренен на сей раз, про женщин скорее выдумка из арсенала Горянского. Ему стало весело, и он сказал не без ехидства:

— Если вы одинакового со мной образа мыслей, то скажите, что вас возмущает в листе?

— При одинаковости мыслей могут быть разные выражения. А возмущает поспешность, господин Михайлов, которая оправдана, как известно, при ловле блох. «Арестовываете женщин», — он фыркнул: — Экая чушь! — Прошелся возле камина, косясь на огонь, и продолжал несколько озабоченным тоном: — Вы недавно побывали в Лондоне и потому «Колокол» так легко срывается у вас с языка.— Собственный тон ему не понравился, он откашлялся и продолжал тверже: — Побывали в Лондоне и вернулись не с пустыми руками. Вы привезли с собой не десять экземпляров, как вы говорите. Десять — это что! Пустяки!

Не так уж плохи его дела, оказывается,— пустяки.

— Из-за этого вас бы нечего и преследовать. Вы привезли воззваний в большем количестве и распространяли по Петербургу со своими приятелями. У меня есть очень верные данные.— Ему нравилось слово «очень» — очень хорошо известно, очень честный человек, очень верные данные.— Одному Костомарову вы предлагали для Москвы сто экземпляров. Ведь предлагали?

— Нет,— ответил Михайлов и выразительно вздохнул: «Я вынужден лгать, ваше сиятельство, и я буду лгать, вы поставили меня в бесчестное положение».— Нет, нет и нет! — повторил Михайлов.— У кошки одна задача, ваше сиятельство, а у мышки другая.

— Ябедничать на других безнравственно, господин Михайлов, но нравственно ли отпираться, будучи схваченным за руку? Костомаров вам сейчас сам все подтвердит.

Вот так, Михайлов, у кошки маневра больше.

Шувалов прошел к двери, толкнул ее и спросил через порог:

— Что, привезли арестантов? — И добавил, ясно, что для Михайлова: — Из крепости? — Ему там что-то ответили, Шувалов вернулся к столу и закурил папироску, коротенькую, особого сорта. Закурить Михайлову не предложил, сесть не предложил и сам не садился.

«Арестантов», то есть не одного, а нескольких, чтобы смутить, запутать, столкнуть лбами. Вот так, Михайлов, гиена с тобой играет, а пе кошка, не обижай домашних животных.

Вошел Костомаров, и Михайлов едва узнал его — в каком-то толстом пальто не по нему, обросший, сугубо тюремный, будто просидел уже лет пять. В крепости несладко, но когда у него успела отрасти борода? Ведь виделись они... три нецели назад. «Борода ведь и после смерти растет»,— вдруг подумал Михайлов, и стало неприятно оттого, что он так подумал.

Костомаров ему улыбнулся прежней своей, слегка смущенной улыбкой, и Михайлов ободряюще кивнул в ответ, чувствуя себя увереннее в его присутствии. Сейчас он должен явить пример Костомарову, он старший. И пусть Шувалов не думает чего-то добиться таким свиданием.

По знаку Шувалова все трое подошли к столу. Граф выложил на стол письмо, то самое, Я. Алексу, и указал на буквы «М. П.»

— Что это такое?

Костомаров спокойно смотрел на свое письмо и молчал.

— «К молодому поколению»? — спросил Шувалов.

Костомаров молчал, невозмутимо глядя на свое письмо. Похоже, он тоже намерен явить пример.

— Господин Михайлов сознает, что это так.

«Экая наглость! Я же ничего подобного пе гово-

рил!» — От негодования у него перебило дыхание.

— Если он сознает, то это действительно так,— ровно, безразлично сказал Костомаров, словно не желая подводить товарища. Как будто не сам он писал, а Михайлов, и ему принадлежит право раскрывать сокращения.

— Предлагал он вам сто экземпляров? — быстро, с напором спросил Шувалов.

Костомаров молчал. Но странно, что и Михайлов молчал, не в силах вклиниться в разговор и в то же время желая испытать друга, полюбопытствовать, как он себя поведет дальше, что скажет. Почему Всеволод Дмитриевич не возмущается тем, что письмо его выкрадено?

Шувалов вопросительно уставился на Михайлова.

— Я не мог предлагать ему такое количество, потому что у меня у самого было всего десять экземпляров. Но господин Костомаров видел только один экземпляр.

— Так ли это, Костомаров?

И опять молчание. «Всеволод Дмитриевич держится, а я мечусь!»

— Так,— ответил наконец Костомаров нехотя, словно делая уступку Михайлову.

— Ступайте,— сказал граф Костомарову довольно холодно, хотя, наверное, должен был бы тепло благодарить.

Костомаров не пошевелился, будто не слышал. Голова его чуть склонена, ни позы в нем, ни вызова, просто он не рвется исполнить приказ графа, имея на это какое-то свое право. Стоял, к чему-то готовясь, собираясь что-то сказать на прощанье значительное, сосредоточиваясь, и это ощущение подготовки заставило и Шувалова, и Михайлова смотреть на него и ждать. Костомаров наконец обернулся к Михайлову, посмотрел на него виновато, жалко и вместе с тем с укоризной и так долго и молча смотрел, что Михайлов опустил взгляд. Костомаров поклонился ему одному и вышел.

Шувалов молчал минуту-другую, не глядя на Михайлова, затем прошагал к двери.

— Ушел? — Ему ответили утвердительно, и он повернулся к Михайлову: — Вы можете тоже теперь идти.— Разделил их предусмотрительно, чтобы они не бросились там, в приемной, сговариваться, как два мазурика.

Едва Михайлов вышел из кабинета, как из полумрака приемной словно из стены вылез Путилин и забормотал по секрету:

— Попросите у графа, чтобы он возвратил ваши письма госпоже Шелгуновой. Полковник давеча взял их себе в карман. Их, пожалуй, представят при следствии.

Вроде бы он советовал от души, но Михайлова покоробило — будто не сыщик Путилин, а сообщник, своя рука в Тайной канцелярии. «Хоспоже Шел-хуновой...» Михайлов молча отвэрнулся, чуя в словах Путилина какую-то каверзу, а распознать ее сразу Михайлову не хватает какого-то особого, подлого знания.

Гусар с флюсом повел его в каземат. Выйдя на воздух, Михайлов поднял голову — слава богу, избавился. Хотя бы на сегодня избавился. Возле чахлого садика он попросил гусара постоять немного, ему надобно подышать. Воздух терпкий, осенний, пахнет палой листвой. Поднял с земли пожухлый, с крылышко бабочки, березовый листок, понюхал его, подержал на раскрытой ладони. В темноте и безветрии скудный садик был грустен и неподвижен. Он от вздохов вачах, от горя вокруг и мрака.

Постоял, подышал, и, слава творцу, ему уже легче. Так, бывает, наступят на былинку сапогом, затопчут, но — уберут сапог, и былинка потихонечку, полегонечку расправляется, оживает, дышит,— вот так же и он сейчас.

Гусар нетерпеливо кашлянул за спиной, и они пошли дальше. Михайлов соскучился уже по своему нумеру. Скажи добрым людям, они не поверят в такое. Но там не

будет ни Горянского, ни Путилина, ни Шувалова, он будет один, сам с собой, и мало кому ведомо, какое в этом превеликое счастье. Он поднял лицо, поискал глазами окно своего нумера, нашел черный провал на втором этаже, вгляделся. Но что это?.. Окно соседнего нумера освещено, занавеска отдернута, и возле нее — девушка! Белокурая, волоса до плеч. Михайлов застыл, вглядываясь, шедший позади гусар сонно на него натолкнулся. Может быть, это сестра Костомарова? Выходит, Горянский не лгал о женских арестах? Что за мука для него постоянная, из огня да в холод!

Михайлов обернулся к гусару.

— Скажите мне правду! — умоляющим голосом попросил он и взял гусара за пуговицу.— Вы же христианин, только правду, как перед богом. Женщины у вас содержатся?

— Если как перед богом...— Гусар поморгал рассеянно: — ...правды говорить не велено.

— Даже который час?

— Даже...

Михайлов отвернулся, пошел. Провалиться бы вам всем со своим «велено — не велено»! В тартарары!..

Гусар пояснил, оправдываясь:

— Бывают положения, когда знание точного часа помогает злодейскому сговору.

Лучше бы тебе помолчать!

В нумере он переоделся, вахтер забрал его платье, сапоги, шапку. Вошел длинный унтер с темными баками, принес чаю с хлебом. Лицо худое, баки будто приклеены, вид унылый, наверное, семья большая.

— Как тебя зовут, служивый?

— Самохвалов, ваше благородие.— Остановился перед Михайловым, опустив руки, длинные, почти до колен.

— Ты здесь все нумера обслуживаешь?

— Все, ваше благородие. Столько времени чуть не все

нумера пустовали, а теперь дня не хватает ко всем зайти. Я тут сторож.

Мало тут сторожей, брякают фузеями в коридоре, у каждой двери часовой, а у входа аж два.

Унтер чуял, что Михайлов намерен что-то спросить, и стоял выжидательно и покорно. Но не хватит ли на сегодня вопросов, вернее, лживых ответов? Надо же и самому как-то уберегаться от огорчений.

— Спасибо тебе, Самохвалов, можешь идти.

У двери унтер остановился, обернулся всем телом:

— Ночник, ваше благородие, не гасите. Уснете, а часовой будет кричать зажечь. Не дадут поспать, ваше благородие.

Он вышел, запер дверь и вынул ключ, который весь день оставался в замке. Теперь уже никто к нему не пожалует, никуда его не потребуют, и можно в одиночестве все спокойно обдумать.

Спокойствия, однако, нет, он собой недоволен. По многим причинам. И главная среди них — он сказал больше, чем нужно. Кому нужно? Да ему прежде всего. Не смог всего отрицать, как-то само собой выскочило про десять экземпляров. Будто кто его за язык тянул!

Тянуть-то, положим, тянули, старались, сейчас всего не воспроизведешь, но ведь он себе зарок дал: все отрицать. Не смог. Худо.

«Десять экземпляров — это что! Пустяки!» — говорит Шувалов А сколько же ему нужно? «Подержат и выпустят». Сколько подержат? Когда выпустят? «Знание точного часа помогает злодейскому сговору».

Герцен и Огарев уговаривали его не печатать воззвания. Они-то знают, что такое тюрьма российская. «Николаевские времена прошли, — отвечал им Михайлов. — Нынче Россия на повороте». Сам же Герцен пил шампанское за здоровье Александра Освободителя, когда узнал в феврале о манифесте. «Ты победил, Галилеянин!»

По всему Лондону сияли иллюминации. «Двадцать миллионов рабов получили в России свободу».

Но Герцен и про угрозу каторги не забывал. Потому что Россия-матушка — это не только царь. «Жалует царь, да не жалует псарь».

Чего же надобно от него псарям Третьего отделения?

Сознался в десяти экземплярах. Зачем? Это же курам на смех — десять, когда они знают, по Петербургу их в двадцать раз больше, в тридцать!..

Сознался, чтобы отвести беду от других. «Привез и сжег». Но чьи же это сотни экземпляров гуляют по Питеру? Их-то кто привез? Вот тебе и отвел беду.

Господи, господи, ну почему он так опрометчив, так неловок с ними и глуп?!

Чтобы умно вести себя, одного ума мало, особенно здесь, заруби себе на носу.

Он растерялся от непривычки к тюрьме, к допросам и унижению.

Если бы не письмо Костомарова! Оно выбило его из колеи, вся беда в нем. А тут еще и Горянский: «Часа через полтора взята полковница Шелгунова». Как ему не поверить, если уже был слух? Приезжал Гаевский, говорил об обыске в деревне Михайлова, и, когда Михайлов вечером передал эту нелепость Шелгунову, тот сразу понял — в Подолье обыск, Шлиссельбургского уезда, в имении Михаэлисов, родителей Людмилы Петровны. Они условились туда съездить, узнать, был ли обыск, прособирались, пока не пожаловал полковник Житков со товарищи.

Если бы не письмо! Вроде и с благой целью — предупредить, но... Воистину, благими намерениями дорога в ад вымощена.

Теперь Всеволод Дмитриевич убедился — письма перехватывают, он станет осмотрительнее. И молчать он умеет, прямо-таки на зависть молчит. Отсюда вывод: все теперь пойдет от тебя, Михайло Ларионов Михайлов.

Десять ты привез и сжег, допустим, они это приняли, но кто привез остальные? Да кто же, кроме друзей твоих, Шелгуновых? Разве от шпионов укроется то, что Шелгунов и Михайлов жили вместе в Париже в отеле «Мольер» перед выездом Михайлова домой, в Россию?

Если бы не письмо, если бы... Милый Всеволод Дмитриевич, как же это ты оплошал?

Да разве предвосхитишь все их собачьи хитрости, силки и капканы, никакого ума не хватит!

К чему они теперь будут вести, что выпытывать? «Вы привезли в большем количестве,— сказал Шувалов,— и распространяли со своими приятелями». Но уж этого — о приятелях — Михайлов им никогда не скажет. И от Костомарова они, даже и обманом, ничего не получат, ибо он не знает, кто распространял и когда, он в те дни уже в крепости содержался, бороду себе отращивал.

Что им останется? Сочинить и огласить решение. Какое?

Мещанин, кажется, Мухин сидел в трактире Палкина и читал посреди залы «Колокол» вслух. Его сослали в Петрозаводск и напечатали о том в газетах. Но мещанин Мухин есть мещанин Мухин, персона мало кому известная. А литератор Михайлов, известный России беллетрист и переводчик Гейне, публицист и сотрудник «Современника», и не мещанин, а дворянин,— посмеют ли его сослать? А если посмеют, то куда?

Много в России мест, и всякое место — крест.

Приезжал не только Гаевский, приезжала девица Блюммер, слушательница университета. «Вас хотят арестовать, я предлагаю вам укрыться у нас, мы живем на Садовой, вблизи казарм Семеновского полка. А от нас вы уедете за границу». Веня хорошо знает Антониду Блюммер, отец ее штабс-капитан, семья вне подозрений, они бы его укрыли. «Молодые вы и пугливые,— отвечал Михайлов.— Не тронут они меня, не посмеют».

Не хотелось ему ни прятаться, ни, тем более, бежать за границу. Он только что вернулся оттуда и вспоминает заграницу без радости.

В доме Герцена сложная обстановка, тягостная. Сам он сдает, часто грустен.

«Как можно теперь оставлять Россию, когда там каждая сила нужна! — восклицал Герцен.— Когда мы все так стремимся туда!»

Ехать Михайлову за границу, и не просто ехать, а бежать, не было никакой охоты. Но дело тут не в охоте — неохоте, а в принципе — душа его, вся натура его противилась этому. Отныне в побеге содержалось нечто постыдное. Как все выглядит? Отпечатал лист, привез, разбросал по подъездам и — в кусты. Как мальчик-проказник.

Не мог он бежать, чуял — судьба его только начинается. Сбежать на заре — он и мысли не допускал!

И все идет по плану, ими же самими задуманному. Они знали — столкновение неизбежно. Для этого и поднялись на борьбу. «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней». А промахи... Таким уж он уродился, не желает, не может, за позор считает заранее стелить соломку..

Всю ночь во дворе слышалось движение, приезжали какие-то телеги, всхрапывали кони, кто-то распоряжался. Неужто и ночью везут? И кого? Утихал шум во дворе, зато гремела железная дверь в коридоре, брякали ружья, топали сапоги, временами сквозь стекло заглядывала усатая рожа — что делает сосиделец?

Откуда же девица в соседнем нумере, кто она?..

Он не спал до рассвета, садился, курил, снова ложился, слышал звон к заутрене и к ранней обедне. Под потолком скопилось облако дыма, во рту жгло от табаку, болела голова, а сон все никак не шел. Завтра надо попросить у Зарубина настойки опиума, она снимает всякую боль

телесную и душевную. Пусть ему дадут капель сорок, чтобы он хорошенько выспался. Нужна свежая голова, есть ему над чем призадуматься...

Самохвалов принес умывальник и полотенце, убрал постель, подмел пол, сходил за чаем и еще потоптался у порога, намереваясь чем-нибудь услужить Михайлову сверх положенного.

— Не хотите ли, ваше благородие, книжки читать? У нас тут много насобиралось.

— Принеси, Самохвалов, да побольше.

Минут через пятнадцать унтер вернулся, неся в поле кипу журналов — разрозненные книжки «Библиотеки для чтения», «Русской беседы» и даже «Revue etrangère» («Иностранное обозрение»). «Библиотеку» Михайлов читал по выходе, «Revue» тоже, а вот в «Русскую беседу», славянофильский толстенный журналище, почти не заглядывал. «Беседу», кстати, уже закрыли, но здесь ее держать почему-то не возбранялось.

Самохвалов вывалил журналы на шкапчик, как дрова, отряхнул полу.

— Хватит или ишшо, ваше благородие?

Длинный унтер явно был к нему расположен, Михайлов всегда чувствовал приязнь к себе, как и неприязнь тоже.

— А скажи, Самохвалов, женщины тут у вас содержатся?

— Бог миловал, ваше благородие, ни одной нету.

— А в соседнем нумере кто?

— Студент, ваше благородие, Иван Гольц-Миллер. Из нынешних, ваше благородие, патлатый.

— А-а, ну спасибо тебе, Самохвалов, добрая ты душа.

Унтер ушел, Михайлов взялся листать журналы. Каждое имя в «Библиотеке» ему знакомо, тут и Полонский, и Гербель, и Григорович, и Тургенев, не говоря уже о Дружинине. А вот и его имя. Как оно смотрится отсю-

да, с высоты собственной его императорского величества канцелярии? Да никак, так себе. О чем писал? Да о чем попало.

Отложил, посидел задумчиво. Как все, однако, меняется по прошествии совсем недолгого времени. Для кого все они писали, для кого и зачем? А ведь ждал он выхода каждой книжки с волнением и нетерпением. Теперь же смотрел, как на давно прошедшее и... пустое. Из будущего смотрел и не видел времени, одни задворки его. Пена, барашки, а не волна. «Библиотеку» Герцен называет «Бардак для чтения». Игра — игра — игра. Фикция, иллюзия, а ведь столько страстей! Напечатают? Или, не дай бог, отвергнут? Сейчас пойдет или отложат? А что читатель, какая пойдет молва?..

Может, правы — и нравственны — оказались как раз те, кто не мудрствуя лукаво, писал ради куска хлеба? И не тщился вылезти во властители умов.

А «Современника» здесь не держат. Не потому ли, что как раз в нем да еще в «Колоколе» и отражена эпоха?

Взял «Русскую беседу», потрепанную книжку пятилетней давности, раскрыл наугад. «Правда есть свет, озаряющий жизнь, отделяющий в ней случайное от существенного, преходящее и временное от непременного и вечного. Художник, как вноситель света и правды, является, таким образом, высшим представителем нравственных понятий окружающей его жизни, т. е. своего народа и своего века...» Похоже, Аполлон Григорьев, по стилю, слогу его иеромонашескому. Заглянул в конец, так и есть, оп. «Утрата же возможности относиться с комизмом к неправде жизни есть признак утраты самих идеалов».

А сумел бы Аполлоша отнестись с комизмом к Горянскому? «И то, что чувствовал Марат, порой способен понимать я, и будь сам бог аристократ, ему б я гордо пел проклятья»... Там-то оно легче, вне этих стен, а тут...

Взял «Беседу» посвежее, за 1859 год, опять наугад:

«...действия самые насильственные, самые, по-видимому, оскорбительные для нравственного чувства свободы переносятся оскорбленными не только терпеливо, но охотно и добровольно,— мало того, за эти оскорбления, и именно за них, оскорбленный еще более любит того, кто оскорбил».— Чувствуя, как его начинает трясти, Михайлов дочитал абзац до конца: — «Тут такая художественная черта, до которой достигать удается весьма немногим».— Со всего маху он швырнул журнал об пол, примерился и прыгнул на него, начал топтать в ярости башмаками, очки слетели, он их поймал на лету, долго тыкал дужками по лицу, водружая на место прыгающими пальцами, это окончательно его взбесило, он схватил журнал с полу, запихнул в вонючий снаряд и прихлопнул крышкой. Задыхаясь, сел на кровать, сердце билось — аж голова дергалась с каждым стуком. Эк-кая мерзость! А ведь не дураки вроде, но как мозги вывернули? Кто закрыл «Беседу», какой цензор? Барон Медем или Никитенко? Памятники им на Дворцовой площади за великое благодеяние!..

Подержался рукой за сердце, погладил, успокаивая, как воробья. Сколько светлых голов положили на плаху люди, ратуя против рабства! «Действия насильственные и оскорбительные переносятся охотно и добровольно» — тьфу!

Часам к двенадцати явился вахтер, уже другой, с ним дежурный офицер и уже не гусар, а другого армейского полка. Что они здесь, набираются опыту?

В экспедиции его встретил Горянский в том же фраке, с тем же Станиславом на шее, хотя за вчерашние старания могли ему дать ужэ и Владимира. Встретил он Михайлова холодно, будто Михайлов ему лгал вчера, а сам он говорил одну лишь святую правду, например о женских арестах.

Горянский выложил на стол рукописные прокламации

«Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и «Русским солдатам от их доброжелателей поклон». Придерживая бумагу уже обеими руками, сказал:

— Костомаров показывает, что он взял эти рукописи в квартире студентов Петровского и Сороки.

Казалось бы, какое дело Михайлову до того, где взяты рукописи? Но он был взвинчен и бессонной ночью, и «Русской беседой» и сейчас готов был с кулаками ринуться на Горянского, если тот позволит себе новую пакость, какой-нибудь вымогательский намек. А он позволил-таки ведь опять ложь: «Костомаров показывает».

— Да ничего подобного! — воскликнул Михайлов с вызовом.— Не мог он взять обе рукописи у Сороки!

— Как же они у него оказались? Они забраны во время его ареста в Москве. И Костомаров сам признает.

По Горянскому выходит, что Костомаров лишь при Михайлове молчит, а без него только и занят изложением распреярких подробностей, признается то в том, то в этом. Шито белыми нитками, господа.

— Почему мы не должны верить ему? — продолжал Горянский.— И почему должны верить вам?

— А вам?! — вскричал Михайлов.— Почему я должен верить вам?! «Арестованы женщины», — передразнил он.— Руки коротки, господин Горянский. Общество не позволит! — Ему хотелось фигу скрутить Горянскому, даже две, да еще и поплясать перед ним, жаль, что литератор и дворянин, в путах весь.— «К солдатам» Костомаров получил от меня лично!

Горянский смотрел на Михайлова с некоторой опаской, будто не узнавал его.

— По нашему убеждению, напротив, прокламация «К крестьянам» писана вашей рукой. А «К солдатам» писана кем-то другим. От кого она вами получена?

— А вот этого я вам не скажу, хоть на пятаки меня режьте!

— Вы сегодня возбуждены, господин Михайлов, разговор в таком духе продолжаться не может.— Горянский убрал со стола обе рукописи.

— Вам должно быть известно, и лучше, чем мне, известно, что по Петербургу ходит множество всяких рукописей, воззваний, бесцензурных стихов и прочего,— пояснил Михайлов, несколько остывая. — Одна из рукописей случайно попала ко мне, и я ее передал Костомарову.

— Хорошо, господин Михайлов. Стоило ли вам вчера запираться? — пожурил Горянский.— А сейчас вам пора обедать.

Михайлов побрел к себе, еле передвигая ноги. Вот и опять признался... Ну что ты будешь делать, как будто бес какой толкал его, опять за язык тянул. Думает одно, собирается, намеревается, а говорит другое. Ведь Костомаров явно его спасал, хотя и сваливал на других. Но зачем же Михайлову сваливать на студента Сороку, если он тут действительно сбоку припека? Незачем, и потому «хорошо, господин Михайлов, стоило ли вам вчера запираться?..».

Помимо воли его идет процесс, как стихия некая.

Другой солдат принес те же судки на ремне и в той же манере, наклоняя их, показал Михайлову содержимое. И опять похлебка трактирная, огурец в говяжьем сале и пирожное. И опять ложка серебряная, без ножа и без вилки. Через силу, заставляя себя, он хлебнул две-три ложки, и тут в нумер вошел Горянский.

— Я к вам неофициально, господин Михайлов, позволите? — Горянский взял стул и поставил его спинкой к снаряду, отгородился.— Не жалуетесь?

Михайлов фыркнул насмешливо. Как у брадобрея в цирюльне: «Не беспокоит-с?»

— Кормят вас, я полагаю, сносно. Пирожное, смотрите, прибор серебряный.

Михайлов промолчал. Ложка — по-ихнему прибор.

— Вот тут я вижу у вас «Русская беседа».— Горянский потянулся к журналам.

Михайлов опять фыркнул.

— Ее закрыли давно, «Беседу». А почему вы «Современника» здесь не держите?

— Да кто его знает,— беспечно отозвался Горянский, листая журнал.— Может быть, еще и подержим... здесь.— Он посмотрел на Михайлова и улыбнулся не зло и не хитро, а как неожиданно всплывшему каламбуру — к слову пришлось.

Непонятен Горянский Михайлову. Вроде бы и не злобен по натуре и не жесток. Не глуп, а оттого и хитер, аккуратно исполняет дело, которому служит. Но дело подлое, а коли так, то и сам он подл и потому текуч, прыгуч, непоследователен. И тем успешнее исполняет свою роль в спектакле Третьего отделения.

Но какую роль должен взять на себя Михайлов? И чей замысел ему суждено исполнить? Не самой ли природой уготована ему эта роль? А природа открыта, добра и вольнолюбива...

— Я давно вас знаю,— продолжал Горянский, листая уже «Библиотеку для чтения» будто из деликатности, чтобы не дразнить Михайлова «Беседой».— Что, впрочем, не удивительно, вся читающая Россия вас знает. Я намеревался повидаться с вами, поговорить.

Вон как. Не было времени зайти в «Современник», посидеть с его сотрудником, покурить, обменяться мнением. А теперь вот появилась такая возможность, почему бы ею не воспользоваться, что тут зазорного? Не держат они здесь журнала, зато вот держат сотрудника, Михайлов, ты недогадлив.

— Я ведь тоже пишу стихи,— сказал Горянский неловко.— Только они мало кому, в сущности, никому не известны.

— Материалу у вас достаточно.— Михайлов отчеркнул: — Поэтического.

— Вы имеете в виду мою службу,— с укоризной сказал Горянский.— Так она не влияет на литературные занятия, уверяю вас. Николай Васильевич Гоголь служил в Третьем отделении и стал великим писателем.

— Значит, все-таки великим? А в пятьдесят втором году, когда Тургенев назвал Гоголя великим в газете, вы его посадили на съезжую, а затем сослали. За одно только слово — «великий». А сейчас вы произносите его без оглядки.— Михайлов кивнул на стекло с коленкором: — Не мы ли вам помогли усвоить истину? — Горянский молчал, листая журнал.— А Гоголь, между тем, у вас не служил, это навет.

Горянский только усмехнулся.

— Нам виднее, господин Михайлов.

О службе Гоголя в Третьем отделении писал Булгарин в своей «Северной пчеле». Однажды будто бы журналист, то бишь сам Фаддей, сидел за литературной работою, как вдруг зазвенел в передней колокольчик и в комнату вошел молодой человек, белокурый, низкого росту, расшаркался и подал хозяину стихи, в которых сей журналист сравнивался с Вальтером Скоттом, Адиссоном и другими знаменитостями. Журналист поблагодарил и спросил, чем он может служить молодому человеку. Тот рассказал, что недавно прибыл в столицу, места найти не может, а положение его тяжелое. Журналист обещал похлопотать и в тот же день пошел к Максиму Яковлевичу Фон-Фоку, управляющему Третьим отделением. У журналиста конечно же была возможность устроить посетителя на место поприличнее, однако же он сразу пошел в Третье отделение, что ему ближе, сподручнее. О Фон-Фоке он писал в таком роде: «Все знали и ценили его добрую, благородную и нежную душу», называл его всеми титулами и по имени-отчеству, а Гоголю не проставил даже

инициалов. Выхлопотал, одним словом, у нежного и благородного место для этого самого Гоголя-Моголя, а далее осудил его, неблагодарного: молодой-де канцелярист являлся на службу только за получением жалованья, а потом и совсем исчез неизвестно куда. Подтверждением фельетону служат якобы хранимые Булгариным те самые стихи и два письма Гоголя.

Литераторов возмутила очередная выходка «Северной пчелы», да что с нее взять — Видок Фиглярин ее издатель. Однако мнения разошлись, ведь не великим писателем приехал Гоголь, а безвестным юношей из провинции, да без гроша в кармане, а таких Петербург в два счета задавит, к чергу на рога пойдешь, лишь бы с голоду не пропасть. Некрасов в молодости за копейки писал мужикам прошения на Сытном рынке, посреди зимы в соломенной шляпе ходил. Так что Гоголь безгрешен, и если туда пошел, так по крайней нужде, доверяясь монстру по неведению, зато поумнел быстро.

— Если он и служил, так зла никому не сделал,— сказал Михайлов.

— Помилуйте, господин Михайлов, делать зло вовсе и не входит и никогда не входило в задачу Третьего отделения, уверяю вас. Когда оно было создано и когда Бенкендорф явился к государю императору спросить, каковы наши цели и полномочия, Николай Павлович подал ему платок и сказал: «Если вы утрете хоть одну слезу, ваша задача будет исполнена».

Михайлов опять фыркнул, злорадно хихикнул. «Да что это я сегодня, как сивый мерин!» — укорил он себя. Не было у него такой манеры прежде. Так ведь и гадостей таких уши его прежде не слышали.

— Между прочим, когда я принес господину Некрасову свои стихи, я посчитал долгом предупредить его о месте моей службы.

— Но стихи были отвергнуты по другой причине?

Горянского задело — по причине бездарности?

— Поберегите шпильки для дам, господин Михайлов. Если бы мы поменялись с вами местами, я бы сохранил больше такта.

— Больше такта можно сохранить и на любом месте. А такие шпильки между литераторами в большом ходу.— Тут же и польстил ему: «между литераторами».

— Я почти не бываю в ваших кругах, к сожалению, а ведь и у меня есть и мысли, и думы всякие, и боль за судьбу России, поверьте, я вполне искренен. Я зашел поговорить с вами как частное лицо, подобной темы со мной никто другой не поддержит по причине вполне понятной. Скажите мне, господин Михайлов, вы действительно верите в благотворность революции для России, как о том сказано в вашем воззвании?

Михайлов хотел возразить: «Это не мое воззвание», но самолюбие не позволило.

— Я действительно убежден, что только революция сдвинет Россию на путь прогресса. Но если бы мы с вами поменялись местами, то я был бы более прямодушен и, спрашивая о революции, не имел бы в виду выпытать, чье воззвание.

Тут Горянский, пожалуй, смутился.

— Извините, господин Михайлов, сила инерции. Допустим, вы его не писали.

— Я его не писал, и вы его не писали. Но и я читал, и вы его читали. Теперь скажите мне, что в нем неверно? Манифест был издан девятнадцатого февраля, а когда объявлен народу? В Лондоне о нем узнали сразу же, а в России молчок аж на две недели. Почему про наши кровные дела сначала там узнают, а потом у нас? И при Николае так было, и при Александре осталось. Неужто нам вовек этого запора не преодолеть? Россия узнала о манифесте только пятого марта. Разве не верно, что правительство струсило своего начинания и прежде стянуло

войска к обеим столицам? Сначала объявили Петербург и Москву на военном положении, а потом даровали манифест. Да еще предварительно в каждом съезжем доме по Петербургу было заготовлено от двух до шести возов розог — для сечения дворовых людей, кои перестанут слушать своих господ. И как тут простому народу поверить в свободу, которая даруется ему под штыками, пушками и розгами?

— Народ темен, господин Михайлов, ожидались волнения.

— А почему волнения? Да потому, что манифест втайне готовился, правительство показало презрение к мнению народной партии, журналистика не смела пикнуть об этом деле.

— Однако же ни в России, ни в Европе нет здравомыслящих людей, которые сочли бы освобождение крестьян делом дурным и вредным.

— О том же и в воззвании говорится: «Освобождение крестьян есть первый шаг или к великому будущему России, или к ее несчастию». Получилось второе. Освобождение юридическое не привело к освобождению практическому. Почему столько бунтов и подавлений, столько крови по всем губерниям?

— Народ бунтует потому, что вы его возмущаете, господин Михайлов, будем откровенны.

— Чем, прокламацией? Да он и читать не умеет, крестьянин-то, а за вилы берется. Его возмущает истинное положение дел, господин Горянский, будем откровенны. Народ не может представить себя без земли, вне общины. Он ждал раздела земли между всеми, не дождался и возьмет силой, будьте уверены.

Краем сознания маячило опасение: зачем говоришь, перед кем раскрываешь душу? — но сдерживаться расчетливо он не мог, не видел смысла.

— Разве не факт, что Крымская война стоила нам

трехсот тысяч лучших молодых жизней? Она разорила целый край, ввела Россию в громадный долг, разве не факт?

— У всякого факта может быть двоякое толкование. Народ защищал Россию и погибал за отечество.

— Это Николай защищал чужие интересы силою безропотного народа! Война кончилась позором для нас, миром во стыде! Как можно двояко толковать требование листа сократить расходы на бесполезно громадную армию? Она стоит нам более ста миллионов. Да еще сколько молодой силы оторвано от плуга, от верстака! И до каких пор огромнейшая держава будет экономически самой отсталою? Кто в этом виноват, разве не правительство?

— Ваша пылкость, господин Михайлов, не позволяет нам вести беседу спокойно и доказательно. Каждый факт вы толкуете однобоко, а в этом нет мудрости, извините меня, попросту скучно.

— Вам не скучно, господин Горянский, вам страшно. И потому я здесь,— желчно сказал Михайлов и вдруг судорожно зевнул до ломоты за ушами, кое-как соединил челюсти: — Извините, господин Горянский, я не спал всю ночь. Непривычно-с.

Горянский сухо откланялся и ушел. Наверное, он и впрямь приходил поговорить по душам, а Михайлов его обидел. Чем? Да сущностью своей и ничем больше. Он и в спокойном-то состоянии не умел подлаживаться под чужое мнение, а тут... Ладно, бог простит.

Михайлов лег на кровать, ни о чем не думая, с единственной сладостной тягой — уснуть. Ни крохи иных желаний, ни свободы ему не надо, ни революции, только спать! Он легко задремал, слабо слыша, как заклацал ключ и послышался зычный голос:

— Свят-свят-свят, накурено-то, дыму-то, дыму!

Михайлов еле-еле открыл глаза, поднял тяжелую голову от подушки и увидел Путилина.

— Позвольте зайти, господин Михайлов? — Тот переступил порог, чрезмерно морщась и топыря губы.— Или я вам помешаю? Тогда извиняюсь.— Он шагнул назад, не сводя глаз с Михайлова, ожидая позволения. А Михайлов сонно на него смотрел, догадываясь, что Путилин ждал ухода Горянского, что передают они Михайлова друг дружке, как тряпичную куклу, потрепать, пока из нее потроха не выпадут.

— Спать днем вредно, господин Михайлов.— Путилин снова перешагнул порог.— А то ночью что будете делать, глаза продавать? Я на одну-с минуту, позволите?

— Да проходите, садитесь,— Михайлов вяло махнул рукой.

— Ну и накурено, ну и надымлено, ад кромешный,— продолжал Путилин, не отходя от порога, плутовато робея.— Вот хожу, смотрю, спрашиваю, нет ли жалоб каких, недовольства содержанием. Обязан-с.

Как будто он не ведал ни сном ни духом, что битый час тут просидел Горянский!

— Не отвечаете. Зря вы так, господин Михайлов,— пожурил Путилин.— Я-то ведь к вам с добром, дай, думаю, зайду, попроведую, один человек сидит, тоска, а в тоске, неровен час, и удавиться можно, да-с. Как вас кормят, господин Михайлов, пирожное подавали?

Может быть, его терзала ущербность, нутряная ненависть к человеку другого склада, уровня?

— А ведь вы издеваетесь надо мной, господин Путилин.— Голос Михайлова от обиды дрогнул.— Скажите, вот вам лично что я сделал дурного, чем досадил вам, ущемил вас?

— Служба-с, служба-с, господин Михайлов.

— Служба заставляет вас подличать?

— Да вроде того, хе-хе.— Он наконец прошел, сел на стул, на котором сидел Горянский. Маленькие умные глаза его смотрели вполне дружелюбно, никакой в них

затаенности, хитрости, он открытее Горянского, простодушнее вроде бы.

— Ведь вы, вероятно, добрый человек, у меня интуиция, но что вас заставляет издеваться сверх всякой службы?

— Помилуйте, господин Михайлов, ну что я вам такого сказал? — сконфуженно протянул Путилин, достал платок и вытер лоб, чрезвычайно огорченный, что так вышло.— Я же ни слова, ни полслова про воззвания, про дознания, я же все о чем попало бороню, вы мне сами благодарны будете, что тоску вашу развеял. Позвольте мне только один вопрос, совсем посторонний, и я уйду. Скажите, господин Михайлов, а правда ли, что некий ваш друг сквозь пальцы смотрит на шалости своей жены? — Посмотрел на Михайлова, не подскажет ли? Он отлично знал и отлично прикидывался, спра-ашивал, расспра-ашивал, вожделенно смаковал: — Да и другие, если поближе глянуть...

Грязный намек выбил у Михайлова остатки равновесия.

— Я убежден, господин Путилин, вы человек неглупый, но что вас заставляет прикидываться дурачком?

— Да вы же и заставляете! И не прикидываться, а в самом деле дурак дураком себя ощущать, поскольку не понять этой свободной любви вашей. Кого ни возьми, все вы свободную любовь проповедуете. Мода, что ли, такая приспичила, поветрие ли какое или, может, в священном писании что предсказано, ну скажите на милость? Так оно теперь и будет развиваться и учреждаться, вы же образованнее многих, господин Михайлов, вас так и зовут творцом женского вопроса в России.

— Вы пошло, низко, варварски судите об отношениях людей, господин Путилин.

— А я с точки зрения простого народа сужу, госпо-

дин Михайлов. У них ведь как, у темных-то? Если жена блудит, так все очень просто, за патлы ее да мордой по полу, вот и вся эманципация. У вас, оказывается, все по-другому. Новые люди! Да вы не серчайте, господин Михайлов, я же из вас жилы не тяну, у нас с вами просто...— Путилин кивнул на шкапчик, где лежали журналы,— ...просто русская беседа.

А ведь он прав, Путилин, вкрадчивый изверг. Русская беседа — разговор палача с жертвой, характеристическая наша особенность, стихия наша, как тут не вспомнить Пушкина: «На всех стихиях человек — тиран, предатель или узник».

— Не понимаю, грешный, объясните мне, бога ради,— вздохнул и развел руками Путилин.

— Не могу я вам этого объяснить. Вы не в состоянии воспринять моего объяснения по причине своей предвзятости, не в состоянии!

— И ведь не случайности тут у вас, будто не знаете! Чужие дети пишутся как свои, а свои как чужие.

— Да вы просто садист, господин Путилин, и не случайность это у вас, а закономерность, потому вы здесь и служите!

— А дети растут, не ведая,— раздумчиво продолжал Путилин, будто сам с собой.— Вырастут, чьими будут? Станут молодым поколением, к которому вы так горячо обращаетесь. Или это не вы?

— Я, представьте себе, я! — Михайлов вскочил с кровати, шагнул к Путилину, скрестил на груди руки. Его трясло.— Я изволил обращаться к молодому поколению, чтобы оно уничтожило всякую мерзость вроде вашей милости! — Он вскинул бороду, намереваясь ею пронзить Путилина, голос его звенел: — На том стою и стоять буду! Что вы на это скажете?

— Да ничего. Дети — наше будущее.

Путилин встал, обошел Михайлова, у двери развер-

нулся, сморщил нос опять, баками шевельнул — завершил визит тем, чем начал.

— А воздух-то, воздух, срамота! — По-лошадиному, без размаха лягнул сапогом дверь, шарахнул так, что Михайлов сгорбился, и закричал через плечо зычно: — Пра-въетрить покой! Знаменитого литератора, пропагатора травим, как комара на болоте, куды годится!

Затопали сапоги туда-сюда, суетливо вбежал солдат с ведром и начал брызгать воду с веника по полу и по стенам, шлепая каплями, за ним прибежал другой солдат, с кружкой, плеснул из нее квасу на горячие кирпичи, окно отворили — и все это безо всякого внимания к Михайлову, будто он здесь кошка или неодушевленный предмет. Потянуло сквозняком. Михайлов запахнул халат и вышел в коридор. Путилин исчез во мраке, растворился, как сатана в преисподней.

Солдаты наконец вышли. Михайлов вернулся в нумер. По полу и по стенам мокрые размахи веника, но и впрямь стало свежее. «Проветрить покой». Казематные нумера у них именуются покоями официально. «Упокой раба твоего...» Сонливость прошла, ложиться Михайлову расхотелось. Они нарочно, умышленно не дают ему спать, чтобы из усталого, раздраженного «покойника» выдергивать все, что им требуется.

Он стал ходить от окна к двери и обратно, считая шаги парами: «И — десять, и — одиннадцать, и — двенадцать...»

Они знают здесь все про всех. Разведывают, разнюхивают, накапливают, а затем каждый факт окунают в помои. И разноликая, яркая жизнь становится у них одного цвета. И запаха. Гоголь для них не совесть России, не друг и ученик Пушкина, а поклонник Булгарина и канцелярист Третьего отделения. Они нагло присваивают себе талант, который вырос и утвердился, противостоя им, вопреки им. Они попирают правду: наше дело-де обла-

горожено великими именами, нам служили те, те, те и те, те, те. А не служат нам одни отщепенцы. Чернышевский не мыслитель, не борец и не властитель умов, он всего лишь адюльтерная жертва, поскольку не желает угождать режиму, православию и самодержавию, блюсти их нравы в обществе и в семье. И если Третье отделение бессильно ошельмовать его мысль и влияние, оно из кожи лезет, чтобы запакостить его личную жизнь.

«Домострой» для филистера — абсолют.

А ведь семейный рыдван в России начал трещать и расшатываться еще в сороковые годы. Невозможность внешней жизни, полицейский глаз за порогом дома заставляли мужчин ударяться в печоринство, в масонские утопии. Но и женщины, задыхаясь в бездуховном быте, искали отдушины и поддавались разным влияниям, впадали в болезненную религиозность или в бездумный жоржзандизм с его романтизмом свободной любви.

«Двести — одиннадцать, двести — двенадцать, двести — тринадцать...» Оскорбленный ханжеством Путилина, он все ходил, ходил, не мог успокоиться и все искал, искал оправданий и возможности опрокинуть сермяжную правоту сыщика — хотя бы для себя. Как было? Да тяжко было, черно, душно. Тирания режима не позволяла приложить силы разума для исторической деятельности. И чем больше внешнее сжатие, тем собраннее энергия внутри, острее жажда перемен в пределах доступного. Если не действуешь вопреки государственному строю, так действуй хотя бы вопреки «Домострою». Деспотия власти словно бы стыдила, корила, вопрошала мужчин: а сами-то вы каковы, семейные державцы?

«Триста — двадцать, триста — двадцать один...»

Ян Савицкий, поляк, полковник генерального штаба, совсем молодой, тридцати еще нет, полюбил Ольгу Сократовну, и она ответила ему взаимностью. Савицкий уговаривал ее бежать из Петербурга за границу. Она при-

валась во всем Чернышевскому. А что он, муж? «Ты свободна в своем выборе. Поступай, как сама хочешь». А ведь он любит ее. Как-то сказал Михайлову: «Не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами». Говорил с усмешкой, человек на редкость твердой выдержки, скрывал страдание, но молчать не мог, все-таки поделился. Горе для него — увлечение жены Савицким, но достойный муж не должен неволить жену, ибо без свободы личной никакой прогресс невозможен.

Разлады в банальных семьях, лицемерие, растлевающее душу, ложь на каждом шагу — все это заставляло благородные сердца искать выход и, может быть, ошибаться, впадая в крайности.

«Никогда не любили так благородно, так бескорыстно, как в наше время,— вспоминал Чернышевский.— Никогда не любили так независимо от пошлостей, против которых еще долго будет надобно бороться любви»...

«Четыреста — девяносто, четыреста — девяносто один...»

Опять заскрежетал ключ в двери, и вошел Самохвалов, держа перед собой уже не судки, а кастрюлю.

— Такая у Зарубина капитанша милосердная,— объяснил унтер, наливая в чашку наваристые щи с мясом.— Сам капитан поздно обедает, так она заодно и для вас постаралась. Вы много огорчаетесь, ваше благородие, так вы не огорчайтесь, что ни бог, подержат да выпустят. У нас иные по десяти месяцев сидели и на волю выходили, что ни бог, ваше благородие.

Михайлову стало легче и от забот неведомой капитанши, и от хлопот Самохвалова, ухаживал за ним, как за дитем, готов был из ложки его кормить.

— Спасибо тебе, Самохвалов.

— Что ни бог, ваше высокоблагородие, что ни бог...

Он ушел, унес посуду, и снова мрак обступил Михайлова. «И — раз, и — два, и — три...» Горянский и Путилин провокируют его примитивно и нагло, а он поддается,

хватает их крючки вместе с наживкой. И вытаскивают они признание за признанием. Стало до того обидно за свою податливость, что запекло веки, вот-вот слеза выкатит.

«Девяносто — девять, и — сто, сто — один...»

Он готов к борьбе с ними, но к борьбе открытой, нравственной, а не хамской, без подковырок. Однако же у нравственности нет тактики, дипломатии, она вся на виду, открыта, как лицо человека.

А у них личина и под ней тактика, и хитросплетения ее ставят перед Михайловым требования вразрез с его природой, с его прямодушием, цельностью. Либо он должен такого себя переделать, либо... они своего добьются.

Преодолеть себя прежнего. Иначе обречен. Не вывернуться ему. Не дадут покоя, пока не выпытают. Так и будет он шаг за шагом признаваться во всем.

«Триста — двадцать... Триста — тридцать...»

На ночь Самохвалов принес ему в мензурке опиумной настойки.

Утром первым пришел Путилин, деловой, без прибауток, во фраке, со Станиславом на шее и с портфелем под мышкой. Поставил портфель на шкапчик, расстегнул его, запустил руку внутрь и, косясь выразительно на Михайлова, словно заклинатель змей, потянул из портфеля и вытянул бархатный рукав с ручкой на конце и печаткой.

— Знакома вам эта вещь?

— Нет, не знакома,— сразу ответил Михайлов, отмечая свою твердость.

Путилин пожал плечами, свернул печатку и сунул обратно с видом обиженно-торгашеским, дескать, не покупаете — не надо, другому продам, а вещь стоящая; взял

портфель под мышку и пошел было к двери, но с полдороги вернулся, будто спохватился, и снова полез в портфель — не угоден ли другой товарец? Коробейник, провалиться бы тебе, офеня! Достал конверты, рывком поднес один из них к лицу Михайлова.

— Вы писали?

Михайлов узнал конверты своих писем Костомарову в Москву и согласно кивнул. Путилин, как фокусник, перевернул конверт и — снова к лицу Михайлова.

— А это что?

Михайлов увидел сургуч с четким следом печатки Людмилы Петровны и почувствовал, что краснеет.

— Ай-я-яй.— Путилин покачал головой, назидательно проговорил: — Нельзя так, господин Михайлов. Вот это же ваша рука.— Он поскреб ногтем по лицевой стороне конверта с адресом, перевернул его и постучал ногтем по сургучу: — А вот это печатка полковницы Шелгуновой. Письма нами изъяты в Москве при обыске у Костомарова, а печатка изъята при обыске в вашем доме. Нехорошо, господин Михайлов.— Он засунул конверты в портфель, посмотрел на Михайлова, покачал головой и ушел.

Такой он благодушный, свойский, вовсе и не сыщик, упаси боже так на него подумать, гляньте на него, люди добрые, разве он способен на хитрость-подлость? Да не приведи господь! Не сыщик он и не пристав, а так, хохол с ярманки, ему бы сало продать повыгоднее да «За гаемгаем» спеть, а вы, господа хорошие, так и норовите надуть его и всю песню испортить.

Ясно, они с Горянским разделили обязанности. Путилин то намеками, то прямо ведет дознание о причастности к делу Людмилы Петровны («возьмите письма у графа», пытка его, выпытывание о женах и детях), а Горянский о связях с Лондоном, с Костомаровым и московскими студентами.



Вскоре после ухода Путилина Михайлова позвали в экспедицию.

— Нравственное убеждение Третьего отделения в вашей виновности настолько сильно,— внушительно заговорил Горянский,— что мы употребим все средства, чтобы добраться до конца в своих открытиях.

«Открытиях!»

— Да может ли быть нравственным ваше убеждение, добытое безнравственным путем?

Горянский замялся, понял, опять не с той ноги заплясал, с литератором нужно выражаться точнее. Вытащил на стол печатку с бархатом, выложил письма к Костомарову.

— Чьи это письма, господин Михайлов, и чья это печатка?

— Вам хорошо известно и то и другое, не ломайте комедии, господин Горянский. Вы свои письма можете запечатывать концом ножа, а я предпочитаю печатку.

— Она принадлежит полковнице Шелгуновой, не так ли?

— Вы производили обыск в квартире Шелгуновых, и вам ничего не стоило их вещи присовокупить к моим.— Вы хоть тресните, господа, а он будет отпираться. Пластуйте его на блины, а других он выдавать не станет! — Так и запишите в своих протоколах: вещь, взятая у госпожи Шелгуновой, присовокуплена к вещам Михайлова, дабы замешать в дело как можно больше невинных лиц.

— Вы неверно понимаете нашу задачу,— холодно возразил Горянский.— Значит, вы настаиваете, что печатка Шелгуновой присовокуплена к вещам Михайлова?

— Настаиваю.

— Вы можете пожалеть об этом. Дело в том, что эта печатка наличествует на конвертах значительно более важных.

Михайлов побледнел, догадываясь, на каких конвертах.

— Покажите их мне.

— Покажем, когда сочтем необходимым. А сейчас извольте ознакомиться с ответами Костомарова на предложенные ему вопросные пункты.

И опять молодой друг загонял Михайлова в тупик. На вопрос, глупый, кстати сказать, зачем Костомаров предупреждал Михайлова письмом, следовал такой ответ: «Затем, чтобы Михайлов, получивши письмо, уничтожил все экземпляры, и тогда, если б письмо и попалось в руки полиции, то нельзя было бы никак догадаться, о чем идет речь». Ответ вроде бы честный, но тоже удивительный в своем простодушии, будто обе стороны сговорились. Не похоже на Всеволода Дмитриевича.

Следующий вопрос выглядел еще тупоумнее: зачем Михайлов привез с собой воззвание? Но и ответ стоил вопроса: «Вероятно, конечно, не с тою целью, чтобы оклеить экземплярами воззвания стены своего кабинета вместо обоев».

Впрочем, дурацкие их вопросы выглядят таковыми умышленно. Они же не спрашивают: привез ли Михайлов? Они утверждают: привез, только ставят впереди закорючку: зачем? Будто и так не ясно. И Костомаров отвечает по существу, опять честно и опять...

Да ведь они не только к Михайлову ходят вытягивать жилы! Они и к Костомарову ходят поочередно для «приватной», «частной», «неофициальной» беседы! Они и ему мотают душу набором гадостей, продуманных, подобранных и подаваемых словно бы вскользь, между прочим. Михайлов постарше, и то не выдерживает, а Костомаров молод...

— Мне нечего добавить к тому, что я сказал прежде! — отчеканил Михайлов и вернул бумагу Горянскому.— Ответы Костомарова получены вами таким же небла-

говидным путем, как и его письмо. Вы его вынудили писать неправду.

— В таком случае, господин Михайлов, поговорите с ним сами.— И Горянский распорядился привести Костомарова.

О чем же с ним говорить? Да еще в присутствии Горянского. Прежде всего надо приободрить: «Не волнуйтесь понапрасну, Всеволод Дмитриевич, все обойдется, что ни бог...» — как утешает его Самохвалов. Удивительно, до чего привязчивы соболезнующие слова, особенно совсем пустые. Какой смысл в этом «что ни бог»? Ни одна беда без него не обходится, так что ли?

Костомаров вошел не один, а в сопровождении Путилина, поклонился Михайлову, но уже без улыбки, глаз не поднял, и выражение его лица было обиженным: «Вы втянули меня». Вид его встревожил Михайлова.

— Господин Костомаров, ответьте на мой вопрос прямо: кто составил воззвание «К молодому поколению»? — спросил Горянский.

Это называется «поговорите с ним сами».

Костомаров молчал, и видно было, что он не раздумывает, а молчит умышленно, будто обет взял, и ни прямо, ни косвенно отвечать не намерен.

— В опросном листе вы пишете о воззвании, называя его «брошюрой Михайлова», значит, это его брошюра, им составлена?

Костомаров высокомерно дернулся.

— Говоря про этот стул, на котором вы сидите,— он небрежно махнул рукой, показывая,— что этот стул ваш,— он подчеркнул «ваш»,— я не хочу сказать, что он сделан вами или вам принадлежит. Этот стул канцелярии Третьего отделения.

Что же, не так уж плохо, Всеволод Дмитриевич, если проболтался, так хоть выкручивайся.

Горянского его ответ не удовлетворил.

— Вы говорили в Москве своим друзьям и знакомым, что в сентябре месяце можете добыть сколько угодно экземпляров воззвания «К молодому поколению»?

Костомаров молчал. Вмешался Путилин.

— Господин Костомаров только что подтвердил это.— Он повернулся к Костомарову и, приседая перед ним, заглядывая в глаза, пристал: — Ведь говорили вы сейчас мне об этом? Господин Костомаров, ну? Говорили, что же вы молчите?

Костомаров от него отвернулся, пробормотал:

— Говорил...

— Что именно говорили? — подталкивал его Путилин.— Ну, господин Костомаров? Что именно?

— Смогу добыть сколько угодно экземпляров,— глухо ответил Костомаров. Перед Путилиным он как лягушка перед удавом.

— Всякому из нас случалось в разговоре преувеличивать,— вмешался наконец Михайлов и обратился к Костомарову: — И вы, наверное, не станете утверждать, что говорите правду?

Костомаров вспыхнул:

— Вы хотите, кажется, свалить все на мою голову? Валите, валите!

Вот это уже полная неожиданность!

— Я ничего на вас не валю, напротив, все, что касалось меня в вашем деле, я объяснил, хоть и со вредом для себя.

— В моем деле! — воскликнул Костомаров, непонятно отчего озлобясь.

— Говорите, господин Костомаров, говорите! — подхватил Горянский, словно боясь, как бы у того не пропал голос.

— Да что мне говорить! — Лицо Костомарова нервно кривилось, голова дернулась в сторону Михайлова, хотя

глаз он так и не поднял: — Он хочет играть роль невинной жертвы. Ну обвиняйте меня!

— Нам не обвинять нужно, а узнать истину,— осторожно поправил его Горянский.— Продолжайте, господин Костомаров, прошу вас.

Тот молчал. Его снова подтолкнул Путилин:

— Господин Костомаров, вы как будто испугались чего? На вас это совсем не похоже, молчать со страху.

— Не удивительно, что я молчу! — резко сказал Костомаров.— А удивительно, что молчит он.— И театрально показал на Михайлова, будто не ясно, о ком речь.

— Что такое вы сказали?! — воскликнул Горянский не менее театрально.— Это замечание важное, и вы должны записать его!

«Да что в нем важного?»

Костомаров стоял возле конторки, Горянский заспешил к нему с бумагой и с пером в руках, выглядело все это мизансценой, отрепетированной загодя.

— Вы должны это записать,— потребовал Горянский, подавая перо. Костомаров отворачивался и пера не брал.— В ваших словах намек очень серьезный, он должен быть разъяснен.

— Господин Костомаров никогда не покажут несправедливо,— льстиво сказал Путилин.— Я их довольно знаю по Москве.

— Пишите же, господин Костомаров. Как это вы сказали? Не удивительно, что молчите вы, а то удивительно, что молчит господин Михайлов. Извольте же написать эти слова.

Горянский совал ему перо тычками, как кинжал самоубийце, а Костомаров отворачивался, все больше сутуля спину, стриженая жалкая голова ушла в плечи. А каким бравым корнетом пришел он к ним меньше года назад, смельчаком, умницей, обличителем лихоимской власти, и

как полюбили его все, а теперь?.. «Тиран, предатель или узник».

Костомаров принял перо. Стыд опалил Михайлова, родовой стыд за племя человеческое, невозможно стало ему терпеть сцену дальше.

— Отвяжитесь от него, господа! — звенящим голосом воскликнул Михайлов.— Оставьте его в покое! Вам уже известно, это я отпечатал воззвание! Я привез его в Петербург. И не десять экземпляров, и не двадцать. Не сорок и не пятьдесят! — Спазма перехватила дыхание, он положил руку на горло.

— А сколько же? — мягко вставил Путилин, совсем не теряясь от его вспышки, спокойно загибая восклицательный знак Михайлова в вопросительный.

— Я привез их сто! Сто пятьдесят! Двести! Я распространил воззвание по всему Петербургу. Оно стало известно всей России. Я добился, чего хотел, господа, и презираю вашу жалкую торговлю без чести и совести, ваши принуждения и приставания к человеку слабому и сломленному!

Костомаров закрыл лицо руками, перо упало, мелькнув зигзагом, как с общипанного гуся, и пошел к окну, на ходу сгибаясь, не отрывая рук от лица, опустился на стул и зарыдал.

— Ко мне пристают... С утра до вечера...— Плечи его тряслись.— Мать моя в горячке...

Путилин налил воды в стакан, подошел к Костомарову, прося его выпить. Костомаров отпил глоток-другой — жалкий, борода мокрая, бледные кисти дрожат.

— Я не могу говорить... Я хотел бы уйти.

— Можете уйти, можете,— охотно разрешил Горянский.

Костомаров поднялся, глядя в пол, и пошел. Путилин, словно больничная сиделка, услужливо засеменил с ним рядом.

Они сломили его, они любого сломят, у них есть опыт пытошный и традиция, они ломали и не таких. Как два коршуна на цыпленка, набросились они на Костомарова и долбят его и выдолбят из него все, что он знает и даже чего не знает, а лишь может предполагать.

Горянский помолчал сурово, как будто тоже удрученный тяжелой сценой.

— Все-таки я вынужден вернуться к делу, господин Михайлов, и просить вас, чтобы вы написали то, что сейчас сказали. Я понимаю, вы сгоряча, но сказали правду. Так и напишите, что вы привезли двести, или сколько там, точнее, экземпляров.

— Мне мало вашей арифметики, господин Горянский, я напишу все, что нахожу нужным. Только у себя в нумере. А отвечать на ваши вопросы сейчас не стану.

В каземат его повел новый дежурный, молодой улан с пушком под носом. Михайлов шел и радовался непонятно чему и, придя в нумер, первым делом попросил Самохвалова принести обед. Лицо унтера просияло.

— Я ведь говорил, ваше высокоблагородие, что ни бог, что ни бог. Сказали, что выпустят?

Михайлов невольно рассмеялся.

— Да нет, Самохвалов, стало хуже, чем было.

— Что ни бог...— забормотал унтер, не понимая шального посидельца.

Чему он радовался? Тому, что спас Костомарова от предательства, это во-первых. Не унизился перед ними, во-вторых. И в-третьих, он будет диктовать им свою волю отныне. Неважно, чем это для него обернется, если и злом, так только для него одного. И ни для кого больше! «Одна голова не бедна, а и бедна, так одна». Он будет им диктовать, а они пусть алчно наматывают-мотают, роняя слюну, плетут-заплетают, им его не сломить, не запугать. Они показали ему, во что превратили молодого корнета, смельчака, честолюбца и не глупца, живой урок

преподали, результаты своих черных стараний: «И ты таким будешь». Нет-с, милостивые государи, таким я не буду!

Михайлов его знал другим. И любил его прежде. Да и все к нему были внимательны, и Шелгуновы, и Чернышевский. В Петербурге он появился зимой, не то в январе, не то в феврале, с письмом от Плещеева в «Современник»: примите молодого поэта и способного полиглота, он говорит и пишет на всех европейских языках, изучал санскрит. Костомаров отыскал Михайлова сначала, признался, что хорошо знает и высоко ценит его переводы. Они быстро сошлись. Михайлову тоже понравились переводы корнета, лаконичные, ясные, к примеру, вот как он переложил строфу из «Двух рыцарей» Гейне: «На одной квартире жили, на одной постели спали; те же мысли, те же блохи бедных взапуски терзали!» Но тут же обнаружилось, что корнет хорош не только своим талантом поэтическим, оказалось, он жаждет и другой деятельности и уже кое в чем преуспел. Костомаров привез с собой отпечатанные типографски противуправительственные стихи с набранной внизу подписью: «Всеволод Костомаров». Это воодушевило Михайлова и Шелгунова, они поехали к Чернышевскому с новостью: есть возможность заполучить в свое распоряжение типографию! Были написаны воззвания «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и «Русским солдатам от их доброжелателей поклон». Костомаров взялся их изготовить. Чуть позднее составили «К молодому поколению», но, поскольку печатание первых воззваний шло ни шатко ни валко, Михайлов решил поехать в Лондон и «К молодому поколению» напечатать у Герцена...

Он писал в Москву Костомарову хорошие дружеские письма. Писала ему Людмила Петровна, писал Шелгунов и даже рисовал в письме шутливые картинки из заграничной жизни. Писал ему и Чернышевский, заботясь о нем,

приглашая в Питер, где хотел устроить его преподавателем в кадетский корпус, в котором сам преподавал прежде. Переводы Костомарова напечатали в седьмой книжке «Современника», его заметили... и вот...

Не хотелось Михайлову осуждать Всеволода Дмитриевича, хотя он и двуликий Янус, в присутствии Михайлова молчит, держится, а в отсутствие несуразно отвечает на вопросный лист.

Самохвалов принес кастрюлю, нахваливая милосердную капитаншу. Ушел добряк унтер, закрыл дверь, и через стекло хорьком зыркнул остроносый солдат — уже другой лик.

Янус у древних римлян — божество двери, бог входа и выхода, начала любого действия. А действие в своем развитии воздействует на людей во времени. «Только глупец один не изменяется,— говорил Пушкин,— ибо время не приносит ему развития, а опыта для него не существует».

Древние жили в эпосе, когда мир един, не распался на часть и целое, на Я и общество, и в двуликости Януса был глубокий смысл — двуединство и противоречие бытия, прими его в цельности, человек. А мы стали жить в драме, противясь бытию, дорожа собой, божество принизили, и двуликость стала чревата угрозой худшего, изменой мне, одноликому.

В последний раз Костомаров приезжал в Петербург 20 августа. Тогда у них состоялся примечательный, как теперь оказалось, разговор, но Михайлов, еще не остывший от заграницы да заваленный срочной работой для «Энциклопедического словаря», был мало внимателен, не придал значения словам молодого друга, и зря, следовало бы и внимание обратить, и значение придать, он только теперь это понял.

Костомаров жаловался на безденежье. Понадеялся на литературный заработок, вышел в отставку и просчитал-

ся. А на его плечах мать, сестры и брат Николка, гадкий юноша, вымогатель. «Один я бы смог перебиваться с хлеба на воду, но я не могу видеть, как матушка нашивает заплатку на драный рукав младшенькой, а слезы капают па шитье». Как всякий самолюбивый, он преувеличивал свою беду. А Михайлов и сам в долгу как в шелку, поистратился за границей, но все-таки сыскал для Костомарова немного денег. Мрачность его от этого не уменьшилась, и он продолжал говорить, что впереди мрак, воззваний так и не удалось напечатать, нет возможностей для борьбы, одни только жандармы и могут жить в нашей богом покинутой стране. Михайлов пытался его успокоить, дела молодого поэта не столь уж плохи, он печатается в журналах, его привечают в «Современнике» и хлопочут о нем, в то время как другие молодые литераторы годами ничего не могут пристроить, а он сразу замечен, и дело у него пойдет.

«Пойдет,— согласился Костомаров сумрачно,— если не остановит Третье отделение. В Москве за всеми следят и уже есть аресты среди студентов. А брат Николка требует полтораста рублей выкупу, иначе пойдет с доносом. Что мне делать? Уйду в жандармы и начну действовать в духе Конрада Валленрода»,— сказал Всеволод Дмитриевич. Вот тогда Михайлов показал ему лист — убедить, что борьба возможна.

Надо ли было открываться человеку в таком состоянии духа? Михайлов посчитал — надо, это взбодрит его, вселит новые силы. Но на Костомарова лист подействовал иначе. Предложение Михайлова взять для Москвы сто экземпляров он отверг без всяких яких, повторив, что Николка грозит доносом.

Теперь вышло, что Михайлов проявил беспечность тогда. Но он все-таки надеялся подбодрить друга, поделиться с ним радостью — отпечатанным у Герцена листом, который перевернет Россию.

А далее все выстроилось и заплелось звено в звено — Николка донес, за Костомаровым установили слежку, онее почуял, пытался предупредить Михайлова и написал письмо, а оно оказалось в лапах Третьего отделения.

Костомаров допустил промах, но ведь и ты, Михайлов, не ума палата — сказал о десяти экземплярах на самом первом допросе. Зачем? У них не было никаких доказательств твоей причастности к листу, у них и сейчас их нет, самого листа у тебя не нашли, но ты сказал, ты признался. Почему и зачем?

Не кори себя понапрасну. Потому и затем, что умолчание о листе сохраняло угрозу для других. На Шувалове приказ Долгорукова от имени государя: найти и пресечь. Они арестовали бы Людмилу Петровну, арестовали бы Шелгунова, неизбежно потянулась бы нить к Чернышевскому, за ним следят с весны. Стоическое, героическое твое молчание привело бы к большой беде, и ты это понял сразу, и не разумом, как сейчас, а сначала сердцем, оно тебя не подвело.

Тут и Костомарова понять можно: «Валите все на меня, валите!» Упереться, молчать и все отвергать значило бы взвалить вину на другого, поскольку лист есть. И если правде в глаза — без Михайлова его бы не было!

Костомаров теперь пытается вывернуться, но тщетно, тут не богадельня, грехи замаливать, если сказал «а», они вытянут из тебя «б» всеми правдами, но больше неправдами. И потому Михайлов бросился ему на выручку — и спасти его, и отвести его.

Костомаров пытается говорить правду, но какую? В свою защиту. А сказать правду в свою защиту в стенах Третьего отделения непременно означает привлечь других. Здесь особая логика: скажи, как оно есть на самом деле,— и ты предашь ближнего своего. Герцен прав: в Петропавловской крепости меняются не только образы мыслей, но и образы мыслителей.

У Костомарова одна молитва — о прошлом, сказать, как было. У Михайлова совсем другая — о будущем, утверждать, как должно быть. Никто не должен страдать!

А ему придется. Ибо истина только в одном — брать все на себя. Костомаров этой истины принять не захотел, да и не мог по совести, и потому он грешник, мученик, а Михайлов берет, и потому праведник.

Он сел к шкапчику, взял перо, придвинул чернильницу.

«Понятное чувство самосохранения заставляло меня сначала стараться по возможности отклонить от себя хоть часть падавших на меня обвинений в привозе из-за границы и распространении здесь печатного воззвания «К молодому поколению»; но, видя тяжкое нравственное состояние г. Всеволода Костомарова, перехваченное письмо которого выдало меня, видя, как его мучит невозможность выгородить меня из этого несчастного дела, я считаю противным совести скрывать далее истину.

Вот как было дело.

Весною нынешнего года я отправился за границу с единственною целью — отдохнуть хоть немного от постоянных усиленных литературных занятий. Я поехал с семейством Шелгуновых, с которыми жил в Петербурге вместе; но в Германии простился с ними и посетил уже один сначала Голландию, потом Англию. Здесь, в Лондоне, я виделся довольно часто с Герценом и Огаревым, с которыми давно уже знаком.

Однажды в разговоре с ними по поводу цензурных стеснений я выразил мысль, что смягчению их содействовало бы усиление тайной прессы в самой России. Разговор невольно перешел к возможности печатать за границей издания с обозначением на них, что они печатаны в Петербурге. Тогда Герцен предложил мне написать для опыта статью с этой целью.

Так как в течение всей моей почти пятнадцатилетней

литературной деятельности это был первый опыт написать что-либо политического содержания, то опыт вышел крайне неудачен, и из нескольких страниц, набросанных мною, не осталось и половины в воззвании «К молодому поколению»,— так что я не мог бы по совести никак выставить под ним своего имени, если бы оно, по содержанию своему, могло быть напечатано в России явно.

Лист «К молодому поколению» тогда же был напечатан — сколько мне известно — в очень незначительном количестве экземпляров, но в каком именно, не знаю. Знаю лишь то, что я не мог и этого количества взять с собою вполне, как потому, что мне нельзя было бы провезти его на себе, не возбуждая подозрения в таможне, так — еще более — потому, что мне не было бы возможности распространить его без чьей-либо помощи, а я твердо решился не втягивать никого в это опасное дело. Таким образом, я взял с собою двести пятьдесят экземпляров.

Срочные работы по изданию «Энциклопедического словаря», в коем я участвую как один из редакторов, заставили меня вернуться в Россию ранее, чем я думал, и из Лондона я, почти не останавливаясь, проехал чрез Париж и Штетин в Петербург.

Тотчас же по приезде сюда я занялся приготовлением к распространению листа «К молодому поколению», не говоря о том никому ни слова...

Будучи совершенно один в доме, я мог очень удобно приготовить все к сентябрю, как было мною решено. Небольшую долю экземпляров — сколько помню, никак не более тридцати пяти-шести — я разложил по одному в пакеты и сделал адресы, наудачу, по адрес-календарю, изменяя по возможности свой почерк и разнообразя его. Затем около двухсот экземпляров разложил в двадцать пакетов большого размера — по три, по пяти, по десяти и по пятнадцати на пакет (их лишь впоследствии надпи-

сал я карандашом), с тем чтобы разнести их по редакциям разных журналов и по некоторым более или менее известным мне лицам, коих квартиры я знал.

Мне хотелось сначала послать часть в Москву; но я не знал, как это сделать, не отправляя по почте. Случайный приезд в Петербург г. Костомарова дал мне мысль, что он мог бы отвезти туда какую-нибудь долю экземпляров. Я, вполне полагаясь на его скромность, решился предложить ему это. Он, однако, не согласился — и ни одного экземпляра от меня не взял.

1 сентября был у меня произведен полицейский обыск, во время которого сверток с воззванием лежал в печи в моем кабинете, под золой и ненужными рваными бумагами. Так как воззвание напечатано на весьма тонкой бумаге и было хорошо спрессовано, то спрятать его было не трудно. К печке было придвинуто кресло. После обыска я думал, было, сжечь все и, вероятно, сделал бы это, если бы знал, что арестован Костомаров, единственный человек, слышавший от меня, что у меня есть экземпляры листа «К молодому поколению».

На другой же день, вечером, я отправил по городской почте пакеты, ходя большею частью пешком и отдавая по два и по три в мелочных лавочках, где принимается городская корреспонденция. Это взяло у меня не особенно много времени.

Так же не много понадобилось мне времени и в два следующие вечера для развозки больших пакетов по разным редакциям и другим лицам...

В провинцию не посылал я ни одного экземпляра; но по окончании распространения отправил четыре экземпляра в штемпельных кувертах по городской почте к некоторым из высших правительственных лиц.

Таким образом, все было кончено мною в первые четыре дня сентября: так именно советовал мне сделать Герцен, и так я обещал ему.

14 сентября был у меня произведен новый обыск, и меня арестовали.

Вот чистосердечное признание мое во всем, касающемся привоза и распространения листов «К молодому поколению».

Мне остается теперь объяснить побуждения, которые заставили меня так действовать.

При распространении листов «К молодому поколению» мною руководила, как я уже упоминал выше, мысль, что усиление тайного книгопечатания в России должно непременно иметь влияние на ослабление цензуры. «Таким путем,— думал я,— начиналась свобода слова везде; а эта свобода составляет теперь всеобщее желание. Та горечь, то ожесточение, которые невольно проявляются в вещах, печатаемых тайно, которые проявились в листе «К молодому поколению» (хотя, повторяю, в большей части независимо от меня), становятся уже невозможны, когда допущено свободное гласное обсуждение всех вопросов; но пока его нет, они нужны как более сильное средство». В этом убеждении я думал, что распространение листа «К молодому поколению», даже и в таком малом количестве экземпляров, приблизит хотя немного возможность говорить в печати с большею свободой, чего, как писатель, я не могу не желать пламенно.

Не скрою, что выйти из сферы моей обычной скромной деятельности заставили меня горькая боль сердца при вести о печальных случаях усмирения крестьян военною силой и опасения, что эти случаи могут долго еще повторяться в будущем. Невозможность прочного примирения враждебных партий и интересов без печатной гласности поддерживает во мне и теперь эти печальные опасения. Они тем сильнее, что в них участвует не одна моя мысль, но и самое сердце. Покойный отец мой происходил из крепостного состояния, и семейное предание глубоко запечатлело в моей памяти кровавые события, местом которых

была его родина. По беспримерной несправедливости, село, где он родился, было в начале нынешнего столетия подвержено всем ужасам военного усмирения. Рассказы о них пугали меня еще в детстве. Гроза прошла недаром и над моими родными. Дед мой был тоже жертвою несправедливости: он умер, не вынеся позора от назначенного ему незаслуженного телесного наказания. Такие воспоминания не истребляются из сердца.

Я высказал все...»

Он уснул в первый раз спокойно, не просил настойки у Самохвалова, и во сне видел длинную степь и бегущих по ней гривастых коней.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Я остриглась, прощайте, мои косы русые, мне вас не жалко! Мне жалко бабушку Елизавету Тихоновну. Она почернела от огорчения. Мы все ее успокаиваем, мать говорит ей по семь раз на дню: «Да ведь она в университет пойдет, а там все одинаковые, такое сейчас молодое поколение». А бабушка вопрошает: «Зачем девице университет, лихо его ешь? Может, она еще в казарму пойдет? И шишак на стриженый свой кочан напялит?» Одно время она совсем перестала ездить к нам,— «не хочу знаться»,— но потом зачастила, полагая, что в отсутствие ее творятся сплошь безобразия. А у нас и в самом деле что ни день, то новость. Теперь я в обращении с отцом и с матерью перешла на «ты», причем отец сам предложил нам такую методу. «Нынче только низы выкают да жеманятся: маменька-папенька»,— сказал он, и сразу всем троим стало свободнее. Отца я зову папой или отцом, а maman мамой или просто матерью. Бабушка и слышать того не может, а отец оправдывается: «Сверху, матушка, сверху идет».

Все это было бы смешно, когда бы не было так груст-

но. Я вижу ее горе истовое, неподдельное. «Зачем я дожила до такого сраму? — говорит бабушка.— Лучше бы мне умереть вовремя». Она не может никак принять стремительной новизны, а новизна всюду вокруг нас. Прежнего уже не вернуть, а нынешнего бабушке никак не понять, это ее удручает, создает у нее чувство понапрасну прожитой жизни. Одним словом, нет повести печальнее на свете, чем повесть о моей Елизавете. «Глаза бы мои не смотрели»,— говорит бабушка про мою одежду. А мы все, вольнослушательницы университета, Антонида Блюммер, сестры Корсини, Глушановская и я, все как одна, ходим в камлотовых юбках, в гарибальдийках и с кожаным кушаком. И все одинаково стриженные!

Уже наступил сентябрь месяц, мы с нетерпением ждем начала занятий, а объявления все нет и нет. Зато полно всяких слухов о новых правилах для студентов — и то запретят, и энтого не позволят. Мы же прежде всего опасаемся, что девиц не пустят в университет, как в Москве.

Слухи могут подтвердиться самые нежелательные, поскольку министром народного просвещения сейчас адмирал Путятин, а попечителем учебного округа в Петербурге кавказский генерал Филипсон. Чего можно ожидать от генерала и адмирала, кроме запретов и армейских порядков? Хотелось бы спросить правительство: кого готовит университет, в конце концов? Разве мало вам всяких пажеских, кадетских корпусов, артиллерийских, горных и морских училищ?

Кроме слухов о новых правилах ходят слухи, и, к сожалению, достоверные, о новых арестах. Подтвердилось, что в Москве арестованы студенты университета, заведшие вольную типографию. Арестован также в Казани профессор Щапов за речь на панихиде по расстрелянным крестьянам, но теперь, говорят, выпущен по велению

самого государя (к нему обратился с просьбой Тургенев) и будто бы пьет горькую в Петербурге, опасаясь возвращаться в Казань, где его обратно заарестуют. А теперь новый слух — будто бы арестованы Михайлов, Чернышевский и Некрасов, а Добролюбов оставлен из-за болезни. Но вчера мы были у Вени Михаэлиса, собрались одни девицы, и Блюммер, и другие, душ восемь, и вошел Михайлов, такой элегантный, модный, манишка с коротким воротником, парижский галстух, веселый такой вошел — в цветник попал! Говорит, что все враки. Россией попрежнему правят два Александра, то есть царь и Герден, и три Николая: Чернышевский, Добролюбов, Некрасов. А что касается Михайлова, так он, числясь в крепости, жуирует с девицами из университета (и они строят ему глазки, о чем я могу и по себе судить). Он весьма интересно рассказывал о Париже и о Прудоне, написавшем книгу «О справедливости в революции и в церкви». Прудона приговорили к трем годам тюрьмы за эту книгу, но он сбежал в Бельгию, а жаль, следовало бы ему посидеть в тюрьме только за одно то, что в семье, как и в обществе, по его мнению, мужчина относится к женщине, как три к двум. Но и Бельгия не спасла Прудона, возмущенные дамы забросали его письмами, брошюрами и даже книгами с возражениями и критикой, после чего он убедился, что в поношениях женщина отнюдь не уступит мужчине, а даже превосходит его. «Вам тоже надобно забросать славянофилов памфлетами и фельетонами,— сказал Михаил Ларионович,— чтобы они перестали кричать о недопущении девиц в университет. Если вы будете молчать, то камни возопиют». Он наш защитник и наша опора. Все мы хорошо помним его знаменитые статьи и всюду его цитируем: «Вы хотите видеть между женщинами Галилеев и Гумбольдтов, а запираете от них двери коллегий, университетов и академий... Для того чтобы снять с полки древний фолиант или навести аст-

рономический инструмент, силы нужно гораздо меньше, чем на один круг вальса». Разве это неверно? «А одна бессонная ночь среди шаманского кружения бала едва ли не стоит целой недели усидчивого кабинетного труда». И это правда.

А занятий все нет. И слухи все тверже: будто бы каждому студенту должны выдать матрикулы. А девицам?

Сегодня мы собрались в актовом зале и произошло необычайное, историческое событие. Оказывается, с утра в шинельной, на том месте, где швейцар Савельич вывешивает списки студентов, которым пришли почтовые повестки на получение денег, появилось воззвание на белоснежной бумаге. Один из студентов старшего курса (кажется, его фамилия Неклюдов) снял его, и, когда все гурьбой вошли в актовый зал, этот студент взобрался на стол с красным сукном и золотой бахромой и начал читать. Он стоял величественно, как Байрон, и не читал, а вещал! Меня до сих пор лихорадит, и по спине мурашки. Мы слушали совершенно новые, неслыханные слова и мысли! Ничего подобного не было ни в «Колоколе», ни в «Полярной звезде», ни в рукописных тетрадках потаенной литературы. Со стола, покрытого красным сукном, звучал прямой призыв к восстанию! Все слушали затаив дыхание, глаза сверкали. Был подъем духа, был восторг. Длилось чтение долго, это целая брошюра, и просто удивительно, что за все время не заглянуло начальство в актовый зал, не знаю, что бы тут было.

Мы радуемся тому, что под носом у адмирала и генерала гуляет по белу свету обращение к нам, к молодому поколению, к надеждам России. Мы переписали тайком наиболее примечательные места воззвания, чтобы передать другим и сохранить на века! Вот строки, особенно нас касающиеся:

«Обращаемся еще раз ко всем, кому дорого счастие России, обращаемся еще раз к молодому поколению. Довольно дремать, довольно заниматься пустыми разговорами, довольно бранить правительство втихомолку или рассказывать все одни и те же рассказы об одних и тех же плутнях разных Муравьевых. Довольно корчить либералов, наступила пора действовать...

Если каждый из вас убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко. Но этого мало. Готовьтесь сами к этой роли, какую вам придется играть; зрейте в этой мысли, составляйте кружки единомыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, число кружков, ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников 14 декабря! Ведь в комнате или на войне, право, умирать не легче!»

Все мы в большом восторге от обращения к нам, у всех будто развязались языки и спала пелена с глаз. Студенты поговаривают: «Теперь и нам надобно завести свою Акулину» (типографский станок).

14 сентября войдет в историю как черный четверг. Арестован Михайлов, и это уже не слухи, а правда! За что? Весь Петербург встревожен. Если арестовали Михайлова, всем известного литератора, то могут арестовать беспрепятственно каждого. Вот вам и «жуирует с девицами»! Оттого, что неизвестна причина его ареста, разговоров и предположений полно. В трактирах и клубах называют его мрачным заговорщиком, злостного противу всех характера. При взятии его он будто бы выстрелил в первовошедшего к нему жандармского полковника, но тот остался жив, пуля прошла между левым боком и рукой, пробила деревянную перегородку и в другой части

комнаты ударила в самовар на комоде. В сапоге Михайлова оказалась склянка с ядом, а под заграничным фраком будто бы стальная кольчуга. Плетут всякое, и разобраться, где тут правда, а где выдумка, невозможно.

Михайлова пытаются выручить. На квартире издателя «Русского слова» графа Кушелева-Безбородко собрались все петербургские литераторы, участвующие в «Современнике», «Отечественных записках» и «Русском слове», их более ста. Они составили прошение, писал его отставной жандармский подполковник Степан Громека, прошение министру просвещения Путятину. Оказывается, наш адмирал ведает не только университетами, но еще цензурой и литературой. В прошении редакторы и сотрудники петербургских журналов выразили свое недоумение, почему арестован один из наиболее уважаемых литераторов, вся деятельность которого направлена была к самым благородным и высоким целям и постоянно клонилась к уменьшению в человечестве страданий и преступлений, а не к увеличению их. Они просили министра-адмирала защитить интересы литераторов в нынешнем прискорбном для них случае, принять к сердцу глубокое несчастье, постигшее одного из лучших их товарищей, и испросить освобождения Михайлова. Прошение подписали все знаменитые литераторы, которые есть нынче в столице: Некрасов, Добролюбов, Панаев, Краевский, Полонский, Майков, Писемский, Благосветлов, братья Курочкины, Минаев, Гиероглифов, артиллерийский полковник Лавров — всего более тридцати имен. К министру ходили трое: Кушелев-Безбородко, Громека и Краевский. Адмирал их не принял, а прошение их направил в Третье отделение.

Вот оно, значение русских литераторов! Разве это не возмутительно? Веня Михаэлис говорит, что хотя и возмутительно, но отнюдь не удивительно. Он близок с Добролюбовым и наизусть знает его статью об отношении

народа к русской литературе. Оказывается, Добролюбов посчитал и доказал, что из всех шестидесяти пяти миллионов русского населения только четыреста тысяч всего-навсего знают о существовании русской литературы. Может ли безграмотный народ участвовать в тех рассуждениях о возвышенных предметах, какие с такою гордостью стремятся поведать миру русские литераторы? Народу, к сожалению, вовсе нет дела до художественности Пушкина, до пленительной сладости стихов Жуковского, ему нужно заботиться прежде всего о том, как прокормить себя да еще тысячу людей, которые пишут для читающей публики. Именно в этом — ключ для понимания Добролюбова, именно в этом разгадка ненависти к нему сторонников чистого искусства. Он истинно народный деятель, подлинно демократ, новый человек в русском обществе. Таково мнение Вени Михаэлиса. Веня сожалеет, что даже Искандер не понимает Добролюбова, называет его желчевиком, все отрицающим и способным слогом своим и тоном довести ангела до драки и святого до проклятия.

Новые правила распубликованы и объявлены студентам. Они оказались еще хуже, чем ожидалось, еще возмутительнее. Адмирал и генерал решили преобразовать университеты в закрытые заведения, как говорят, на английский манер. Не знаю, как к этому относятся в Англии, но мы таких порядков терпеть не будем!

Отныне запрещены публичные сходки и диспуты, чтобы студент не думал и тем более не говорил. Запрещены публичные лекции с платой за вход, выручка от них шла в студентскую кассу.

Чтобы студент не ел, не пил и тем более не пел, отменены концерты, они тоже порядочно пополняли кассу. Упразднена и сама касса, выручавшая особо нуждающихся. А чтобы окончательно доконать студента, пусть

он будет еще и раздет-разут, увеличена плата за обучение до пятидесяти рублей. Если раньше голодающий студент мог дать объявление в газете об искании им уроков, то теперь таковые запрещены. Разночинной молодежи дорога в университет закрывается наглухо, семьюдесятью семью запретами. Да, чуть не забыла,— упраздняются святая святых, студентские библиотеки («Колокол» в них обращался в обложках «Университетских известий»).

Но что более всего возмутило и переполошило студентов, так это введение матрикул. Не материальные стеснения, которые впереди, а моральные, которые вот они — каждый студент обязан нынче же получить матрикулы, особые книжицы, в которых ты поименован и пронумерован, словно экспонат в зверинце. Они-то и явились последней каплей. В матрикулах изложены правила поведения, без матрикул ты не можешь войти в здание университета, не имеешь вида на жительство, без матрикул ты и не студент вовсе, а так, ни богу свечка, ни черту кочерга. Получить эту пакость в руки означало бы признать новые правила и отказаться от всех свобод, когда в обществе только и разговору об освобождении.

Лекции сорваны, в аудиториях бурные сходки, весь университет кипит.

25 сентября, понедельник, войдет в историю как первый день творения нашей победы! Актовый зал закрыт, и тысячная толпа собралась во дворе университета. Веня Михаэлис говорил речь. У нас отобрано все, чем мы гордились, все наши студентские учреждения. Наши сходки и диспуты были основой самовоспитания молодого поколения, наши читальни и библиотеки были основой нашего саморазвития, наш самостоятельный студентский суд ограждал нас от несправедливого вмешательства начальства и строго преследовал всякий скверный и подлый поступок,— теперь на все наложен запрет.

«Требуя бесплатного обучения, мы вовсе не требуем дарового,— говорил Веня Михаэлис.— У правительства есть казна, она пополняется налогами со всего народа. Почему правительство не может выделить, в сущности, возвратить одну миллионную часть из той же казны на образование народа? Почему оно предпочитает тратить гораздо больше средств на содержание всяких шпионов и усмирительных команд? А число этих команд растет, потому что растут волнения и бунты по всем губерниям...»

Говорили речи и другие студенты, из девиц выступила Маша Богданова. Потом предложили пойти всем скопом к попечителю, генералу Филипсону домой, на Колокольную, пригласить его в университет и высказать ему все наши требования. Толпа дружным криком решила идти, и прямо со двора мы двинулись через Дворцовый мост на Невский проспект. День выдался ясный, теплый, всем нам отрадно было идти дружной гурьбой по Невскому. Лавки были открыты, народу везде полно, прохожие смотрели на нас, останавливались, спрашивали. Выбегали французы парикмахеры и глупо-весело кричали: «Revolution! Revolution!» Но мы шли спокойно и величаво, безо всяких криков; мы не шли, а шествовали. Вольнослушательниц было совсем немного, но нас видели все, мы воодушевляли других, мы добавляли благородства и красоты в наше величавое шествие. На Невском к нам стали присоединяться некоторые девицы из толпы, одетые ближе к нам. Вместе со всеми шли студенты поляки, выделялась длинная фигура Хорошевского. На Невском присоединились также несколько молодых офицеров, я узнала артиллерийского поручика Семевского, он мне улыбнулся и поклонился. Мы шли по Невскому до Владимирской длинной колонной на всю ширину улицы. Полицейские на нас смотрели вопросительно, непонимающе, но ни один из них не пытался остановить нас,— так хорошо и спокойно, так невиданно доселе мы шли.

Но в Колокольной мы увидели солдат, и это всех возмутило. Здесь уже были военный генерал-губернатор Игнатьев и обер-полицеймейстер Петербурга Паткуль. Потом мы узнали, что рота солдат оказалась здесь случайно, она шла своей дорогой занимать караулы, но какой-то офицер их повернул: «Студенты идут!» Солдаты смотрели на нас, как и полицейские, с любопытством, а толпа тем временем обступила дом Филипсона, требуя, чтобы попечитель явился пред лицом своих подопечных. Филипсон, наверное, пытался сделать вид, что не видит студентов под своими окнами, или надеялся: постоят-постоят да уйдут. Но не тут-то было, мы и не думали уходить. Наконец на балконе показалась рослая и плотная фигура генерала с рукой на перевязи. Начались переговоры. Он нам сверху, а мы ему снизу, памятуя о словах государя императора: «Если не освободить сверху...» Филипсон первым делом постарался успокоить генерал-губернатора и полицию, затем согласился принять нашу депутацию, но не в своем доме, а в университете. Он просил, чтобы мы шли обратно, он-де скоро прибудет, но мы ему не поверили и потребовали, чтобы он отправился в университет немедля, вместе со всеми, на что Филипсон вынужден был дать согласие.

И вот мы торжественно двинулись обратно во главе с кавказским генералом. Он нам подчинился, мы горды и чрезвычайно довольны, на наших лицах ликование. С Владимирской идем на Невский, уже новая публика глазеет на наше шествие, много будет разговоров в столице! Возле Гостиного двора генерал Филипсон спохватился, решил, что пешком идти ему не по чину, и сел в дрожки. Но дрожки тут же окружили студенты грузины, словно почетный эскорт кавказскому генералу, и потребовали, чтобы кучер не гнал лошадь и не отрывался от толпы, вернее сказать, колонны. Спокойным и размеренным шагом процессия перевалила через Дворцовый мост

и подошла к зданию университета. Трое наших депутатов во главе с Веней Михаэлисом пошли с Филипсоном в залу совета, куда уже прибыли для объяснений генерал-губернатор и обер-полицеймейстер.

Ну разве это не великая наша победа?!

27 сентября, среда. Вчерашней ночью были арестованы Веня Михаэлис, Костя Ген, Неклюдов, Иван Рождественский и еще некоторые студенты. Нынче снова собралась толпа возле университета уже с новым требованием: освободить товарищей. Явился генерал-губернатор Игнатьев, явился министр-адмирал Путятин, а перед университетом уже не случайно выстроился батальон Финляндского полка. Жандармы и полицейские никого не впускали в здание университета. Нам объявлено, что университетский двор, сени и нижний коридор находятся в ведении (такого и представить себе нельзя), в ведении самого генерал-губернатора, дескать, это его владения и пусть кто-нибудь попробует туда проникнуть! Университет оказался на осадном положении.

В толпе с нами было много офицеров, в основном артиллерийских, больше, чем в прошлый раз. Они сговорились явиться сюда, чтобы предотвратить применение военной силы. Один офицер даже дежурил на мосту и направлял всех своих сюда, к нам. Поручик Семевский снова улыбнулся мне и поклонился. Были выразительные происшествия. Офицеров пытались отсоединить от студентов, но они держались очень стойко. Когда полицеймейстер Золотницкий повысил голос на молодого поручика и даже взял его за рукав, поручик резко отстранился и немедля обнажил саблю. Тогда генерал-губернатор велел арестовать его, солдаты окружили поручика и повели. Отойдя шагов тридцать — сорок, поручик скомандовал: «Налево кругом, марш!» — и солдаты подчинились, потопали налево кругом, а поручик скрылся.

9 октября, понедельник. Университет закрыт, в швейцарской полно солдат. Арестованных студентов все еще не выпустили, хотя и обещали. В газетах объявление: «Желающие продолжать занятия в университете должны прислать по городской почте на имя ректора свое прошение взять матрикулы (ишь чего захотели!). Не приславшие прошения считаются оставившими университет по своей воле». Как будто все умышленно делается для приумножения нашего возмущения. Да знает ли государь, что творится в его владениях?

Все, кого я знаю, как одна душа, решили не брать матрикул. Молодое поколение не сдается! Мы ль будем в роковое время позорить гражданина сан?!

...Сегодня отец заговорил со мною о воззвании «К молодому поколению» и назвал его неблагоразумным. Оказывается, воззвание известно и у них в департаменте, чему я рада. «В чем же его неблагоразумие?» — спросила я и посмотрела на отца отчасти свысока, как на человека отсталого в своем развитии. Он мне стал говорить, что дело освобождения начато лично государем-императором при поддержке великого князя Константина Николаевича и всех Романовых. И в этом превеликая заслуга Александра Второго перед народом и российской историей. А составители воззвания шельмуют государя и призывают к свержению его, в чем нет никакой логики. Они вставляют палки в колеса. Где они были, эти господа прогрессисты, когда государь еще четыре года назад начал проводить реформу? Он обратился ко всем губерниям с просьбой подавать правительству адреса для освобождения своих крестьян, но откликнулись всего-навсего две губернии, Виленская и Петербургская. И государь тотчас издал для них рескрипт об освобождении. Выходит, отозвались на его призыв только Русь литовская да Русь чухонская, а остальная Россия-матушка не пожелала освобождения. Тогда государь поехал в Москву первопрестольную, соб-

рал предводителей дворянства в тронной зале Кремля и сказал им...

Здесь я перебила отца: «Я знаю, что он сказал: если не освободить крестьян сверху, они освободят себя снизу». Отец в ответ рассмеялся довольно ехидно: «Только эти его слова вы и мусолите. А государь между тем выразил недовольство свое московским дворянством, он ожидал, что оно первым отзовется на предложение государя, а оно не отозвалось ни первым, ни вторым, ни даже третьим. «Я дал вам начала и от них никак не отступлюсь» — вот подлинные его слова. А речь свою в тронной зале он повелел напечатать в газетах».

Я вынуждена была признаться, что не знала этого. «Не в том беда, что не знала,— продолжал отец,— а в том беда, что ни ты, ни твоя котерия не хотите знать этого по сговору, по умыслу. Ваши наставители, прогрессисты, спешат из поганого самолюбия, опасаясь, что лавры освобождения достанутся одному государю».

Что правда, то правда, мы этого не хотим знать и никогда не захотим. Почему, спрашивается? Только потому, что говорить о каких бы то ни было заслугах царя-самодержца попросту неприлично, дурно. В сане его есть отрицательная сама по себе логика, противность. Можно поклониться лику мадонны с ребенком, но нельзя кланяться лику жандарма, пусть у него будет хоть три ребенка. Отец только головой качал, слушая меня. Хвалить государя не смелость нужна, продолжала я, а низость, даже если он и окажется семь раз прав. Ему веры нет, он неравен с народом, но вознесен над всеми. Он отнюдь не бог, но явно претендует на его значение, а это возмутительно. Отец только руками развел, хотя я увидела, что ему понравилось мое размышление. «Вон чему вас учат в университете»,— сказал он с усмешкой, а далее меня рассмешил, сказав, что воззвание «К молодому поколению» составил профессор юриспруденции Петербургско-

го университета Михайлов, потому студенты и озоруют, как он изволил выразиться. Я прямо-таки расхохоталась. Если бы отец видел эту бесцветную личность, читающую торговое право, он бы такого предположения не допустил. «Вон какие ценные сведения вы мусолите в своем департаменте»,— сказала я в отместку и раскрыла ему глаза на правду. Он долго качал головой, приговаривая: «Никогда бы на него не подумал! Скоро его не выпустят, положение в столице весьма скверно...»

А я и сама догадываюсь, что скоро не выпустят. Петиция литераторов в поддержку Михайлова имела неожиданные последствия. Из Третьего отделения о ней доложили государю, и тот повелел наказать всех, кто ходил с петицией к адмиралу Путятину,— Кушелева-Безбородко исключить из камер-юнкеров, Громеку уволить со службы, а Краевского выдержать на гауптвахте в течение недели. Ну как его хвалить после этого, за что?..

12 октября, четверг. Уж этот-то день, бесспорно, оставит след в истории России! Будущие поколения вспомянут его как день нашей великой победы и нашей великой жертвы. Триста студентов препровождены в крепость! Между нами только и слышатся произнесенные кем-то мудрые слова: «Всякая новая жертва является шагом вперед в расплате за нее!»

Сегодня состоялось (должно было, но не состоялось) открытие университета. Убрали наконец из швейцарской солдат, сняли замки с дверей и понаставили сторожей с наказом не пропускать ни одной души без матрикул. С утра внутрь здания прошли человек сорок-пятьдесят и слонялись там как потерянные. А у двери тем временем стала собираться толпа из тех, кто матрикул не взял. Толпа наша росла, росло также и возбуждение,

вскоре послышались выкрики, не одобряющие отступников от святого дела единства. И тогда те немногие, которые подчинились позорным правилам, стали выходить из здания наружу, принимая сторону непокорных. Дабы обелить себя перед товарищами, они стали демонстративно рвать матрикулы и обрывками их усеивать улицу, будто затем только и брали, чтобы изодрать в клочки. Получился еще больший вызов. Возбуждение наше нарастало все больше, все громче раздавались крики с требованием явиться ректору, уже послышались призывы брать здание штурмом, и тут появились голубчики преображенцы во главе с полковником Толстым. Они уже не стояли и не любопытствовали, они оттеснили самую беспокойную часть толпы от дверей, окружили и повели во двор университета через задние ворота со стороны Малой Невы. Ворота за ними закрылись, и теперь, естественно, стала собираться толпа у этих ворот, она быстро росла, появилось много городской публики, офицеры, чиновники, все больше подходили опоздавшие студенты, ничего еще не знавшие. Все вопрошали: что там, за воротами, делается? Все ждут, страсти разгораются (а там тем временем поименно всех переписывали). И вот ворота — настежь, и, окруженные тройной цепью солдат, тройной чащей штыков, появились наши юноши. Их ясные взоры, гордые лица, улыбки! Восхитительное зрелище! «Нас ведут в крепость!» — крикнул один из них. И толпа единым криком закричала, приветствуя их, в воздух полетели шапки и фуражки, шарфы и платки и даже трости; мы кричали, визжали от неистового восторга, мы топали ногами на пороге истерики, мы себе места не находили от обуявшего нас чувства значительности минуты, от блеска штыков, от тройной цепи солдат — от армейской силы, брошенной против нашей силы! И тут началось невообразимое! С криком, с воплями: «Мы с вами! Вместе! Вместе!» — студенты из толпы ринулись на солдат,

вернее, промеж солдат, головой вперед, плечами расталкивая их, норовя прорваться к окруженным. Полковник Толстой орал, осыпая студентов площадной бранью, перепуганные солдаты отпихивали их, не впуская, пошли в ход приклады, студенту Лебедеву раскровянили голову. Такая поднялась лавина криков и гвалта, будто Нева на глазах затопила город! Но как ни орал Толстой, как ни размахивали солдаты прикладами, цепь их была прорвана и число окруженных по меньшей мере утроилось. Триста человек победителей пошли под конвоем в крепость!

Сегодня стало известно, что профессора Кавелин, Пыпин, Спасович, Утин, протестуя, подали в отставку.

Арестованы поручик Семевский и прапорщик Странден и отданы под военный суд.

В крепости не хватило места, и многих студентов увезли морем в Кронштадт.

Никогда, во веки веков никаким крепостям не сломить, не разрушить товарищества молодого поколения! Я преисполнена гордостью за собратьев! Вот так нужно всегда — вместе! Еще зимой, в феврале месяце, состоялась панихида в католическом соборе по убитым в Варшаве полякам. Тогда вместе с поляками пришли в собор русские студенты, а также некоторые профессора. Начальство, как следовало ожидать, создало следственную комиссию и стало привлекать к следствию поляков. Прослышав об этом, русские студенты начали составлять подписные листы в комиссию и вносить свои имена. Подписывались даже те, кто во время панихиды сидели в трактире «Урван» на Выборгской стороне или в иных злачных местах. Вместе! Так было, и так должно быть!

15 октября, воскресенье. Черный день. Он войдет в историю как день великой утраты. Михаил Ларионович

Михайлов погиб в тюрьме при Третьем отделении, в преисподней у Цепного моста.

Проклятие на ваши головы, изверги!

В клубах Купеческом и Немецком открыто говорят о причинах смерти Михайлова. Как того и следовало ожидать, Михаил Ларионович ни в чем не признавался на следствии. Тогда по приказанию графа Шувалова придумали для него образ пытки, стали давать в пищу опиум, чтобы он, придя в беспамятство, высказал все свои тайны. Однако пытка не помогла, Михайлов держался стойко. Тогда изверги прибавили дозу яду, и вот Михаила Ларионовича не стало. Царство ему небесное...

Все крайне возмущены. В клубах горячатся, грозят, требуют. Если граф Шувалов не прикажет анатомировать погибшего публично в физикате (врачебной управе) при наблюдении друзей и знакомых Михайлова, то на графа падет страшное пятно бесчестия.

Студенты до сих пор в крепости. Когда выпустят хотя бы одного из них, тогда можно будет узнать подробности о его последних днях, об отравлении и о его смерти...

А подписка в пользу Михайлова продолжается. Кто ее ведет, неизвестно, имени Шелгуновых решено не упоминать, за ними установлено наблюдение полиции. Известно только, что Шелгуновы устроили распродажу в лотерею библиотеки Михайлова. Представляю, какое у них там теперь отчаяние, какой урон для их беспримерного содружества! Веня Михаэлис в крепости, а Михаил Ларионович... По подписке собрано уже до пяти тысяч рублей серебром, теперь они пойдут уже на памятник ему. Но где его установят? И когда?

Антонида Блюммер передает слова Чернышевского: «Мертвые не стареют, и в могилах не всегда лежат мертвые».

Только теперь Антонида выдала мне свою тайну. Она



ездила к Михайлову еще до ареста, уговаривала его скрыться у них в квартире, а потом бежать за границу. Он отказался. Я же знаю Михаила Ларионовича, никогда он не согласится бежать!

И еще она сказала, что Веня Михаэлис перестал ценить Искандера (о чем я и сама слышала от него прежде). «Пора уже снять девиз с «Колокола» — Vivos voco! Он уже зовет не живых, а мертвых. Живых зовет триумвират Николаев на листах «Современника».

И еще Веня Михаэлис говорил Антониде, будто бы Герцен в Лондоне заклинал Михайлова не печатать воззвания, будто бы предупреждал: «Нам нужны проповедники и апостолы, а не саперы разрушения», но Михайлов стоял на своем.

Герцен конечно же знал, как жестока и скора расправа в России над свободомыслием. Но в воззвании Михайлова сказано: «Да ведут... вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников 14 декабря!»

Тени мучеников... Еще один живой человек стал тенью.

Стоило ли Михайлову ценой жизни платить за воззвание?

Ой, не знаю, ой, боюсь судить...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Две встречи с Герценом для Михайлова как два заряда решимости. Первая состоялась весной пятьдесят девятого года. Людмила Петровна вспоминала потом, что собирались они в Лондон с таким волнением, как собираются правоверные на поклон к пророку...

Сначала они жили в Париже, неподалеку от Пале-Рояля, в отеле «Мольер». Владелица его мадемуазель Максим, отставная актриса с повадками Сары Бернар, была не просто хозяйкой отеля с множеством собак и кошек, но

также известной защитницей женских прав, о чем без конца говорили в отеле по вечерам.

Наэлектризованная этими разговорами, Людмила Петровна решила стать медиком и начала посещать клинику. Шелгунов по делам службы ходил в департамент французских лесов (всякий раз удивляясь, почему в приемных не приходится ждать ни минуты, а в России надобно сидеть часами), а Михайлов знакомился с французскими литераторами. Ему по душе пришелся Эжен Потье, добродушного вида сорокалетний толстяк с черными выразительными глазами. Он сочинял песни и пел их сам тихим и кротким голосом, но Париж его хорошо слышал. Он пел о большом доме (имелась в виду Франция) с квартирами богачей и с квартирами бедняков и в конце каждого куплета восклицал: «Это строение рушится от ветхости; его нужно сломать!» Он пел о холодной зиме (имея в виду время Наполеона III), она заморозила свободную речь французов, но «когда слова оттают, о каких ужасах мы услышим! Когда слова оттают, у нас зазвенит в ушах»,— и слушатели подхватывали этот припев после каждого куплета. Он пел о Жаке (имея в виду народ Франции), который изнывает в тоске по своей возлюбленной, он болен, измучен, он ждет не дождется возлюбленную — революцию. Песни и стихи Эжен Потье писал на досуге, нигде их не печатали, а средства к жизни добывал набивкою рисунка на материю. Стихами прожить нельзя, если не хочешь воспевать то, что не стоит песен.

«Знаменитости наши получают много,— рассказывала Михайлову мадемуазель Максим,— но и они нуждаются. Благородство обязывает заводить большие квартиры, лошадей, экипаж, кормить друзей обедами, устраивать им вечера. И потому знаменитости не брезгуют источниками дохода, которые не похвалишь». Михайлов в этом и сам убеждался, листая парижские газеты и журналы. Ламартин печатно оправдывался в подписке, которую затеял

для уплаты своих долгов, приводил в оправдание Лафайета и Шатобриана и писал о своих домашних делах так унизительно, что вызывал совсем не те чувства, на какие рассчитывал. Александр Дюма (отец) в своем еженедельнике «Монте-Кристо» галантерейным тоном делился с читателем о том, какой суп он любит, кому и сколько дал взаймы, и от кого не дождется возврата долга. Французы к такой манере привыкли, а для российского литератора, нацеленного прежде всего на заботы общественные, все это выглядело непривлекательно. Французы были вполне равнодушны к России, здесь, между прочим, процветал Дантес — тот самый. Трагедия на Черной речке стала для него всего лишь одним из приключений молодости, отнюдь его не позорящим. Русским путешественникам он представлялся свободно: барон такой-то, который убил вашего поэта Пушкина. После революции сорок восьмого года Дантес проник в Учредительное собрание, а при Людовике-Наполеоне был назначен сенатором с тридцатью тысячами франков содержания, вошел в учредители банков, отстроил трехэтажный особняк в фешенебельном квартале Парижа и живет себе припеваючи.

Горько, досадно, обидно всякому русскому сердцу, но Франция не знала Пушкина, да и не спешила его узнать, занятая своим делом, в основном разговорами о революции, о республике и о женских правах.

Отель «Мольер» прямо-таки кипел от негодования по поводу недавно вышедшей книги Прудона «О справедливости в революции и в церкви». Нападки свои на женщин языкастый философ и анархист возвел в систему. Брачный союз он признавал незыблемой социальной единицей, равенства полов не допускал, устанавливал права женщин по их заслугам в обществе, а заслуги считал ничтожными. «У зверей самка ищет самца и подает ему знак; надо признаться, что то же самое видим мы в женщине,— писал Прудон.— Вся разница между ею и другими сам-

ками та, что время любви у нее не прерывается и иногда длится всю жизнь. Она кокетка; не все ли сказано этим словом? И не лучшее ли средство понравиться ей — снять с нее труд объяснения: так глубоко сознает она свою похотливость». Ну какая женщина с легким сердцем примет такую характеристику?!

Поскольку в обсуждении рьяно участвовали Людмила Петровна и другие русские и не только русские дамы, Прудону перебирали косточки под лозунгом: «Que les femmes de tous les pays se donnent la main!» («Женщины всех стран, объединяйтесь!»). Объединяйтесь, ибо Прудон нападает на святая святых, на любовь, она, дескать, заставляет нас жертвовать своим личным счастьем ради счастья любимого предмета, и потому безнравственна: она нарушает общественное равновесие. «Чету должно соединять чувство справедливости, и в выборе жены, в выборе мужа как можно менее должна участвовать любовь»,— говорит Прудон, и это после того, как Фейербах, гениальный, по мнению Михайлова, германский мыслитель нашего времени, заявил, что любовь к женщине есть основа всеобщей любви. «Кто не любит женщины, не любит и человека».

Прудону в отеле «Мольер» доставалось наравне с Наполеоном III (русские прозвали его Наполеонтием), хотя книга возмутила также и императорское правительство, автора ее приговорили к трем годам тюрьмы и четырем тысячам франков штрафу. Однако женщинам в отеле такой кары показалось мало, тем более что Прудон благополучно бежал в Бельгию и там начал тщательно собирать все выходки против себя, чтобы потом издать их со своим язвительным комментарием. Его забросали не только письмами, но и статьями в журналах и даже книгами. Резонанс от женского недовольства был широким, о выходе книги парижанки мадам д'Эрикур против Прудона сообщили даже американские газеты.

Михайлова эта тема тоже задела и совсем не случайно, не ради компании. О женской доле он писал прежде и в стихах, и в прозе, в повести «Кружевница», к примеру, в коей, по мнению недовольного цензора, торжествует в лице франта Анатоля грубый разврат дворянского сословия, а страдает простая девица, невинная, почтительная и трудолюбивая.

К баталиям в отеле Михайлов присоединился пылко и самозабвенно, как урожденный француз.

Шелгунов уехал в Нанси, захватив для директора тамошней Лесной академии подлинно русский souvenir — медведя под письменный стол. Людмила Петровна повадилась в клинику, а Михайлов начал писать для «Современника» статью о женщинах, и она выросла в целую диссертацию. Подвигалась статья с трудом, как никакая из прежних его работ, вроде бы столь доступная для всех тема оказалась весьма сложной, скользкой, особенно в мелочах практического характера. Требовалась смелая и открытая постановка вопроса, но в то же время нельзя было давать противникам ни малейшего повода к нежелательным выводам, к передергиваниям и зубоскальству в смаковании частностей. Если в России статья появится, на автора обрушатся многие, православные отцы церкви прежде всего, не отстанут и славянофилы, радетели «Домостроя», составленного из простых истин, вроде: в случае непослушания жены, «соймя рубашку, плеткою вежливенько постегать, за руки держа».

«Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе», с посвящением Людмиле Петровне Шелгуновой, были опубликованы в «Современнике» в трех книжках подряд и вызвали большой интерес. По определению Шелгунова, то, что носилось в воздухе еще с сороковых годов, именовалось жоржзандизмом, витало смутно, неуловимо, Михайлов уловил и собрал воедино — дал теме форму и логическую ясность.

«Нравственные понятия движутся и развиваются вместе с обществом и жизнью, а не стоят на месте. Требуя, чтобы женщина вносила в воспитание детей нравственные начала, мы должны предполагать в ней развитие в уровень с требованиями времени. Но откуда же такое развитие, если мы отрешим ее от участия в движении общества? Никакие изящные искусства, никакие с детства втолкованные правила морали не спасут ее, без прямого соприкосновения с успехами общества, от нравственного застоя. Любить можно только то, что хорошо знаешь; служить можно только тому, что любишь. Ограничивая жизнь женщины стенами ее дома, нечего требовать от нее служения общественной пользе».

С выходом статей Михайлова женский вопрос из отвлеченного стал практическим,— о нем заговорили всюду, широко цитируя строки из «Современника»: «Все мало-помалу приходят к убеждению, громко провозглашаемому целым ходом истории, что существование в обществе рабства, давая возможность одному классу жить за счет другого, ведет к деморализации и эксплуататоров и эксплуатируемых... Отчего же то, что признается законом для общества, не может быть признано законом для семьи? Отчего прогресс общества должен заключаться все в большем и большем устранении эгоистического произвола, а счастье семьи без этого произвола невозможно?»

Наверное, ни одна из повестей Михайлова, ни одно из его стихотворений не привлекли такого внимания. Автора статей провозгласили творцом женского вопроса в России...

Лето и осень они провели в Трувиле на берегу моря, а к зиме вернулись в Париж. Здесь у них появились знакомые из польских эмигрантов, иные довольно своеобразные. Седовласый старец, генерал Дембинский, по вечерам обучал Людмилу Петровну играть в вист — уж эмансипация, так во всем. «Когда мы захватим Петербург, ма-

дам,— говорил он Людмиле Петровне,— я приеду к вам на белом коне».— «А вы сможете на него взобраться, генерал?» — «Меня подсадят».

Людмила Петровна старательно обучалась то висту, то медицине, Николай Васильевич объезжал лесные департаменты не только во Франции, но наведывался и в Бельгию, а Михайлов аккуратно посылал Некрасову свои «Парижские письма», и они тут же печатались в «Современнике».

«Каждый месяц по письму,— требовал из Петербурга Некрасов,— театр, общественная жизнь, судебные истории, книги, мерзости административные. Ну да вас нечего учить!» Просил в письмах побольше парижских сплетен, скандалу, «да и ругайтесь крепче!».

Чего-чего, а ругаться хотелось Михайлову как никогда прежде — он сидел в Париже без денег, хотя писал, как всегда, много. Здесь он закончил новый роман «Благодетели», вместе с Людмилой Петровной перевел для заработка трехтомный опус популярного германца Густава Фрейтага «Приход и расход», начал переводить большой цикл Гейне из двадцати четырех стихотворений. «Для образца посылаю тебе одно,— сообщил он Полонскому в Петербург,— если напишешь, что согласен дать за них 500 р., то я пришлю все».

Полонский к тому времени наконец женился и стал нежданно-негаданно редактором нового журнала — «Русское слово». Издание журнала затеял молодой граф, богач, «златой барчонок» Кушелев-Безбородко. Он сам пописывал повести (изображая ужасы бедности, писал, что герою нечего было ни есть, ни пить, кроме котлет и красного вина), журналы отказывались их печатать, граф уехал в Италию, сошелся в Риме с Полонским и уговорил его стать редактором несуществующего пока журнала. Возвратясь в Петербург, граф не пожалел денег, и в январе 1859 года вышла первая книжка «Русского слова». Ми-

хайлов в ней был представлен трижды (Полонский постарался для безденежного друга): рассказом «Кормилица», пьесой «Обязательный человек» и стихотворными переводами из Рюккерта и Джалаладдина Руми.

А денег не было, их пожирал Париж.

Для «Современника» Михайлов писал о выходе на французском «Мертвых душ» Гоголя, писал о выставке картин: «Как в учебниках, введенных католическими попами, эпоха революции вовсе не упоминалась и говорилось только, что ничего замечательного в Европе в это время не произошло, так и в Версальской галерее: напрасно искал я хоть одного лица, хоть одной черты времени. Зато шпага реакции сверкает на всех стенах, и притом обвитая лаврами!» Цитировал суждения французов, так хорошо понятные русскому читателю: «Не остается ничего, что бы еще держалось: поражение полное. Ни мысли о справедливости, ни уважения к свободе, ни взаимной связи между гражданами. Нет учреждения, которое бы ценилось; нет принципа, которого бы не отрицали, не поругивали. Нет более авторитета ни в мире духовном, ни в мире временном: повсюду души ушли в свое *я*, без точки опоры, без луча света...»

Реакция процветала не только во Франции. Скитались в эмиграции и венгр Кошут, и итальянец Мадзини, и многие поляки. Живя вне родины, они продолжали борьбу и оставались маяками для соотечественников. В Италии зрело движение Гарибальди, Франция ждала возможности скинуть Наполеонтия, поляки не теряли надежд на свою независимость. По замечанию Шелгунова, освободительное движение из национального легко переходило в международное, общие идеи связывали людей чуть ли не сильнее кровных народных уз. Немецкие и французские рабочие понимали друг друга лучше, чем своих однокровных бюргеров и буржуа.

Страной свободы считалась в Европе Англия, только

там и находили спасение эмигранты континента. Михайлов цитировал для «Современника» Монталамбера: «Когда я задыхаюсь в атмосфере, наполненной миазмами рабства и нравственной порчи, я бегу дохнуть более чистым воздухом и взять освежительную ванну в свободной Англии».

Весной Михайлов и Шелгуновы собрались наконец в Лондон.

Герцен регулярно получал из России журналы, газеты, книги, Михайлова знал по его трудам и принял хорошо, помог гостям устроиться в пансионе в центре Лондона, неподалеку от Британского музея и от гауптвахты с конными часовыми в красных мундирах.

В течение двух недель лондонской жизни они часто ездили к Герцену (от станции Ватерлоо пути около часу) и имели возможность наблюдать его жизнь в Фуляме.

Гости знали, что Герцен живет без роскоши, но с большим комфортом.

Гостей у него бывало чрезвычайно много. Удерживаемая при Николае русская публика с воцарением Александра II ринулась за границу потоком. А с появлением в России «Колокола» и «Полярной звезды» чуть ли не каждый вояжер считал своим долгом посетить Искандера. Ехали к нему все, кому не лень, независимо от своих убеждений, в подражание другим — путешествующие князья, офицеры и генералы, купцы и чиновники; заезжали русские студенты из Германии и Швейцарии, хотя бы на один день, пожать руку Искандеру; заезжали дамы и господа, отбывшие из России лечиться на водах и просить совета у докторов Вены, Парижа, Лондона. Администрация британской столицы вынуждена была вставить адрес Герцена в путеводитель по Лондону. Особенно много бывало у Герцена литераторов, артистов, художников. Проездом из Италии в Россию побывал у него Александр Иванов, мучимый вопросом: если на протяжении столе-

тий христианская религия была руководящей мыслью искусства, оплотом его, так на что теперь будет опираться искусство, когда общество стало равнодушно к религии? Где новые идеалы?..

Герцен любил встречи и хотя страдал от бесконечных визитов, тем не менее старался принять всех. Бедствующие эмигранты кормились в его доме. Многие привозили рукописи, рассказывали о безобразиях в российских судах, писали жалобы, разоблачения, излагали проекты своих реформ по переустройству России, привозили исторические розыски и документы — все это и послужило основой для издания сборников «Голоса из России». Один из визитеров передал Герцену записки Екатерины II, они были изданы сразу на четырех языках и мгновенно разошлись по Европе.

Огарев уставал от обилия гостей, они были ему в тягость, он спешил уединиться и уходил из дому побродить где-нибудь в пустынных окрестностях.

На кофе утром он всегда опаздывал, ему требовался долгий сон, не менее восьми часов, иначе мог случиться припадок падучей. Из-за болезни он старался не пить вина, и временами это ему удавалось. Был он молчалив, покладист, добр со всеми и кроток, слуги его очень любили.

Герцен был обаятелен в разговоре, особенно с людьми, которых знал, остроумен, находчив, однако не подлаживался под собеседника, в споре бывал неукротим, горяч, но вместе с тем замечалась и сильная его впечатлительность — от неприятного известия, от какого-нибудь мрачного напоминания он вдруг замолкал и замыкался в себе. В присутствии гостей это случалось редко, но было тем более заметно.

Огарев больше молчал, мрачновато погруженный в себя, с гостями почти не говорил, тем удивительнее было Людмиле Петровне получить от него стихи «Женщи-

не-медику». «На новом поприще, в полезных изученьях умейте к жизни подходить с вопросом внутренним,— в причудливых явленьях подсматривать простую нить».

Внешне снисходительный, безронотный вроде бы, Огарев имел колоссальное влияние на друга. Герцен знавал многих выдающихся людей как в Европе — Гарибальди и Виктора Гюго, Прудона и Луи Блана, Мадзини, Кошута, так и в России — Белинского, Тургенева, Аксаковых, Кавелина, Бакунина, высоко ценил каждого из них, но это не мешало ему называть Огарева умнейшей головой и свободнейшим человеком.

Герцен водил гостей по Лондону, показывал достопримечательности, угощал их знаменитыми супами — из бычачьих хвостов и черепаховым. Вместе побывали на субботнем ночном базаре, посетили таверну, где едоки и питухи отгорожены друг от друга, как лошади в стойлах, посетили Британский музей и замок Тауэр.

И конечно же, часами говорили о положении в Европе и о положении в России. Герцен был осведомлен широко, но судил о Европе не как европеец, а о России не как россиянин; он смотрел на материк с острова не только в прямом смысле, с Британского, но и в переносном — с колокольни «Колокола». Из русских журналов он отдавал пальму первенства «Современнику», который, кстати сказать, объявил на обложке своей январской книжки: «Журнал литературный и с 1859 года и политический». Однако Герцену не понравились наскоки «Современника» на Щедрина и на всю обличительную литературу. Гордость его была задета тем, что между Онегиным, Печориным, героями его времени, и нынешней мокрицей Обломовым ставится теперь знак равенства. Не по душе ему был и «Свисток», сатирическое приложение к «Современнику»,— балаганчик, как он выразился, для освистывания первых опытов свободного слова. Герцен подозревал,

что «Свисток» вскоре не прочь будет свистнуть и по адресу Лондона,— уж чего-чего, а обличений в «Колоколе» предостаточно.

Резковатая оценка лучшего российского журнала явилась для Михайлова неожиданной, явно обозначилось расхождение между «Современником» и «Колоколом» если не в целях борьбы, то в методах, однако спорить в ту встречу с Герценом Михайлов не мог, он во многом разделял его недовольство...

Расставались грустно. Герцен оставил автограф Людмиле Петровне: «Я не умею писать в альбомы. Простите меня, вместо нескольких строк — легких и веселых — я вписал вам целую страницу, печальную и длинную, из моей тетради «Былое и думы». Страницу эту мне только что принесли из типографии. К тому же в ней говорится о Лондоне,— вспомните иной раз, что в этом тумане и поднесь бродит русский, душевно уважающий вас Искандер. 15 марта 1859 года».

Встречи в Фуляме сильно повлияли на друзей. Личность Герцена, его деятельность, суждения, его европейская слава — все призывало друзей к какому-то новому действию. Шелгунов возненавидел свой департамент, с горечью признавался: «Если я что-то и значу перед лесными чиновниками, то я совершенная дрянь рядом с Герценом». (В том же году он впервые выступил в «Русском слове» как публицист и встал на опасную стезю российского литератора.)

По возвращении в Петербург Михайлов прочел в «Колоколе» статью «Very dangerous!» («Очень опасно!») за подписью Искандера, статью страстную и гневную, с такой концовкой: «Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего, боже сохрани) и до Станислава на шее!»

Добролюбова, который выпускал «Свисток», статья огорчила чрезвычайно. Разгневанный Чернышевский поехал в Лондон объясняться с Герценом.

...Было время, когда «Современник» рассорился с Дружининым, Григоровичем, Тургеневым,— после прихода в журнал Чернышевского.

Настало время, когда «Современник» начал расходиться с «Колоколом»,— после прихода в журнал Добролюбова. Герцен защищал либеральное обличительство, надеясь принудить правительство к радикальным реформам, а «Современник» одно лишь только обличительство отвергал, утверждая, что революционно-демократическая критика должна стремиться «к более цельному и основательному образу действий».

Разбуженные тем же «Колоколом» разночинцы начали подавать свой голос.

И вот новая встреча спустя два года, нынешним летом. Из Петербурга Михайлов и Шелгуновы выехали 25 апреля, пробыли неделю в германской столице, Михайлов успел отправить Некрасову свои заметки «Из Берлина», и они тут же были напечатаны в пятой книжке. Затем все трое проехали в Наугейм, городок с водами и каштанами. Шелгуновы остались здесь, Людмила Петровна нуждалась в лечении, у нее болели ноги после родов Мишутки, а Михайлов через Голландию отправился в Лондон.

Герцен и Огарев к тому времени переселились из Фуляма в город, в Орсет-хауз, и приняли Михайлова как давнего знакомого и желанного гостя.

Излагая российские новости, Михайлов рассказал о создании московскими студентами Первой вольной типографии. Она уже заявила о себе делом — перепечатала работу Огарева «Разбор книги барона Корфа». В России

«Разбор» популярен, поскольку воздает по заслугам холуйскому сочинению Корфа «Восшествие на престол императора Николая I». Выступление декабристов низводилось Корфом до заговора злонамеренных узурпаторов, движимых алчными и честолюбивыми устремлениями, а Николай I возвеличивался как спаситель русского народа от злодеев. «Восшествие» было издано при Николае, что не удивительно, но затем его издал и Александр II в 1857 году. Герцен обратился тогда с гневным письмом к царю через «Колокол», а потом выпустил в Лондоне дополнение к письму, сборник «14 декабря и император Николай», куда вошли правительственные документы: донесение следственной комиссии по делу декабристов, приговор Верховного уголовного суда, а также отдельная глава «Разбор книги барона Корфа», написанная Огаревым. «С людей 14 декабря Россия должна считать эру своего гражданского развития»,— провозгласил автор «Разбора». Он видел две стороны в России того периода. «Одна сторона хотела поставить Россию на степень образованного государства, другая хотела низвести ее на степень орды с немецкой бюрократией. Столкновение было неизбежно. Немецко-татарское начало на этот раз победило».

«Разбор», изданный с портретом Огарева, стал первой ласточкой Вольной типографии в Москве. В Петербург приезжали распространять издание двое надежных молодых людей — студент Сороко и отставной корнет Костомаров. С ними налажены деловые и самые дружеские связи...

Затем Михайлов сказал о главном — о цели своего приезда в Лондон и показал проект листа «К молодому поколению».

Герцен не одобрил его намерений. Он не сказал прямо всей правды, которая ему виделась, а заговорил о французских эмигрантах, людях достойных, умных, готовых

на всякие жертвы, но плохо понимающих и не способных исследовать своего положения. Михайлов намек понял и ответил, что положение в России требует уже не только мыслей, анализа, но и действия. «Там все готово, мы накануне!» — уверял он Герцена. В городах бурлит молодое поколение, по всем губерниям крестьянские бунты, и уже льется кровь, о чем Герцену хорошо известно. «Мы хотим придать больше силы молодому поколению, хотим убедить народ, что правительство Александра Второго никуда не годится».

«Переход от николаевского деспотизма к освобождению крестьян не может идти ровно, без ошибок, тут не один Александр Второй, а десять сломят себе шею»,— заметил Герцен.

«Тем большая нужна гласность! — загорячился Михайлов.— Мы должны обсуждать положение в стране открыто, во избежание ошибок, но этого нет, ибо цензура затыкает рот».

С этим Герцен не спорил. Сказал, что при Николае только простая бумага выпускалась, минуя цензуру, а для выпуска бумаги линованной, транспаранта, уже требовалась подпись цензора. Да и не только в России цензура по целям своим обречена на косность и глупость. Цензор в Кельне запретил в свое время перевод «Божественной комедии» Данте — из божественного, дескать, нечего устраивать комедий. «Сейчас в России все-таки легче дышать»,— заметил Герцен.

Михайлов в ответ процитировал ему Гейне: «Дышится как-то вольнее и легче, место весне уступила зима. Если у нас прекратят все издания, то и цензура исчезнет сама». Герцен рассмеялся, принял иронию как упрек в свой адрес за нежелание печатать лист. А Михайлов продолжал наседать. При Николае привыкли молчать, научились под угрозой каторги, а после него даже великие князья заговорили об освобождении, даже горе-герой

Крымской войны князь Горчаков заявил царю после заключения мира: первое дело нужно освободить крестьян, потому что здесь узел всяких зол.

«Сын мне пишет расхожие пошлости,— сказал Герцен.— Будто все началось с Александра Второго, который дал импульс. То есть не внутренние силы вовлекли его, а наоборот, он вовлек их».

Да, внутренние силы заставили объявить реформу, она никого не удовлетворила на деле, она убедила, что ждать благотворных перемен от правительства нельзя, надо самим бороться за перемены. Внутренним силам, особенно молодому поколению, сейчас нужен доказательный призыв к действию. Горючий материал в России вполне готов, достаточно бросить искру — и все губернии заполыхают.

А Герцен сомневается. Он знает о положении в России многое, знает, наверное, больше Михайлова, шире по охвату, однако из Лондона ему не видны глаза россиян, горящие жаждой неотложного действия, в письмах горения не передашь,— так пусть он смотрит сейчас на Михайлова и верит ему, ибо сей неуемный требователь является частицей России, не худшей и не безвестной. К тому же он прибыл печатать в Лондон не с пустыми руками, он взял в долг из конторы «Современника» тысячу рублей серебром.

Перечитав воззвание, Герцен заметил, что некоторые его положения противоречат воззрениям Чернышевского. Отношение к Европе у Чернышевского положительное, а лист заявляет: «Мы уж довольно были обезьянами французов и немцев, неужели нам нужно сделаться еще и обезьянами англичан?»

Михайлов ответил, что с Чернышевским они едины в главном — в необходимости свержения нынешнего правительства. А что касается пути, по которому должна идти Россия, то кто может сказать, что он умнее шести-

десяти миллионов? Кто может утверждать, будто только он один знает, что России нужно, что приведет ее к счастью? Где та наука, которая сказала бы ему, что его взгляд безошибочен? Нет ее, и мы будем искать ее сообща, споря и добиваясь истины. О частностях воззвания Чернышевский попросту не знает, листа с ним не обсуждали. Кстати, отношение его к реформе в последнее время изменилось. Если раньше он деятельно участвовал в обсуждении крестьянского вопроса своими статьями в «Современнике», то сейчас, после выхода манифеста, «Современник» остается единственным журналом, хранящим полное молчание по этому случаю. Чернышевский считает, что в реформе нет смысла, ибо нет условий провести ее удовлетворительным образом. «Станут освобождать и выйдет мерзость,— говорит он,— как всегда, когда берешься за дело, которое не можешь сделать». Приблизительно о том же говорится и в листе: «Моментом освобождения посажено первое зерно всеобщего неудовольствия правительством. И мы пользуемся этим, чтобы напомнить России ее настоящее положение». А что касается наших расхождений с Чернышевским, так ведь в «Современнике», как и в «Колоколе», исповедуется то же право: право каждого на свое мнение.

Непонятна сейчас Михайлову неуступчивость, осторожность Герцена. Как будто «Колокол» не будил Россию от спячки, не звал к борьбе. Будил и звал! Но теперь, похоже, Герцен намерен уложить каждого поодиночке в смирение и покой.

«Вы не знаете законов Российской империи, Михаил Ларионович. За покушение на царя или за призыв к тому полагается смертная казнь».

«Не я их выдумывал, Александр Иванович, законы российские, не мне их и соблюдать. Время требует дела! Ваше время было другое».

Герцен согласился: «Наше время было другое. Мы ни

за что не брались, кроме книги, мы удалялись от дела, оно было или так черно или так невозможно, что не было выбора. Мы были отважны и смелы только в области мысли, а в столкновениях с властью являлась большей частью несостоятельность, шаткость, уступчивость. Мне кажется, после декабристов до петрашевцев все линяли. Самая революционная натура николаевского времени — Белинский, и он был сведен на эстетическую критику, на гегелеву философию и дальние намеки».

«Отвага мысли уже не удовлетворяет молодое поколение, ему потребна отвага дела,— твердил о своем Михайлов.—И наше воззвание — как отзыв на жажду дела. Оно слагалось само собой, естественно и органично, как в природе идет дождь или падает снег. Пусть будет громко сказано, но само время водило пером составителей, мы всего лишь писцы истории. Лист, как зеркало, отражает разнохарактерность недовольства, пестроту брожения в стране. Это не ученый трактат, это призыв к делу. Мы не выдумываем пороха, а берем готовый и всего лишь начиняем патроны. И моя задача проста: отпечатать воззвание и любой ценой доставить его в Петербург».

Лист пошел в набор...

Расставаясь, Герцен сказал: «Однако же, если заберут в крепость...» — «Авось бог милует, Александр Иванович!» — «В Петропавловской крепости меняются не только образы мыслей, но и образы мыслителей.— Постучал костяшкой пальца по крышке стола, от сглаза, и упрямо продолжил: — Если заберут в крепость, валите все на Лондон, нас они не достанут, да и пусть им будет привет от нас».

Михайлов не мог понять его настроения. «Нужны проповедники, апостолы,— твердил Герцен,— поучающие своих и не своих, а не саперы разрушения». Но сколько можно проповедовать без попытки развязать руки для борьбы? Россия взяла разбег, и уже никакой проповеди

не угнаться за ней. Ограничиваться апостольскими проповедями значило бы отстать от народа...

В Париже Михайлов поселился с Шелгуновыми все в том же отеле «Мольер». Как и три года назад, те же лица, в основном, сходились в отеле и так же страстно обсуждался все тот же вопрос о республике и о женских правах.

Когда стали собирать чемоданы и Шелгунов увидел, что пачки листа плохо спрятаны, он назвал друга легкомысленным человеком. Михайлов надулся, тем более что лист оказался действительно на виду.

— Не всем же быть сурьезными,— пробурчал он сумрачно.

— Легкомыслие — это принадлежность одаренных, творческих натур,— продолжал Шелгунов.— Оно делает их еще более привлекательными.

— Для таможенных чиновников? — Михайлов немного отошел.

— Нет ни одного гениального, даже просто даровитого человека, который не отличался бы легкомыслием. Только скучные не легкомысленны. Именно здравомыслящие творят скуку.

Михайлов совсем подобрел.

— Ты хитер, Николай Васильевич, успокаиваешь меня.

Шелгунову самому понравилась мысль, и он продолжал ее развивать:

— Что ты скажешь о Песталоцци?

— Если перестанешь называть меня ходячей энциклопедией...— Ему это никогда не льстило, он полагал, что его следует цепить за нечто другое.

— Я-то смогу перестать, но как Лаврова заставить?

Лавров вел издание «Энциклопедического словаря» и позвал Михайлова редактировать отдел словесных паук.

— Песталоцци Иоганн Генрих, знаменитый педагог из

Швейцарии, филантроп и последователь Руссо. Он призывал развивать и воспитывать три дара: сердца, ума и таланта. И главную роль в воспитании должна играть женщина, особенно в детстве, с чем я совершенно согласен,— она увеличивает запас чувств.

— Одним словом, Песталоцци человек достойный и заслуживает доверия. «Только легкомыслие,— говорил он,— спасало меня в несчастье». Полагаю, что и тебя тоже.

Михайлов улыбнулся — верно.

— Легкомыслие твое сейчас состоит из чувства веры и надежды, что с листом все будет хорошо.

Михайлов рассмеялся — правильно!

— Легкомыслие составляет основу мужества — не удивляйся! Оно облегчает нам тяготы, создает в душе праздник. Вот этим свойством и наделен мой друг Михайло Ларионыч, дай я тебя обниму!

Светлая голова, Николай Васильевич!

Пусть легкомысленно, но Михайлов ждал невероятно многого от листа, как прежде ждал невероятно многого от своих стихов, от призывов Гейне, Томаса Гуда, Беранже, от всей боевой поэзии, которую он возвещал России. Теперь он полон ожиданием бури после воззвания. Только теперь ему стал понятен Байрон с его неуемной жаждой борьбы. «Действия, действия,— говорю я,— а не сочинительство, особенно в стихах!» — восклицал Байрон, известный уже всему миру поэт, но завидующий безвестным участникам какого-нибудь громкого дела или просто приключения.

Михайлову сейчас понятно, отчего и зачем соловей становится коршуном. Без листа ему сейчас нет жизни, страсть его тут безмерна — и слава богу! — ибо умеренные страсти — удел заурядных людей, говорил Дидро, а ему вторил Стендаль: мера доступного человеку счастья зависит от силы его страстей.

Что будет, то будет, но в любом, даже наихудшем, случае дело сдвинется.

Лист — это его меч из легенды. Он обрушит его на правительство — и всколыхнется, заполыхает пламенем серое месиво постепенности, произойдет очищение и подвиг.

И останется подвиг — слагаемое истории.

На прощанье они обошли в Париже прежних знакомых, заглянули в пансион к генералу Дембинскому. Здесь у них зашел разговор о сходстве и различии поляков и русских. Михайлову больше хотелось говорить о сходстве и о единой задаче (в другой среде ему хотелось говорить о сходстве русских с казахами — веками живем бок о бок, переняли обычаи, многие уравнялись в вере, сменив мусульманство на православие, а поляки были и есть католики...). Говорили о сходстве и Михайлов и Шелгунов, но Дембинский не спешил соглашаться, скептически улыбался, наконец сказал:

— А знаете, какая главная разница между нами, поляками, и вами, русскими?

— Какая же?

— Мы, поляки, каждого мужика хотим сделать барином, а вы — каждого барина мужиком...

По приезде в Петербург Михайлов сразу же услышал о появлении в столице первой русской прокламации — «Великорусс» — с призывом к образованным классам взять в свои руки ведение дел из рук неспособного правительства, чтобы спасти народ от истязаний. О распространении «Великорусса» ему рассказывал Владимир Обручев, молодой человек двадцати пяти лет, в недавнем прошлом гвардейский офицер, а ныне литератор, сотрудник «Современника» и друг Добролюбова.

А вскоре появился «Колокол» от 15 августа с призывом Герцена: «Заводите типографии!.. Теперь самое время. Мы с восторгом узнали, что у нас начали печатать в

тиши, не беспокоя цензуру, мы видели даже один листок «Великорусса»... Нет в Европе страны (и здесь он Европу ни в грош не ценит), где легче заводить типографии, как у нас,— везде теснее живут. Но не нам вас учить, да еще публично, мы ограничиваемся братским советом: *Заводите типографии! Заводите типографии!*»

Михайлов успел прочесть «Колокол» до ареста.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

С утра первым пришел Горянский. Теперь даже интересно, о чем он заговорит после объяснительной записки Михайлова?

— Не хотите ли передать что-либо своим друзьям? — понизив голос, спросил Горянский.

— Да ведь все, что ни передам, вы против меня обернете. Служба-с, как говорит Путилин. Нельзя мне на вас надеяться.

— Вам следовало бы написать друзьям хотя бы, что вы живы и здоровы. А то в Петербурге распространился слух, будто вас тут, в Третьем отделении, отравили. Кажется, кроме уважения, здесь вам ничего не оказывается, не так ли, господин Михайлов?

Можно отравить словом, подлостью. А слухи — это отрадно, его не забыли, хотя и похоронили.

— Я не волен пресекать слухи, господин Горянский.

— Нелепые слухи! — возмутился Горянский.— Требуют от графа Петра Андреевича анатомического вскрытия тела э-э-э... вашего. Людская глупость безмерна, тем не менее мы должны ускорить решение. Как только его величество прибудут из Ливадии, мы обязаны доложить ему о вашем деле и представить вашу личность государю наиболее полно. Назовите мне, господин Михайлов, кто мог бы дать сведения для доклада о ваших литературных занятиях?

— Все мои занятия в журналах и в книгах, вы можете о них судить сами.

Есть два лагеря в обществе, две партии — либералы и радикалы, как их называют одни, или постепеновцы и нетерпеливцы, как их называют другие. К характеристике одних, Дружинина или Григоровича, он обращаться не хочет, а к характеристике других, скажем Чернышевского или Добролюбова, он обращаться не может.

— Я внимательно просмотрел все ваши книги, господин Михайлов, а также «Современник», «Русское слово», «Отечественные записки», «Библиотеку для чтения» — все наши лучшие журналы.

— По-вашему, и «Современник» лучший журнал?

— Разумеется! — с вызовом ответил Горянский.— Вы уж совсем видите меня троглодитом, господин Михайлов! Я и раньше читал и читал с интересом и вашу беллетристику, и ваши переводы иностранных поэтов. Хотя бы в этом вы можете мне поверить?

Михайлов пожал плечами — всякий автор для того и пишет, чтобы его читали. Но к чему клонит Горянский? Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим. Михайлов узником, а Горянский чином.

— Но теперь я вынужден был снова просмотреть все вами написанное, и уже с особой целью.— Горянский значительно помолчал, знаменуя паузой переход к главному.— Мы хлопочем о наказании не столь суровом, как того заслуживает ваше дело. А для смягчения оного мы должны доказать, что воззвание «К молодому поколению» всего лишь прискорбный эпизод в вашей многолетней литературной деятельности, направленной в целом ко благу отечества. Вы меня понимаете, господин Михайлов?

Михайлов рассеянно кивнул, пытаясь вникнуть, какая же очередная каверза может скрываться под этой с виду гуманностью. Во всяком случае слова «всего лишь прискорбный эпизод» ему не понравились.

— Я просмотрел ваши книги и все журналы с вашим участием,— с нажимом повторил Горянский.— И, к сожалению, не нашел ничего подобающего случаю.

— Неужели ничего? — машинально переспросил Михайлов, прикидывая, что означает «подобающего случаю»?

— Совершенно! Ни одного стиха о государе.

Михайлов не мог усидеть на кровати, вскочил, зашагал по нумеру, сердце заколотилось. Неужто и в самом деле так? Ведь было время, да что время, годы были, десятилетие по меньшей мере, когда он пел хвалу чему угодно, неужто пропустил царя?

— А вы внимательно читали, господин Горянский?

— Я искал! — подчеркнул Горянский.— И не нашел ни строки.

Михайлов нервически рассмеялся, заметался по нумеру.

— Да как же, как же! — хрипло воскликнул он.— А «Валтасара» читали? «В ту ночь, как теплилась заря, рабы зарезали царя» читали? — И он снова несвойственно ему хихикнул, не в силах сдержать радости. Ведь другие пели, многие пели славу царю — по обычаю, от благодушия, по разным поводам, по религиозной умильности, по семейной традиции обожать государя, пусть не конкретного, пусть вообще, но так принято на Руси сыздавна. А его миновала чаша сия, значит, уже не зря прожиты годы! — «Он знаменье креста творил рукою правой, а левой распинал народы на кресте», и этого не читали?

— Не советую вам глумиться над святыми для всех понятиями,— холодно сказал Горянский.

— Для всех! — ликуя, воскликнул Михайлов.— Прямо-таки для всех! — И все бегал от окна к двери и обратно.

— Именно так,— спокойно продолжал Горянский.—

Восхваление самодержца всегда было национальной традицией российской словесности. Вспомните Ломоносова.

— Помню, господин Горянский, помню и осмысливаю.— Михайлов остановился перед ним и даже пригнулся к голове Горянского, намереваясь вдолбить ему истину.— А осмысливая, прихожу к выводу, что всякая ода самодержцу есть снижение его через восхваление, ибо поэт становится в позу национального жреца и судит о всемогущем, тем самым возвышаясь над ним. И потому ода легко переходит в сатиру, такую, например: «Но довольно, спи спокойно, незабвенный царь-отец, уж за то хвалы достойный, что скончался наконец».

— Давайте брать не шалости, а истинную поэзию, Пушкина, допустим: «Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю: я смело чувства выражаю, языком сердца говорю».

— Но чем заканчивается это стихотворение, господин Горянский? «Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу».

— У вас избирательная память, господин Михайлов.

— Это натурально, как и у вас, господин Горянский.

— Хорошо, давайте возьмем поэтов вашего круга. Аполлон Майков написал на смерть Николая Первого свою знаменитую «Коляску», и она стала известна всей России.

— «Коляска» легла пятном на репутацию Майкова, ему и кличка дана Аполлон Коляскин.

— И ваш приятель, Лев Мей,— продолжал монотонно Горянский, бледнея, но сдерживаясь,— также написал проникновенные стихи с посвящением государю.

Милый Мей, добрый и скромный, голодный и пьяный, как его осуждать, он таким уродился...

— Но у Мея есть и более достойные стихи, господин Горянский. «Суди же тех всеправедным судом, кто губит

мысль людскую без возврата, кощунствует над сердцем и умом — и ближнего, и кровного, и брата признал своим бессмысленным рабом»,— торжествующе прочитал Михайлов, и Горянского прорвало:

— Вы забываете, где находитесь, господин Михайлов! Вы предаете своего друга без всякой в том надобности. И обществу это станет известно, смею вас заверить!

Михайлов так и сел, иначе и не скажешь, Горянский враз пресек его беготню, так и сел на кровать, поправил халат на коленях, пробормотал потерянно:

— Это не его стихи...

— Ваши,— язвительно подсказал Горянский.

«Они делают из меня шута горохового!»

— Я не желаю с вами беседовать! — Михайлов запахнул халат, со стуком стряхнул башмаки на пол и лег на постель, и тут же увидел себя со стороны — взъерошенного, в арестантском платье, с желтым лицом. Поднялся, испытывая дурноту от быстрой смены положения, заговорил сдавленно: — Вы снова убедились, господин Горянский, человек не создан для вашего гадкого, мерзкого, отвратительного заведения! Даже святое дело — поэзию — вы используете, как пакость.

— Наше учреждение скорее ваше, господин Михайлов, ибо создано такими же, как вы, недовольными всем и вся. Ваше разрушительное слово из века в век укрепляло и расширяло тюрьму, и тем самым род человеческий защищал себя — от вас. Государство — это борьба с хаосом, вы же копаете под те принципы, которые направлены на защиту рода от посягательств анархических индивидуальностей. «Мы все глядим в Наполеоны; двуногих тварей миллионы для нас орудие одно». И встают на защиту учреждения для вас гадкие и отвратительные, ибо они мешают вашим разрушительным поползновениям. И они будут мешать, смею вас заверить, господин Михайлов.

— Я не могу с вами спорить, поскольку вы напомнили, чем это грозит. У вас тут допустимы не диалоги, а охранительные монологи. Могу сказать одно: придет и наше время, смею вас заверить, господин Горянский. Развитие идет в борьбе.

— А коли борьба, то в ней самое меньшее две стороны в схватке. Мы вами не станем, а вот вы нами!.. Будут те же рукавицы, только навыворот. Переименуете все в жерминали, конвенты, гильотины и возьметесь за дело еще покруче. Вы исполните предсказание Чаадаева из его Философических писем: вселенская роль русского народа велика и состоит в том, чтобы своей судьбой преподать народам некий важный урок.

Неспроста Герцен называл Горянского ученым другом Шувалова.

— И вы уже начали его преподавать, господин Михайлов, заполняя крепость своими сподвижниками — студентами. Они верят вам как известному литератору. Триста человек сидит в крепости по вашей милости! Им даже места не хватило в Петропавловской, часть их отправлена в Кронштадт, то есть мы вынуждены расширить тюрьму в ответ на ваши призывы к свободе.

Михайлов молчал, потрясенный вывертом собеседника. Плохо, если жандарм не думает, но уж если думать начнет,— все с ног на голову. И убежденно, последовательно. Не зря у него Станислав на шее.

— Если б не было нас, человек до сих пор ходил бы в звериной шкуре и объяснялся жестами,— устало сказал Михайлов и попросил: — Я бы хотел отдохнуть, господин Горянский.

Горянский докурил папироску, поднялся, остановился возле кровати над Михайловым.

— При всей безусловной вредности ваших действий наше гадкое, мерзкое учреждение сохраняет по мере возможности гуманное к вам отношение. Мы хлопочем о на-

казании как можно более мягком, не желая доводить до суда в сенате. Я прошу вас написать государю о своих литературных занятиях. Если вы и здесь начнете упрямиться, мне хотелось бы знать, ради чего?

— Вы уже знаете, о государе у меня нет ни строки.

— Это частность, не принимайте меня за глупца. Неужели за пятнадцать лет ваших трудов, и трудов, я знаю, весьма плодотворных, в них не найдется и на золотник пользы отечеству? Не упускайте возможности, господин Михайлов. При всей прискорбности своего положения вы не можете упрекнуть нас в отсутствии благородства.

— Мне надобно подумать,— сказал Михайлов.— Я тут достаточно понаговорил и уже понаписал лишнего...

Горянский ушел. Михайлов успокоенно лег на кровать, заложив руки за голову. «И на золотник пользы отечеству...» Стало грустно. Почему-то никогда и никто не просил его вспомнить о его трудах за пятнадцать лет. Ни одна душа не спросила! Вот только где сподобился...

«И хладнокровно, беспристрастно прочтешь прошедшего скрижаль, как станет грустно, станет жаль, что столько прожито напрасно»,— написал он давным-давно, лет девятнадцати-двадцати.

Так почему же он не пел славы государю? Ведь он добр по натуре своей, снисходителен, Чернышевский еще в университете сказал: «У него слишком доброе сердце». Он бескорыстен, последним рублем поделится, а вот славы царю почему-то пожадничал.

Наверное, потому, что родился и вырос в глухом краю, вдали от столиц, где до бога высоко, до царя далеко, хотя семья его была отнюдь не бедной и не простой — отец дворянин, а мать княжна, пусть и захудалого рода. Дворянство Ларион Михайлович заработал своим горбом. В шестнадцать лет поступил кописстом в Симбирское губернское правление, стал писцом, далее столоначальником, получил чин коллежского регистратора, губернского

секретаря; служил усердно, получал чин за чином и в двадцать восемь лет, уже титулярным советником, был назначен в Оренбургскую казенную палату губернским казначеем. Губерния именовалась Оренбургской, но все гражданские ее учреждения — казенная палата, губернское правление, духовная консистория и прочее — находились в Уфе. Здесь Ларион Михайлович женился на дочери генерал-лейтенанта Уракова. В приданое от родителей невеста получила именьице Яхонтово, пятьсот десятин земли и двадцать шесть душ крепостных. Уже после рождения сыновей Михаила и Андрея, на шестом году семейной жизни, Ларион Михайлович был удостоен дворянского звания в связи с награждением его орденом святой Анны третьей степени. В Уфе мало кто знал, что крупный губернский чиновник и теперь уже дворянин Ларион Михайлович в прошлом всего лишь отпущенник из крепостных, но сам он никогда своего происхождения не забывал и детям своим завещал помнить дедушку, крепостного Михаила Максимовича, Михайлушку, как его звали все. Совсем молодым парнем Михайлушка был привезен из родного села Чурасова в село Парашино и вскоре стал служить в конторе тамошнего помещика Куролесова, пьяницы, развратника и самодура, поистине изверга рода человеческого. Он не только порол крепостных, но мог и заковать невинного в кандалы, сажал дворовых в погреба и овинные ямы, морил холодом и голодом, забивал до смерти. В конце концов лютого барина отравили мышьяком. Началось следствие, селу грозила беда, но все уладил необыкновенно умный и ловкий Михайлушка из конторы барина. Вдова покойного, тоже испытавшая горя от самодура, сделала Михайлушку своим поверенным в делах, а вскоре и отпустила его на волю. Потом оказалось, вольная составлена не по форме, и Михайлушку снова закрепостили. Всегда покорный, покладистый, здесь он взбунтовался, его высекли и посадили в острог. А он уже к тому

времени был отцом семейства, человеком почтенным, Михаилом Максимычем, никогда его не пороли. До того тяжким стал для него позор, что он слег и вскоре умер. Дети его все-таки получили вольную, и Ларион выбился в люди.

Родня по линии матери совсем другая. Крепостными Ураковы не были, приняли когда-то давно русскую веру, княжеское звание за ними было оставлено, наверное, еще при Иване Грозном, и с тех пор служили Ураковы царю верой и правдой, ездили в степь с государевыми наказами, уговаривали, усмиряли, приводили в российское подданство башкир, черемисов и тептярей, татар и казахов. (При Петре Великом и ранее, при Федоре Иоанновиче, степняков называли правильно — Казачьей ордой, а при Екатерине стали называть Киргиз-кайсацкой ордой, возможно, чтобы отличать казачье сословие от народности.) Заводили имения, получали военные звания. Шурин Лариона Михайловича, Александр Васильевич Ураков, был крупным помещиком Уфимского уезда.

Первого ребенка в семье назвали в честь деда Михайлушки. Он родился полуслепым, с трудом раскрывал веки, и служивший в то время чиновником при оренбургском военном губернаторе Владимир Иванович Даль, по образованию лекарь, сделал операцию век. Маленький Миша стал видеть, но неподвижность прорезанных век так и осталась на всю жизнь. Когда ему исполнилось шесть лет, семья переехала в Илецкую защиту, где отца назначили старшим советником на соляной промысел (позднее он стал управляющим).

Небольшой городок был обнесен земляным валом от набегов кочевников. Три-четыре улочки застроены кое-как домишками поселенцев после срочной каторги. Среди халуп возвышались казарма для ссыльных рабочих, дома воинской команды да ветхая церковь — вот и вся Илецкая защита.

Вся — и не вся, поскольку за городком, на горе, стояла еще и серая крепость с зубчатыми стенами, а в ней содержались каторжные. Они-то и составляли главную рабочую силу на соляных карьерах. Кандальники занимались вырубкой и выноской соли в бунты и шатры, разбивали ее на кома, распиливали на бруски. Днем кандальников можно было встретить и в самом городке, они развозили воду, кололи дрова, исполняли всякую черную работу, и от общения с ними не был избавлен никто из жителей.

Первой наставницей Миши стала его тетушка по отцу Катерина Михайловна. Она не умела читать, но знала много сказок, шуток и прибауток, рассказывала про жизнь в крепостной деревне, про лютого барина Куролесова, про судьбу дедушки. Учила его молитвам и хорошему поведению. Перво-наперво — отказывать дворовым, если они тянулись поцеловать руку баринушке. Темная была тетя Катя, не знала, что в дворянских усадьбах и барских хоромах учили-то как раз обратному: и шапку вели сымать, и ручку подавай дворне, а на тех, кто не целует персты, папеньке жалуйся, пусть их высекут на конюшне. Потом появились у Миши учителя — и француз, и немец, и русский Андрей Васильевич, студент, отданный в солдаты за грехи перед царем-батюшкой. Чему могли научить малыша эти люди, загнанные несчастливой судьбой в глухую Илецкую защиту? Многому. И не только словесности, истории, естествознанию, языкам немецкому и французскому, латинскому и греческому, математике, каллиграфии, географии,— не только. Они учили мальчика, и сами того не сознавая, отношению к царской власти, всей своей долей учили, неизбывной своей тоской по лучшей жизни. С глубокой печалью в голубых глазах говорил Андрей Васильевич о господстве зла на земле, о святости страданий и гибели на благо отчизны, говорил не по писанному, будто сам с собой, а малыш слушал и горевал вместе

с учителем. Иной раз Андрей Васильевич приходил на урок после возлияния в честь бога гроздий, ярко вспоминал студентскую жизнь и запевал: «Аристот ученый, древний философ, продал панталоны за сивухи штоф». Ученик с большой радостью подпевал, а вечером с маменькой или с тетей Катей во все горло делился багажом знаний: «Властелин Китая смотрит подлецом, если в чашку чая не добавят ром».

Больше других предметов мальчика привлекала словесность, он с упоением читал все подряд, ему легко давались языки, а стихи просто мешали ему говорить нормально — он надоедал домашним, читая наизусть длиннейшие поэмы на разных языках, упиваясь ритмом, не всегда понимая смысл, лишь бы певуче тянуть слова, наслаждаться слогом и рифмой, а там, где строка вылетала из памяти, тут же присочинять свое.

Большую библиотеку отца составляли не только тома по горно-соляному делу, но и журналы петербургские и московские, лучшие книги отечественной литературы и все столичные газеты. Мать Миши любила музыку и сама играла на фортепиано, хотя свободного времени у нее оставалось совсем немного, один за другим рождались дети, четверо сыновей после Миши — Андрей, Николай, Петр, Павел и, наконец, дочь Софьюшка.

Мать умерла, когда Мише исполнилось двенадцать лет, а спустя четыре года скончался и отец. Шестерых сирот мал мала меньше родственники Ураковы забрали в Уфу и здесь уже тех, кто постарше, отдали в гимназию.

В шестнадцать лет Михайлов послал кипу своих стихов в Петербург, в журнал Кукольника «Иллюстрация». Два из множества были напечатаны. Получив журнал, воодушевленный пиит тут же сел за перевод с французского романа Альфонса Карра. Он завалил «Иллюстрацию» переводами и стихами, бедный Кукольник вынужден



был напечатать извещение для своего уфимского сотрудника, дескать, вас мы ценим, но всего пока напечатать не можем и даже ответить на все ваши послания мы не в силах.

Летом сорок шестого года Ураковы направили четверых братьев-сирот в Петербург, снабдив их заручкой (рекомендательными письмами) к влиятельным столичным знакомым и к начальству горного корпуса. Николая, Петра и Павла приняли в корпус на казенный счет, а Михаил получил отказ по слабому зрению. Не особенно огорчаясь отлучением от горной службы, Михайлов пошел в университет. На первой же лекции он познакомился с юношей из Саратова по фамилии Чернышевский. Разбитной и живой Михайлов, уже печатавший в журналах свои труды и потому стоявший на голову выше других студентов, не прочь был взять шефство над семинаристом, скованным и застенчивым (в тетрадках для лекций он рисовал крест и писал «во имя Отца и Сына»), однако начитанным и весьма неглупым. Они подружились, и Чернышевский чуть ли не в каждом письме домой стал поминать Михайлова: «Он очень умная и дельная голова. Несколько статей его в прозе и десятка полтора стихотворений есть в «Иллюстрации» за нынешний год. Теперь он почти перевел Катулла (латинский поэт)».

«...В десять часов утра отправился к Михайлову... читали «Отечественные записки» и приложения к «Современнику». Приложением был роман Герцена «Кто виноват?», но Чернышевский не сообщал о том, стараясь не тревожить родителя. Отец его, саратовский протоиерей, благочинный и член консистории, строго следил за воспитанием сына и требовал отчета в письмах, не читает ли он дурных книг и не заводит ли дурных знакомств.

«Редкий день проходил без того, чтобы Михайлов не был у нас или я у него...»

«Он со мной откровенен, очень откровенен, но у него

такой уж характер, не то, что у меня. Впрочем, и я с ним гораздо более откровенен, нежели с другими. Не любить его нельзя, потому что у него слишком доброе сердце».

Михайлов печатался постоянно в журналах и газетах, не разбирая их направления, не брезговал даже и «Сыном отечества». Позднее он самому себе удивлялся — до чего плодотворной была его первая петербургская пора! Просто уму непостижимо, столько он умудрялся писать стихов и статей и столько переводить! Спачала так и перли стихи романтические и возвышенные, но скоро на бездумные свои вирши Михайлов начинает смотреть критически: «Я сказал бы вам при встрече, если вы умнее стали: «Переменим эти речи, чтобы нас не осмеяли!» Пишет о безрадостной крестьянской жизни, о падшей женщине Наде, о трясине повседневности: «Нынче, в мирной тиши, он в уездной глуши процветает; Служит — все о делах да про восемь в червях рассуждает». Его не привлекают «сыны рутины, оракулы и гении толпы — творцы блаженной середины, дешевой мудрости дешевые столпы», он все чаще одинок и печален: «Мрачно ель кивает мне издалека... Сердце замирает, душу рвет тоска». И снова утешение в книгах.

Он переводит Анакреонта, Лукиана, Паллада, Алкея, Симонида, Мосха... В трех номерах «Литературной газеты» печатает большую статью о поэзии Сафо и приводит подстрочные переводы почти всех сохранившихся ее стихотворений. Переводит не только греков, но Гете, Шиллера, Гейне, Делавиня, Уланда, Шамиссо и даже Шатобриана. Он брал не просто то, что под руку попадет, а искал-выискивал, выбирал, как выбрал, к примеру, стихотворение «У дверей» из лирики Рюккерта: бедняку не проникнуть ни в дом Счастья, ни в дом Любви, ни в замок Славы, ни в дверь Богатства, одна ему остается дверь... «И верно, хоть много в Могиле гостей, найдется местечко мне, бедному, в ней!»

Он легко вошел в круг петербургских литераторов, но жилось ему все труднее. «Такой уж у него характер...» Чернышевский считал каждую копейку, в письмах домой отчитывался, сколько потратил на новый мундир и на перешивку старой шинели, записывал траты на извозчика, а Михайлов все откладывал свои подсчеты на завтра, а сегодня сорил деньгами, проматывая остатки отцовского наследства. Журналы задерживали гонорар, бывало, и сам издатель сидел без денег, да и платили-то гроши. А «Литературная газета» посылала Михайлову вместо гонорара бесплатный экземпляр. И вот на карету уже денег нет, и Михайлов бегает по Петербургу пешим, и за квартиру нечем платить, а родственники из Уфы сообщают, что брат его младший уже служит, а он, Михаил, зря золотое времечко тратит на занятие пустое и совсем бездоходное. Слова горькие, а за словами и дела еще горше — для вящего вразумления родственники в пособии ему отказывают.

Пришлось оставить университет и призадуматься о службе. Ему нужен чин, хоть какой-нибудь, ибо в России чин, как для черепахи панцирь. Он уехал в Нижний Новгород, где жил Даль, занимая видный пост управляющего удельной конторой, и пошел по стопам отца — стал писцом в Соляном правлении. В виде испытания его допустили к «письменным занятиям по развозу соли». Через два года он получил чин коллежского регистратора, а еще через два — губернского секретаря.

По службе он общался с людьми самыми разными, с приказчиками соляных магазинов, с солевозцами, с оброчными крестьянами, возившими соль по найму купцов, с городским трудовым людом; а после службы знакомился с Нижним, городом весьма колоритным, своеобразным. Жило в нем тридцать тысяч душ — мещане, ремесленники, купечество, духовенство, чиновники и дворяне. По праздникам звонили колокола сорока церквей. На цент-

ральных улицах по вечерам горели фонари с конопляным маслом. Весной в пору ледохода гудел на Софроновской площади бурлацкий базар, где купцы и приказчики подбирали на суда тягло. А летом на ярмарку съезжались купцы из Индии, Персии, Китая, привозили диковинные товары.

В городе были гимназия, дворянский институт и духовная семинария. Был театр, заведенный князем Шаховским, с актерами из крепостных. Были и свои знаменитости — Даль, уже известный под именем Казака Луганского, которого сам Белинский называл одним из лучших наших беллетристов, Улыбышев, музыкант и музыковед, он издал в Париже три тома «Новой биографии Моцарта» и стал всемирно известным. Улыбышев собирал у себя музыкантов, среди них выделялся гимназист Миля Балакирев, а литераторы собирались у Даля — Мельников, впоследствии Печерский, Авдеев, путейский офицер в каске с черным волосяным султаном, Михайлов с ним подружился, бывал у Даля и юный Петя Боборыкин.

В Нижнем Михайлов скоро разведал, где какие книжные собрания, стал посещать публичную библиотеку, заходил в семинарию, где было собрано более четырех тысяч книг не только духовного, но и светского содержания. В семинарскую библиотеку хаживал в те дни и любимец семинарского начальства, прилежный и смиренный Коля Добролюбов, писавший длинные сочинения о мужах апостольских и о том, что «господь дает премудрость, и от лица его познание и разум».

На службе Михайлову благоволят («уж такой у него характер»), и он легко выкраивает время для своих основных занятий, досконально изучает европейскую литературу, переводит «Фауста», печатается в той же «Литературной газете», в «Москвитянине», в «Нижегородских губернских ведомостях».

А Чернышевский тормошит его в письмах: «Приезжайте и завоевывайте административное и литературное положение, победа сама напрашивается...» «Присылайте мне что-нибудь с почтою, если у вас есть что-нибудь такое, где бы не говорилось ни о боге, ни о чорте, ни о царе, ни мужиках (все эти вещи — не цензурные вещи), где бы, наконец, не было никаких следов чего-нибудь жоржзандовского, вольтеровского (которым изобилует Ваша «Тетушка»,) григоровического, искандеровского и т. д.»

«Фауста» я носил к Краевскому; он сказал, что поместит с большим удовольствием, когда цензура будет не так свирепа, но что теперь нечего даже и хлопотать — запретят целиком... В самом деле, свирепость цензуры доходит до неимоверного. Елагин просто говорит: «Что я вычеркнул, за то я не боюсь, а что пропустил, то мне во сне снится; по мне хоть вся литература пропадай, лишь бы я остался на месте».

«Все более и более вовлекаюсь в политику и все тверже и тверже делаюсь в ультрасоциалистическом образе мыслей»,— сообщал о себе Чернышевский.

В Нижнем у Михайлова пошла, наконец, проза, а то все были лишь статьи да очерки, да так пошла, что он бросил писать стихи. Отныне он только беллетрист, хотя и не напечатал еще ни строки. Закончив первую свою повесть — «Адам Адамыч», он сразу же прочитал ее Далю. «Все до того грязно,— оценил Даль,— что с души прет, слушая».

О чем повесть, вспомнить нетрудно, но чем она так возмутила Казака Луганского, Михайлову и по сей день неясно. В уездном городке Забубеньеве в доме помещика живет немец Адам Адамыч, обучающий четырех чад помещичьих немецкому языку и каллиграфии. Над добрейшим, доверчивым и наивным Адам Адамычем издеваются все, кому не лень,— и сам помещик, и чада его, и дворня; его всячески разыгрывают, смеются над его неправиль-

ной речью, спаивают его, непьющего, возят на охоту, чтобы посмеяться над его стрельбой попусту, хотя и сами стрелки невеликие: «Дениска застрелил одну только утку, и то, как после оказалось, не дикую». Адам Адамыч романтически и возвышенно относится к женщине, чем пользуется пышная мельничиха, выуживая от него кокетством подарки и деньги. Аппетиты мельничихи растут, в конце концов Адам Адамыч оказывается в ее постели, но тут является грозный мельник, и побитый Адам Адамыч едва уносит ноги. Происшествие становится известно всему Забубеньеву, внимание к Адам Адамычу растет, его заманивают на литературно-художественный вечер, где собралось общество, заставляют его читать стихи, которые он с таким волнением сочинял для публики. Когда он произнес первые слова своей идиллии: «Один овец...», раздался хохот такой откровенный и всеобщий, что только теперь бедный Адам Адамыч понял истинное к нему отношение, ушел домой, слег в постель и уже не вставал до гроба. «Если кто-нибудь спросит теперь в Забубеньеве об Адам Адамыче, то там скажут: «Что-то не помнится, чтобы был здесь когда-нибудь такой человек. Может, был, а может, и не было никогда такого».

Повесть была напечатана осенью 1851 года в «Москвитянине» и суждения вызвала самые разные. Один критик писал, что дарование Михайлова ударилось в крайность, в копировку всех без разбора явлений действительности, другой — что Михайлов по правдивости изображения сходен с художником Федотовым, на полотнах которого все, «как в обыкновенной жизни», и что Михайлов хорошо видит недостатки и пороки и «вооружается против них своим талантом». Западники называли повесть непристойной и даже похабной, славянофилы ругали повесть за дикость Забубеньева, один только «Современник» выступил в защиту Михайлова в обзоре Панаева: «Повесть «Адам Адамыч» принадлежит перу писателя, только что

выступающего на литературное поприще, и обнаруживает в нем дарование несомненное». А Шелгунов позднее назвал ее лучшей из всего написанного Михайловым.

Но что бы ни говорили и что бы ни писали, публика читала повесть нарасхват, и в свои двадцать три года Михайлов стал известным писателем. Повесть оказалась вполне произведением «натуральной школы», как ее определил Белинский, с ее основными признаками: герой наделен высокими, благородными устремлениями, он сталкивается со средой и терпит поражение, среда же в ответ не только не щадит героя, но всячески его бесчестит и, наконец, забывает. Такой и была натуральная российская жизнь.

«Адам Адамыч» вывел Михайлова на «Гоголеву дорогу». Прощай, служба, и здравствуй, литература, теперь уже до конца дней! Он смело возвращается в Петербург, имея при себе солидный запас прозы — роман о провинциальных актерах «Перелетные птицы», повесть «Кружевница» о судьбе обманутой девушки, рассказы и сцены из простонародного быта.

Он соскучился по Петербургу за четыре года, ехал туда с великой радостью, надеясь на новую жизнь, а приехав, скоро убедился, что мало что изменилось тут, да и не в лучшую сторону. Те же франты в кофейне Излера жуют расстегаи, те же модницы снуют по Невскому, те же водевили в Александринке: «Волшебный нос, или Талисманы и финики», «Женатый проказник, или Рискнул да закаялся», красноносая дворня, швейцары с галунами, балы, лотереи-аллегри, петергофские фейерверки. Да и книги те же, девятым изданием вышла «Битва Русских с Кабардинцами, или прекрасная Магометанка, умирающая на гробе своего мужа. Русская повесть. В двух частях. С военными маршами и хорами певчих». Но больше стало пьянства в столице, больше картежной игры, больше взяточников среди чиновников, больше нищих по

улицам и в семнадцать раз больше, чем в Москве, самоубийств.

Каким бы он ни был, Петербург, «город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид», а Михайлов теперь уже никуда из него не поедет. Он купил платье по моде — рединготкороткий, панталоны в обтяжку. Для парадного выезда фрак черный, панталоны со штрипками — тоже черные, жилет белый вышитый, галстук белый и шляпа с высокой тульей. Но поселился уже с расчетом, не в гостинице на Невском, а в меблированных комнатах на Малой Морской.

Петербургские журналы приглашали Михайлова сотрудничать. Некрасов взял у него «Кружевницу», напечатал ее в «Современнике» и поручил Михайлову для заработка читать корректуру журнальных статей, а также вести «Хронику петербургских новостей и увеселений». В «Отечественных записках» он ведет «Разные разности», в «Санкт-Петербургских ведомостях» выступает с фельетонами, в «Библиотеке для чтения» печатает статьи.

Время для журналов было тяжелое, самый разгар мрачного семилетия, цензура свирепствовала, о писателях и достойных книгах нельзя было сказать доброго слова. Тургенев попал на съезжую (где, кстати, написал «Муму») только за то, что назвал Гоголя в газете великим писателем. Темы общественные и политические запрещались, тема любовная пропускалась только в том случае, если дело заканчивалось законным браком, всякий злодей должен был непременно раскаяться, а самоубийство вычеркивалось, как осуждаемое церковью. При такой опеке журналы вынуждены были печатать всякую ерунду, забавлять читателя пустяками вроде рецензии в «Отечественных записках» на книгу «Егерь, псовый охотник и стрелок». «Между разными советами «Егеря» понравился нам один своим удобством и пользою. Хотите ли быть

безопасны от нападения диких зверей? Ничего не может быть легче. Сделайте вот что: вымажьте себя, особенно сапоги, львиным салом, а к подошвам привяжите его кусками крепко, чтоб не потерялось: «тогда не только по следу вашему не пойдет никакой хищный зверь, но будет еще убегать от вас, если набредет случайно и услышит запах».— Ну, а если зверь не побежит, тогда что? Тогда — ничего: он съест вас и с подошвами, приправленными львиным салом. Для наших зверей это будет редкое блюдо».

Михайлов больше не печатал стихов, но писал и складывал их в стол. «Как храм без жертв и без богов, душа угрюмо сиротеет; над нею время тяготеет с суровым опытом годов. Кумиры старые во прахе, погас бесплодный фимиам... Но близок миг — и, в вещем страхе, иного бога чует храм!»

Началась Крымская война, поднялись цены в лавках и на рынках, оброчные крестьяне стали разбегаться по деревням, там начались бунты, поджоги имений; по улицам городов бродили толпы нищих, больных, увечных, прося подаяния. В газетах печатали объявления о продаже людей наравне с колясками, лошадьми и гончими. Взрослая девка стоила сто двадцать рублей ассигнациями или тридцать пять рублей серебром, а мужик, годный к военной службе, вдесятеро дороже. С полей сражения приходили вести безрадостные. За недостатком боеприпасов командование отдало приказ на десять выстрелов врага отвечать одним. Ополчение ходило врукопашную с топорами. Интенданты воровали у солдат пропитание и одежду, расхищали медикаменты, продавали врагу корпию... Резко увеличились барщина и оброк, поднялись налоги. По губерниям пошли холера и тиф. Журналы вынуждены были молчать, литераторы передавали тайком свой запечатленный гнев и, среди прочего, стихи Михайлова: «Спали́, господь, своим огнем того, кто в этот год

печальный на общей тризне погребальной, как жрец, упившийся вином, в толпе, рыдающей кругом, поет с улыбкою нахальной патриотический псалом».

Жить на литературный заработок стало совсем трудно. Одно время пригрела Михайлова «Библиотека для чтения», соредакторами ее были Сенковский и Старчевский. За Михайлова хлопотал Дружинин: «Он необыкновенно трудолюбив и рьян в работе, дружен со всеми литераторами, аккуратен. Если вы не отдумали найти человека для управления двумя или тремя отделами в журнале,— вот вам редкий помощник». Хлопотал Мей, хотя и сам сидел в нужде, приезжал в «Библиотеку» и красочно расписывал тяжкое положение Михайлова. Редакция сдалась, оплатила его долг в пятьдесят рублей серебром за старую его квартиру в доме княгини Любомирской, нашла ему новую в доме Струка, под самой редакцией, а поскольку у подопечного не оказалось ни стола, ни стула, дали ему мебель, но за все эти блага нещадно урезывали ему гонорар и торговались донельзя по каждой его рукописи. То и дело приходилось Михайлову посылать записки Старчевскому: «Не можете ли Вы быть так добры, почтеннейший Альберт Викентьевич, снабдить меня не более как на пять дней пятнадцатью рублями...», «Нет ни полена дров...», «Одолжите мне в виде субсидии...»

18 февраля 1855 года над Зимним дворцом появилось черное знамя — почил в бозе Николай I, скоропостижно и загадочно, будто бы приказав своему лекарю отравить его. Слух поддерживался неохотно, не верилось, что деспот способен был прозреть и, увидев, до чего довел Россию, казнить себя.

На войне люди гибли тысячами, сотни тысяч погибло, но их смерть не отразилась на жизни страны так, как на ней отразилась смерть одного человека — государя императора. «Смерть Николая — больше, нежели смерть чело-

века: смерть начáл, неумолимо строго проведенных и дошедших до своего предела»,— писал Герцен.

В августе после жестокого штурма неприятель захватил Малахов курган, Севастополь пал и война кончилась.

Два эти события потрясли Россию, все будто очнулись после долгого, угарного сна, все почувствовали некий перелом, возникла необходимость думать, появилась возможность говорить. «Точно небо открылось над нами, точно у каждого свалился с груди пудовый камень»,— говорил Шелгунов.

Всюду стали обсуждать причины бедствий и поиски выхода. Даже «ничтожнейший из ничтожных», министр двора граф Адлерберг, заявил, что с крепостным правом больше нельзя жить, оно везде и во всем мешает, как бревно на дороге.

Повеяло духом перемен. Если в сороковых годах быть либералом означало рисковать службой, а то и свободой, то в пятидесятых, после войны, либерализм стал выгоден и приятен, он составил правительственную партию. Официально и прежде не поощрялись бесчинства, казнокрадство, взятка, воровство, но попробуй только слово сказать о том, что такие пороки в России есть. Теперь же появилась такая неслыханная для России возможность.

Оживилась и литературная жизнь. В Москве явилась сразу полдюжина журналов — «Русский вестник», «Парус» и «Русская беседа», «Атеней» и «Московское обозрение», не отставал Петербург, здесь появился «Экономический указатель», ратующий за личную поземельную собственность и неограниченную конкуренцию, стали выходить сатирические журналы, все больше смелых и дельных статей печаталось в «Современнике» и в «Морском сборнике».

Осенью пятьдесят пятого года Михайлову выхлопотали участие в литературной экспедиции, но тут пошла в Петербурге такая жизнь, такая дружба всех со всеми

(не говоря уже о знакомстве с Людмилой Петровной), что он вынужден был отложить поездку почти на четыре месяца.

Прямо из Севастополя прибыл в Петербург молодой граф и уже известный литератор Лев Толстой и привез с собой первые главы «Юности». Только что из Японии вернулся Гончаров и привез «Фрегат Палладу», из деревни возвратился Тургенев с первым своим романом «Рудин», Анненков завершил огромный труд над новым изданием сочинений Пушкина, Дружинин перевел «Короля Лира», Аполлон Григорьев — «Сон в летнюю ночь», Фет — «Юлия Цезаря». Оказалось вдруг, все трудились в поте лица, несмотря на гнет николаевщины, и теперь съехались в Петербург отпраздновать завершение своих дел. Сходились поутру у Тургенева на Малой Конюшенной, всей ватагой ехали обедать к Некрасову на Литейный, он болел и сидел в квартире безвыездно. Вечером отправлялись куда-нибудь к цыганам, или к богачу графу Кушелеву-Безбородко, или к издателю «Отечественных записок» Краевскому, или в оперу слушать итальянскую диву Анжелику Бозио, или на маскарад, или в салон Штакеншнейдеров. Толстой читал собратьям главы из «Юности», Гончаров — из «Обломова», обсуждали переводы Шекспира, усмиряли «троглодита» Толстого, который заявил, что «удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою» и что героинь Жоржа Занда следовало бы ради назидания привязывать к позорной колеснице и возить по городу. Тасовали новости из верхов, исходящие от товарища министра князя Вяземского и других лиц. Литераторы вдруг стали людьми заметными, с ними искали знакомства чиновники и министры, охотно сообщали им слухи — создан секретный комитет по освобождению крестьян, ожидается декабристам амнистия.

Россия стояла на повороте.

Повернулся ключ в замке, и Михайлов поднял голову — кого принесло, Путилина? Вошел незнакомый пожилой господин генеральского чина, со звездой и с приятным, неглупым лицом, возможно оттого что в очках. Негромко и спокойно представился:

— Фердинанд Фердинандович Кранц, ведаю политическими делами собственной его императорского величества канцелярии.

Закурив тоненькую дамскую папироску, генерал стал неспешно ходить по нумеру, ступая мягко и пружинисто.

— Я помню вашего трогательного Адама Адамыча.— (Повесть была переиздана недавно с посвящением Тургеневу.) — Читал ваши статьи о женщинах, знаю ваши переводы Гейне и очень уважаю ваш талант.— Он говорил спокойно и внушительно, не преследуя, казалось, никакой иной цели, кроме оценки трудов своего слушателя.— Извините мое выражение, но я вам говорю от души: вы сделали непростительную ошибку.— Он остановился возле Михайлова, держа у пояса дымящую папироску.— Ошибку, которую не поздно исправить.— Он снова отошел от вежливо молчащего Михайлова и заговорил как бы сам с собой: — Все мы забываем, к сожалению, кому обязаны пока немногими, но твердыми шагами вперед, всем нам хочется в один прыжок перескочить к результатам, до которых доводят десятилетия, а то и века исторической жизни. Нам не терпится ровно, с благоразумной постепенностью идти по пути прогресса, нам нужно бежать сломя голову, не замечая пропастей и оврагов, да и не просто самим бежать, а еще подгонять и подзадоривать самую нетерпеливую, самую горячую да и самую, нечего греха таить, неразумную часть общества — молодое поколение. Вы согласны со мной, господин Михайлов?

— Идти ровно по пути прогресса невозможно, ваше превосходительство, неизбежны пропасти и овраги, которые роются самой консервативной, упрямой да и самой,

нечего греха таить, неразумной частью нашего общества. Преследования есть натуральная участь всякой новизны.

— Однако же вы в своем воззвании обрушиваетесь почему-то не на эту консервативную часть, а на самого государя, на наш принцип власти. Ошибка ваша в том и заключается, что вы не хотите понять, что государь совершенно одинакового с вами образа мыслей.

— Я нахожусь в условиях, которые не позволяют мне с вами спорить, ваше превосходительство.

— А мы и не будем спорить,— спокойно, ровно проговорил Кранц.— Дело ведь не только в вашем воззвании, многие ваши труды, в частности переводы, полны опасных идей. Одни ваши переводы возбуждают негодование к высшим сословиям, другие же оскорбляют религиозные чувства. Теперь добавилось еще и воззвание. Я вам предлагаю исправить свою ошибку, а для этого сделать простое дело — обратиться к государю. Наше дело карать, а его — миловать.

— Не успев еще понести наказание, я считаю противным совести обращаться к милости его величества.

— Напрасно, господин Михайлов, потом будет поздно. Тем более что государь, повторяю, одинакового с вами образа мыслей.

Разница в их позиции, как между петлей и петлицей. Михайлову надоели напоминания об одинаковости, и он резко сказал:

— По вашей логике, Третье отделение только тем и занято, что водворяет в каземат всех тех, кто имеет одинаковый образ мыслей с государем.

Кранц загасил папироску о пепельницу на шкапчике, лицо его стало жестким, неприязненным, правой рукой он потянулся к левому боку и вниз, будто за шпагой, в левой руке у него оказался бювар темной кожи, не замеченный ранее Михайловым, и далее генерал быстрым движением извлек — не шпагу, но нечто не менее острое,

жалящее — пакет, в котором рассылался лист, да еще с почерком Людмилы Петровны.

— Кем это писано? — Он поднес пакет к лицу Михайлова. Весь облик Кранца сразу погрубел, голос накалился угрозой.

— Мною писано.

— Это женская рука!

Куда девалось его спокойствие, его восторг литератором Михайловым,— все покрыла тупая настойчивость выпытать. И эта беспардонная смена возмутила Михайлова и помогла ему стоять на своем:

— Может быть, и похоже на женский почерк, а писал все-таки я.

— И это вы? — Кранц достал конверт, уже с почерком Вени.

— И это я.

Кранц положил конверты обратно, и бювар снова стал незаметен, как у фокусника.

— Напрасно вы упрямитесь, господин Михайлов. Мы хотим облегчить вашу участь и ограничиться административным выселением без суда. Если же дело станет рассматривать сенат, неизбежно привлекут ваших пособников.— При этих словах он выдвинул вперед бювар с конвертами.— Обращение к государю избавит вас от суда в сенате, подумайте, господин Михайлов.

Кранц откланялся и ушел.

А что, если и он и Горянский вполне искренне желают ему облегчения?

Черт возьми, но с чем он станет обращаться к государю? Ведь не с чем! Нет у него такой индульгенции, как у Майкова, сами же искали и ни строки не нашли. Если его сгноят в равелине, так не за дело, выходит, а за безделие — не писал славы царю.

«Ровно идти по пути прогресса». Если бы они встретились с Кранцем в ту зиму пятьдесят пятого года, то

Михайлов мог бы и согласиться, что не надо бежать сломя голову, не надо прать противу рожна, перемены и без того заметны и плодотворны. Так почему он не остался в тех воззрениях и не проникся благодарностью тому, кому Россия обязана «пусть немногими, но твердыми шагами вперед»?

Выходит, что не терпелось, и виною тому... что виною? Случай? Поездка в родной край? Бесчинства, невежество, рабство? Но другие-то смотрят и терпят, и живут-поживают, и счастливы,— а ему за что наказанье страдать и мучиться за них, за других, за всех? Будто он у бога теленка съел.

Нет, не случай тут, а сама судьба. Он будто проснулся, а до того спал. «Если смерть меня разбудит, я не здесь проснусь». Смерть в рассрочку его разбудила — всенародная. И он не здесь проснулся, не в петербургских салонах.

Да и Петербург изменился весьма заметно ко времени его возвращения, не было уже прежней дружбы всех со всеми, и первым в такую дружбу бросил камень Чернышевский. Сначала в своей диссертации он заявил, что художник творит не ради искусства, а во имя суда над жизнью. Некрасов взял его в сотрудники «Современника», и Чернышевский решительно набросился на сторонников чистого искусства, защищая критическое направление, прокламируя новую эстетику — демократическую. «У каждого века есть свое историческое дело, свои особенные стремления... Только те направления литературы достигают блестящего развития, которые возникают под влиянием идей сильных и живых, которые удовлетворяют настоятельным потребностям эпохи».

Дружинин просил Некрасова избавиться от Чернышевского и взять на его место Аполлона Григорьева, иначе «этот халдей» перессорит журнал со всеми литераторами. Но Некрасов не спешил уважить просьбу собрата, с ко-

торым вместе тянули на своих плечах «Современник» еще при Николае, остался с Чернышевским, да взял еще в сотрудники Добролюбова, который стал вести критику и библиографию, а Чернышевский перешел на отдел политической экономии.

Предсказание Дружинина сбылось, лучший журнал покинули лучшие его сотрудники — Григорович, Толстой, Островский, Тургенев и конечно же Дружинин (хотя тут утрата невелика, писания Дружинина Тургенев называл «пирогами с нетом»).

Ушли лучшие сотрудники, а «Современник»... стал еще более популярным, авторитет его рос с каждой книжкой, рос тираж, росли доходы журнала, и язвительный Дружинин заговорил о том, что Некрасов держит семинаристов для делания денег, хорошо зная, что пойдет для публики, а что не пойдет. Денежки есть — нет беды, денежки есть — нет опасности. Неправый в оценке факта, он подтверждал сам факт — читающая публика стала другой, она сильно пополнилась — за счет кого? В гимназиях и семинариях, в корпусах и институтах, в университетах появилось новое молодое поколение — из разночинцев. Особенно много их в Медико-хирургической академии, они съехались туда со всех губерний, медицинские науки в большом фаворе, студенты тянутся к материализму и приветствуют мужицких демократов «Современника».

«У каждого века есть свои особенные стремления».

Однажды в споре с Чернышевским Тургенев признался: «Вас я еще могу переносить, а Добролюбова не могу». Чернышевский пояснил причину: «Это оттого, что Добролюбов умнее и взгляд на вещи у него яснее и тверже». Тургенев тут же согласился великодушно: «Да, вы — простая змея, а Добролюбов — змея очковая».

А что Михайлов?

Нет, не пошел служить в Азиатский департамент по-

томок Урак-батыра — помешал потомок засеченного Михайлушки. Два угнетенных народа сошлись в одном человеке, и, какую часть его ни возьми саму по себе, личность его будет неполной — только вместе.

...Пришли к мудрецу паломники — скажи нам, что такое жизнь: слава или богатство, любовь или ненависть, смирение или борьба? Завязал им мудрец глаза и подвел к слону. Один оказался возле хобота, другой возле ноги, а третий у туловища. «Что перед вами, скажите, жаждущие истины?» Один говорит — змея, другой говорит — дерево, третий говорит — бочка. Открыл им мудрец глаза и изрек: всякая часть — только ложь целого...

И русские часть, и казахи часть, и литовцы, и малороссы, и калмыки. И ратовать за интересы только русских, только казахов или только грузин — значило бы изменять целому, народу российскому. И всякий пекущийся только о своей нации пребывает во лжи, ибо часть — всего лишь ложь целого. Михайлов лишен ограниченности и обречен на совокупность своим происхождением.

А совокупная истина в том, что все мы рабы, слишком мало это осознаем и не думаем о свободе. Вся его деятельность отныне — в добывании, в утверждении этой истины для других, для всех. Каким же способом? «В начале было слово». И остается слово в начале всех начал. И оно произносится, но не по-русски и не по-казахски, не по-литовски и не по-грузински. Языки в стране разные, а цензура для всех одна. Новое и нужное слово звучит вне пределов России, на чужом языке. («Колокол» — явление особое.)

Михайлов перестал думать о беллетристике, она в нем изжилась, и целиком отдал свои силы переводам иностранных поэтов, — той деятельности, которую пока еще позволяло правительство.

Он переводит, выбирая,— выбирая призывы, выбирая вопросы, выбирая ответы. «Брось свои иносказанья и

гипотезы святые; на проклятые вопросы дай ответы нам прямые! Отчего под ношей крестной, весь в крови, влачится правый? Отчего везде бесчестный встречен почестью и славой?» Он переводит «Песню о рубашке» Томаса Гуда, о тяжелой до слез работе, «Песни о невольничестве» Лонгфелло, стихи Эбензера Эллиота: «Его скорбеть учило зло — тиранство — стон раба — столица — фабрика — село — острог — дворцы — гроба́». Впервые в России издает книгу переводов Гейне. Просветительство стало главной его задачей.

А в Азиатский департамент пошел вместо него молодой султан Чокан Валиханов, сын казахов. Велика Россия, и народу в ней тьма, но как-то так выходит, что лучшие люди, будто по воле провидения, между собой связаны независимо от расстояния. Валиханов окончил Омский кадетский корпус, где преподавателем служил Лободовский, приятель Михайлова и друг Чернышевского по Петербургскому университету, а в экспедицию снаряжал Валиханова друг Лермонтова по Московскому университету Перемышльский.

В двадцать один год Валиханов поехал с миссией в Кульджу для решения пограничных вопросов и установления нормальных торговых отношений с Китаем,— поручение он отлично выполнил. В двадцать три года, с большим риском для себя, он проехал всю Кашгарию,— после Марко Поло чужеземцев туда не пускали под угрозой смерти. Известного географа Адольфа Шлагинтвейта казнили там, а голову водрузили на вершину пирамиды из черепов.

Валиханов подробно описал свои путешествия, труды его по истории, географии и социальному строю Восточного Туркестана стали справочным пособием не только для ученых, но и для государственных и военных деятелей. Кашгария в политическом отношении была важна как для России, так и для Англии.

По приезде в Петербург он получил чин штаб-ротмистра, орден святого Владимира и пособие в пятьсот рублей серебром (что не помешало ему вскоре влезть в долги). Он служил в Азиатском департаменте, заседал в Русском географическом обществе, посещал вольнослушателем университет, а по вечерам и ночам отдавал дань навыкам света.

Петербург носился с ним, как когда-то с молодым Мицкевичем. Его принимали в салонах, в кружках литераторов, в Генеральном штабе и в Государственном совете. Ученый-путешественник Ковалевский называл его гениальным молодым человеком. С Достоевским он познакомился еще в Омске, здесь подружился. Сошелся с Майковым, с Полонским, с братьями Курочкиными. Всеволод Крестовский строчил стихи по его сюжетам. Майкову он подарил тему «Емшана». Острил, высказывал язвительные суждения о столичных нравах, возмущенный чванливой пошлостью салонов: «Инородец, а такой образованный, такой светский, да к тому же еще и храбрый».

Он знал песни Урака, называл их рапсодией и относил его не к ногаям, а к казахскому роду караул. Урак, по его мнению, попал в плен к московитам, прожил там десять лет, женился на русской, наплодил детей, а потом затосковал по родине и вернулся в степь. От него и пошли Ураковы.

«Когда я... присутствую при споре сибиряков с расейцами, я желаю, чтобы сибиряки переспорили расейцев,— говорил Валиханов,— а когда читаю об Отечественной войне, то желаю победы русскому солдату над французами. Одна моя любовь вставлена в другую, другая в третью, вроде как ирбитские сундуки, маленький вложен в больший, а тот в еще больший...»

Валиханов покинул Петербург, как покинул его в свое время и Адам Мицкевич. И оба оставили по себе память в среде литераторов: один оставил «Емшан» и образ ир-

битского сундука, другой — «Приятелям москалям» и образ Конрада Валленрода...

Валиханов уехал в степь и писал оттуда письма Майкову и Достоевскому, сообщая им о намерении занять выборную должность, «чтобы примером своим показать землякам, как может быть для них полезен образованный султан-правитель». Но правителем его не выбрали, воспротивились тому и степные владыки, и русские чиновники в Омске. Не нужны провинции образованные правители, не нужны они и столице. Добролюбов прав: «Они хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители».

Пришло время оставить Михайлову переводы и заняться прямой публицистикой. Теперь он уже не только постоянный автор «Современника», но и служащий редакции. Некрасов пригласил его вести отдел иностранной литературы.

Душа решительно просила действия — и появился лист.

Вся Россия просила действия, но он смелее других шагнул, отчаяннее, и теперь, глядя на себя из каземата, пытается определить, чего он заслуживает, каторги или всего лишь высылки.

Не поможет он Горянскому перечнем своих трудов, ибо главное совсем не в том, что́ им написано, главное — в изменении его сознания. Другие вехи тут — вехи его прозрения. Шаг за шагом он шел и шел и вышел... к Цепному мосту. Как это символично — мост из прошлого в будущее на цепях! Каземат для него естествен как итог развития, закономерность, а не случайность.

Он ничего не сделал, чтобы заслужить помилование. Но что он сделал, чтобы заслужить каторгу? Можно ли назвать преступлением осознание себя человеком?

Слишком мало сделал... Другие сделают больше. Их мало, но они обязательно придут.

Явился Путилин. Прошелся по нумеру, громко возмущаясь:

— В крепости пустого места нет! Понатыркано, понасовано, шагу не ступишь — везде студенты. Триста душ забрано, куды годится? Университет закрыт, в столице развал-разброд, хоть бери да по краям Петербурга стены возводи и часовых ставь.— Он сел возле шкапчика, уставился на Михайлова, мол, что скажете, чья работа? — А ваши все здоровы, кланяются вам.

Где он их видел? Может быть, приходили сюда, просили свидания? Очень хотелось узнать, но лучше не спрашивать, у Путилина всегда наготове пакость, непременно солжет.

— А зачем все, а для чего все?! — горестно, по-бабьи посокрушался Путилин.— Ну скажите на милость, вы человек грамотный, скажите. «Долой правительство», а кто будет у власти? Давайте прикинем, язык же не отрубят, верно? Кто у власти? Царя вам не надо, министров не признаете, полиция вам противна, армию содержать дорого. Но какая-то сила должна же удерживать государство, чтобы оно не пошло прахом, Россию-то не один век собирали. В городах, допустим, разорят дворцы, нищеброды разграбят лавки и винные подвалы, крестьяне в деревнях пожгут именья, а дальше что? Ну, крестьяне, положим, хитрее всех, шалаш построят, хлеб посеют, урожай соберут. Вот они-то и выживут, те, о ком вы печетесь. А вы что будете делать? Будете песни им петь да непременно подблюдные, а то ведь побьют-с. Кто будет оплачивать ваши журналы, убирать ваши квартиры, возить вас в карете, пирожные готовить? Ведь ничего нет и никого нет, все уничтожено, конец свету, начинай все

с Адама и Евы. На какую силу вы сейчас можете опереться, которая сохранила бы для вас, я уже о себе не говорю, для вас хоть что-нибудь? Нет у вас такой силы. Властители умов — это не властители государств. Создавать может только власть, эта ли, другая ли, наша, ваша, но власть, правительство. Есть она у вас? Нетути. А у царя она есть, и он делает дело, а вы мешаете. С одной стороны мешают ему помещики, требуя оставить, как было, а с другой — радикалы, требуя ничего не оставлять. Куды годится? — Помолчал и опять перескочил на другое: — А Костомаров вам кланяется.

Проницателен, бестия, видит, что Михайлов не склонен прикидывать, кто ему будет готовить пирожные, сменил тему, наверняка что-то придумав.

И все-таки неспроста и Горянский, и Кранц, и Путилин заговорили об одном и том же — что будет? «Давайте представим, прикинем, государь делает улучшения» и прочее. Значит, нужны улучшения? Перемены необходимы?

— Костомаров очень даже огорчен, просил передать, чтобы вы на него не серчали. До чего порядочный человек! А ведь, если разобраться, так для него похмелье во чужом пиру. Кто-то заварил кашу, а ему пить чашу, не так ли, господин Михайлов?

С Костомаровым они больше не виделись. Министр внутренних дел Валуев учредил особую комиссию для расследования дела о московской Вольной типографии. Комиссия заседала в первой адмиралтейской части, и Михайлова туда возили. На вопросы о воззваниях «К барским крестьянам» и «К солдатам» он отвечал, что в сочинении их участия не принимал, от кого их получил, не помнит, а передал Костомарову одну из них для его личного прочтения и уничтожения.

— Другие типографщики уже в Москве, а Костомарова мы вынуждены держать в крепости,— как бы по

секрету продолжал Путилин.— Из-за вас, между прочим. На случай привлечения вас к суду, понимаете?

Как же тут не понять, все трое бьют в одну точку — обращайся, Михайлов, к государю. И будут ходить к нему без конца, варьируя свою игру. И козырей для выигрыша у них предостаточно.

— У его сиятельства графа Петра Андреевича имеются сведения, что студент Михаэлис распространял по университету «К молодому поколению». Как раз перед самым бунтом.— Путилин даже руки развел — не хочешь да увидишь прямую связь.— Михаэлис в крепости, и мы еще будем его допрашивать. Кроме того, его сиятельство знают о причастности полковницы Шелгуновой. Костомаров это подтвердит, для того мы его и держим здесь.— Путилин решительно поднялся и пошел к двери.— Не буду я с вами в прятки играть, господин Михайлов, скажу прямо: во избежание суда в сенате вам нужно обратиться на высочайшее имя за помилованием. Честь имею.

Путилин ушел.

«До чего порядочный человек Костомаров, говорит чистую правду...» Костомаров сломлен, и они будут гнуть его в нужную им сторону, веревки вить и узлы вязать. У него нет силы духа крепиться, ему не на что опереться, иссяк задор, он остыл еще до ареста. Теперь Михайлову ясно, что в августе он только затем и приехал к нему в Петербург, чтобы от всего отказаться. И мотивчик у него был готов: в духе Конрада Валленрода.

Да и для кого он обязан держаться, для чего? Кому он давал клятву? Чему присягал? «Похмелье во чужом пиру».

Костомарова нужно отсечь всеми средствами, избавить его от необходимости или возможности оставаться «до чего порядочным».

Есть перо, есть бумага, садись и пиши. Видно, они не

могут перечить воле царя, вернее, его роли. Но миловать без прошения освободителю не с руки. Вот они и стараются.

Он напишет государю, напишет, только, ради бога, никого не трогайте!.. Державнейшему, всемилостивейшему, всепресветлейшему великому государю императору, самодержцу всероссийскому.

«Глубоко чувствуя всю свою виновность, вполне сознавая преступность моего образа действий перед лицом закона, я не могу ни надеяться, ни ждать от него пощады или даже смягчения заслуженного мною наказания. Но милосердию государя не поставлено пределов, взывать к нему не воспрещено и закоснелым преступникам. Ему вверяю я свою участь с твердым упованием, что какое бы тяжкое наказание ни постигло меня, незлобивое и кроткое сердце государя не допустит, чтобы тень моих поступков отразилась на счастии и спокойствии непричастного к ним семейства, с которым я жил под одною кровлей.

Отставной губернский секретарь Михаил Михайлов».

Принять прошение на высочайшее имя явился генерал Кранц, подчеркивая тем самым важность акции.

Самохвалов принес обед, и Михайлов, опустошенный, сел хлебать щи. Вяло поел и уже допивал чай из оловянной кружки, когда явился новый визитер — священник в полном своем облачении. Пытливо глядя на Михайлова, он спросил позволения задать узнику один-два вопроса из сугубо личного любопытства.

— «Не заграждай рта у вола молотящаго»,— процитировал ему Михайлов, дожевывая остатки хлеба.

Священник тонко улыбнулся, не стал осуждать вульгарное толкование узником послания Павла к Тимофею, соединил на рясе худые белые пальцы и спросил, как господин Михайлов относится к студентам, которые в крепости.

— Да как же может относиться человек в здравом уме, к тому же с вашего позволения христианин, к надругательству над невинными? — с возмущением сказал Михайлов.

Священник кивнул, лицо бледное, глубокие серые глаза внимательны.

— Позвольте мне уточнить вопрос, господин Михайлов. Скажите, пожалуйста, где, у какого народа из всемирной истории было отмечено, чтобы люди в здравом уме, как вы изволили сказать, рвались в крепость, в узилище добровольно? У какого народа...

Голос, похоже, не лицемерный, или игра слишком искусная, тем более ее надо пресечь, и Михайлов перебил священника:

— Ваше преподобие, я не верю в чистоту помыслов людей, ко мне приходящих. Вот это мое обиталище,— он обвел рукой свой нумер,— меня к тому приучило. Скажите мне лучше прямо: с какой целью вы ко мне пришли? Если уговаривать меня подать прошение государю, то вы опоздали, я его уже подал. Меня и без вас тут мытарили целый день.

Священник кивнул, взгляда не опустил, только сузил глаза.

— «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то воспользуйся». Какой бы мрачной ни была неволя, христианину подобает сносить ее терпеливо и смиренно и не подозревать в злокозненности весь мир божий. Я служу в крепости и к делам Тайной канцелярии касательства не имею. Я пришел к вам от себя лично.

Прогрессист батюшка — «Тайной канцелярии». Его искренний тон и сдержанная обида смутили Михайлова.

— Вероятно, вы не точно выразились, ваше преподобие, сказав «добровольно в крепость». Если их окружили солдаты, то следовательно...

— Конвой окружил менее ста человек, остальные же с возгласом: «И меня берите! И меня! Вместе!» — прорвали окружение конвоя и воссоединились. Именно добровольно и нарочито.

Михайлов ощутил горячую волну восторга. Он не знал этой частности, этой святой частности!

— Вот я и пришел к вам спросить, в истории какого народа отмечена подобная склонность?

Вопрос для иерея крепости необычный, праздный. Но хорошо уже, что он не повторяет Шувалова и его сподвижников, не говорит, что знает и уважает литератора Михайлова, читал его сочинения, не взывает к его образованности, хотя своим вопросом косвенно подтверждает то, что служители Третьего отделения говорили ему прямо. И аспект его интересует странный — в истории какого народа? Впрочем, ощутим славянофильский оттенок. А они все религиозны, не только питаются церковью, но и питают ее.

«Какого народа...» Да любого! Михайлов так и сказал:

— Я полагаю, что единство при благой цели свойственно любому народу.

Священник чуть заметно склонил голову набок, приподнял одну бровь — видимо, не согласен. Однако спорить не стал.

— Любому народу и во все времена развития,— поднажал Михайлов, воодушевленный известием о студентах.— Даже на стадии дикости. Мамонта в одиночку не возьмешь, только сообща, скопом. Русская община издревле воспитывала чувство братства.

— Община. Русская,— удовлетворенно повторил священник.— А скажите, господин Михайлов, как вы понимаете мотив этого события? Что в нем содержится: разумная жертва обнадеженных или безотчетное самоистребление лишенных всякой надежды?

— Только первое — разумная жертва, только первое!

Священник опять удовлетворенно кивнул, какая-то его мысль затаенная опять получила подтверждение.

— А скажите, господин Михайлов, как вы относитесь к Костомарову?

Михайлов помрачнел. Теперь всякое упоминание о бывшем друге повергало его в уныние. А визитер у него занятный, одержимый не тем, чем надо. Но что ему на это сказать?

— Костомаров содержится в крепости, он вам исповедовался, и вы пришли ко мне. Но ведь я не отпускаю грехов.

— Костомарова в крепости нет. Встречаться с ним вне крепости не доводилось.

Вот это новость — «в крепости нет»!

— Мне не совсем ясен ваш вопрос,— растерянно сказал Михайлов.— Конкретнее можете изложить?

— Позвольте наоборот, от конкретного к общему: как вы относитесь к идее предательства?

Михайлова будто варом обдало от последнего слова!

— Какая может быть идея у предательства?! — воскликнул он с раздражением.— Кто вам сказал, что Костомаров предатель? И кто имеет право называть его так или иначе, кроме меня самого, если уж я сочту это необходимым?!

— Благодарю вас, господин Михайлов, благодарю вас! — В глазах священника мелькнула радость, казалось, он бросится сейчас обнимать узника, но, слава богу, остался на месте, только руки на рясе приподнял повыше.

А на душе Михайлова смятение и уныние. Значит, Костомарова не сажали в крепость? Значит, просто хамская ложь?

Неужели молва пошла о его предательстве?

— Как гадко все это, ах, как гадко! — пробормотал Михайлов. Священник следил за ним внимательно и с удовлетворением. Загадочный человек, чудной. Михайлову

не по себе от его скрытого ликования.— Ваше преподобие, позвольте и мне вам задать вопрос? Зачем вам все это? Внимать молве, досужим сплетням, россказням. Зачем ковыряться в пизменном?

— В возвышенном, господин Михайлов,— поправил его священник.— Русский человек совестлив, и раз уж он пошел супротив, то готов принять наказание. Преступление и возмездие для него едина суть, отсюда готовность жертвовать. И потому предательства не существует, Иуды для него нет, как не было его и в священном писании.

— Вам виднее,— Михайлов пожал плечами.

— Иуду приплели осрамители, лжецы и стяжатели, дабы возвысить свои темные воровские дела. «Тот, кто предает нас, предает Христа». Введение в Евангелие предателя сводит на нет все дело Христово, всю идею Нового завета. Благодарю вас, господин Михайлов, благодарю!

Священник удалился. Михайлов проковылял к кровати, волоча башмаки, усталый, разбитый, и кулем свалился на постель. Весь день ему навязывают чью-то волю, чужие мысли, угнетают его, принижают, выпытывают суждения, будто он пифия над дурманящим источником. Да еще сверх всего произнесено слово. Гадкое, вонючеклокочущее. Как он боялся его, всем своим существом отстранял, противился не только сказать, но и в мысль впустить! Но оно произнесено спокойно и обыденно в ряду других слов — «предательство»!

Их благородное, чистое, их святое дело осрамлено.

Надо все начинать сначала!

И потому он прав, что написал прошение. «Если можешь сделаться свободным, то воспользуйся».

Они намерены отобрать у него все и шаг за шагом своего добиваются. Но почему, забирая все, не щадят они чистоты его устремлений? Почему не могут обойтись без посредника-осрамителя?

Дьяволов водевиль. Правильно ли он составил прошение? Не мало ли написал? Не забыл ли титул какой проставить?

Надо все начинать сначала. Светло и чисто.

Государь не может оставить прошение без последствий. Гадкое место — Третье отделение, что и говорить, но ведь и у чиновников тутошних есть забота о какой-то чести для своего заведения. Они понимают, что суд над Михайловым приобретет огласку не только в России, но и в Европе, ляжет пятном на деятельность государя, и потому, настаивая на помиловании, они заботятся и о своем престиже.

Он появится в квартире у Аларчина моста, встретят его все... И снова будут его книги со всего света, работа в «Энциклопедии» и в «Современнике»,— все прежнее. Людмила Петровна, Миша, Николай Васильевич... Ах, как хорошо возвращаться к тому, что было так мило! Как мало ценил он прежде прелесть свободного общения!..

Не оставит государь прошение без последствий. В худшем случае назначат ему высылку, и они уедут вместе. Леса есть по всей России, перо и бумага тоже.

«Как вы там, живы ли, здоровы ли, Миша, Людмила Петровна, Николай Васильевич?..»

Он гнал от себя всякую мысль о доме, перебивал пустяками, стихи читал,— лишь бы вспоминать поменьше. Приноровился песни петь, ходил по нумеру и тянул вполголоса: «Я лугами иду — ветер свищет в лугах: холодно, странничек, холодно, голодно, родименький, голодно. Я в деревню: мужик! Ты тепло ли живешь? Холодно, странничек, холодно...» Пел разбойничью «Что затуманилась зоренька ясная» или «Ты не пой, соловей» Рубинштейна на слова Кольцова. Вспоминал куплеты раешника: «А вот извольте видеть, сражение: турки валятся, как чурки, а наши здоровы...» Цензор здесь поставил бы точ-

ку — тут и патриотизм есть, и вера в свои силы, и презрение к врагу, все есть, кроме... искусства. А если без цензора? «А наши здоровы, только безголовы». И все на месте! Но прежде надо мозги перевернуть кое-кому, дабы усвоили они разницу между песней и циркуляром.

Пел песни, чтобы не томиться да и не растравлять обиды, которая стала точить его день ото дня все пуще. Месяц прошел его заточения, почти месяц! Неужели нельзя дать весточку?..

«Нельзя! — говорил он себе.— Ничего нельзя предпринять в отношениях с этим логовом. Веня в крепости, я здесь, за ними следят, нельзя им сюда соваться никак!»

Нельзя-нельзя-нельзя!

А обида росла...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Чиновники и писцы разошлись, канцелярия опустела, свечи погашены, по Путилину домой не хотелось. Он зашел к Самохвалову и велел поставить самовар. Сегодня граф Шувалов, получив прошение Михайлова, пришел в хорошее расположение духа и сказал Путилину, что намерен представить его к поощрению. Станислав у него есть, можно надеяться на святого Владимира, любая степень которого дает потомственное дворянство. А вдруг и получится? Чем черт не шутит, когда бог спит? Вот почему Путилину не хотелось сегодня торопиться домой из этих стен, где он каждый день, мало-помалу шел от одной добычи к другой. Кому-то здесь может быть кисло, спору нет, а Путилину сладко, на вкус, на цвет товарища нет. Сварганит сейчас Самохвалов чаю, найдется с кем и посамоварничать, со смотрителем Зарубиным, например, жизнь у него скучная, вечер длинный, а к чаю бутылка рому.

Но звать Зарубина не пришлось, к Путилину заглянул

священник, непонятно зачем блукающий по каземату часов с трех.

— Позвольте, Иван Дмитрич, задать вам один-два вопроса?

— Да хоть тыщу! — обрадовался Путилин.— Вот сижу, жду, кого мне бог пошлет, а бог, не будь плох, послал своего служителя.

— Скажите, Иван Дмитрич...

— Ну-ну-ну, ваше преподобие, сразу так прямо, а у меня во рту пересохло, весь день языком молол, вразумлял неразумных. Сейчас нам с вами чаю подадут, побалуемся чаишком. А чего вы тут потеряли, ваше преподобие, мало вам своих в крепости?

— Мне интересен господин Михайлов.

— О-о, да он тут всем интересен, скоро всей России будет оченно интересен ваш господин Михайлов,— пообещал Путилин.

Самохвалов принес самовар, из холщовой торбы, висевшей на локте, достал полотенце, расстелил, выставил чашки, рюмки, маленькую корчажку меду, ложечки и теплый еще калач, затем ловко протер чашки, как половой в трактире, еще помешкал, косясь на священника, и хотел было уйти, но Путилин остановил его:

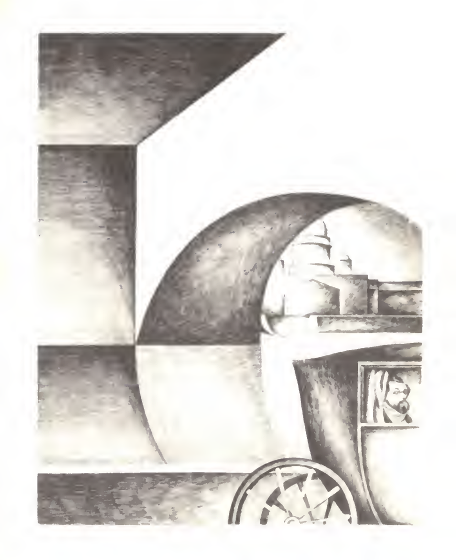
— А ром где?

Самохвалов бочком вернулся, не глядя на священника, выставил из торбы бутылку и побрел к двери.

— А чего ты такой унылый, Самохвалов? — снова задержал его Путилин.— Ходи веселей. У тебя что, отец помер?

— Людей много, ваше благородие,— пожаловался Самохвалов.— Уставать стал.

— А ты не уставай, Самохвалов, доволен будь, Петербург от скверны очищаем, православные тебе спасибо скажут.— Он посмотрел на священника, ожидая поддержки, но тот молчал.



— Мне бы пособника, ваше благородие, не успеваю ко всем.

— Бог пособит, Самохвалов. Мы тебе,— Путилин поводил пальцем между собой и священником,— обещаем. Ступай.

Самохвалов ушел. Путилин налил рому в рюмки, подал одну священнику, но тот отрицательно покивал рукой.

— От чашки чаю не откажусь.

Путилин налил ему чаю, налил себе, выпил рюмку и стал намазывать медом калач.

— Сначала я испугался, ваше преподобие, ночь не спал. Думаю, всю жизнь имел дело с простыми разбойниками, лиходеями, жуликами, а тут командируют в Третье отделение, где все больше дворяне, чиновные, да и князья-графья бывали. А потом смотрю — и здесь люди, две руки, две ноги и голова одна, а у иных еще и садовая. Не сравнить их с уголовными, поверьте мне, не сравнить! Те смекалисты, изворотливы, с три короба наврут и глазом не моргнут. А эти, благородные! — Путилин махнул рукой с безнадежностью. — Не жильцы, право слово, не жильцы. Дворяне помрут ране, вы как считаете? — Он уставился на священника, но тот ни словом не отозвался, ни жестом.— Лиходей уж как начнет запираться, да ловчить, да сочинять, да врать — уши развесишь, до чего мастак. А что я здесь увидел, что я здесь услышал? — Путилин скривил лицо, как от зеленого яблока: — «Видя тяжкое нравственное состояние господина Костомарова, я считаю противным совести скрывать далее истину и вешаю себе петлю на шею». Отврат да и только! — Он шумно отхлебнул чаю и расправил бакенбарды.— Сам во всем признается, без всякого к тому понукания. Ну как это понимать?

— Они не боятся вашего наказания.

— Хм! Какого такого «вашего»?

— Нельзя их сравнивать с лиходеями, Иван Дмитрич.

Соврут не моргнут что в обиходе, что в приходе, чему тут радоваться? А эти честь блюдут, всегда готовы за других муку принять. И сколько я ни смотрю, благородные, благочестивые узники поведением своим и судьбой подтверждают всякий раз священное писание. Возьмите господина Михайлова. Трижды не пропел петух, а ученик его предал. И учитель его не чурается, не хулит, а великодушно его прощает, понимая слабость его человеческую.

— «Учи-итель»,— передразнил Путилин.— Чему он учит, ваш господин Михайлов, чему он учит?! — Путилин достал из-за пазухи свернутое воззвание, подал священнику.— Читайте, ваше преподобие, да вслух, а я полюбуюсь, как оно из ваших-то уст прозвучит, уче-ение, писа-ание.

Священник придвинулся к свече, не без любопытства стал читать, быстро пробегая страницу.

— Я вас вслух просил, вслух! С амвона! Ектенью!

Священник помедлил, поискал, явно выбирая, наконец спокойно прочел:

— «А между тем русская мысль зрела, мы изучали экономическое и политическое устройство Европы; мы увидели, что́ у них неладно, и тут-то мы поняли, что имеем полнейшую возможность избегнуть жалкой участи Европы настоящего времени... Европа не понимает, да и не может понять, наших социальных стремлений; значит она нам не учитель в экономических вопросах. Никто пойдет так далеко в отрицании, как мы, русские. А отчего это?..» — Священник поднял взгляд на Путилина.

— Читайте, читайте. Дальше, дальше,— обещающе подтолкнул Путилин, дескать, сейчас вы напоретесь на шило в зад.

— «Мы верим в свои свежие силы; мы верим, что призваны внести в историю новое начало, сказать свое слово...» — сочным, ясным голосом продолжал священник.

— Да что вы мне белиберду читаете! — перебил Путилин, не вытерпев.— Там же подчеркнуто, глядеть надо! — Он подошел к священнику и через плечо его, тыча пальцем в строки, зычно начал читать: — «Представьте себе, что внезапно, в один день, умирают все наши министры, все сенаторы, все члены Государственного совета. Пусть вместе с ними умирают все губернаторы, директоры департаментов, ми-тро-по-ли-ты, ар-хи-е-ре-и».— Путилин растянул последние слова да еще и пальцем подолбил в плечо священника: — «...одним словом, вся нынешняя служебная аристократия. Что теряет от этого Россия? Ничего». Помрем мы с вами, а для них ничего. Ералаш будет несусветный, а для них — ничего!

— Позвольте, позвольте. — Священник придержал страницу, видя, что Путилин намерен ее перевернуть: — «Через час явятся новые министры, новый сенат, новый Государственный совет; явятся новые губернаторы, директоры департаментов, архиереи и митрополиты — и колесо государственного управления пойдет до того по-старому, что Россия и не заметит никакой перемены».

— Опять вы всякую ересь читаете, а путного не видите. «Нам нужен не царь, не император, не помазанник бо-ожий», видите? Плевать им на всю вашу службу, духовные отцы наши. «Не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность; мы хотим иметь главой простого смертного, человека земли, понимающего жизнь и народ, его избравший». Ну как? Что скажете?

— Позвольте мне все-таки самому прочесть? — Священник попытался отстраниться от наседавшего на плечи Путилина.

— Не позволю.— Путилин вытянул из его рук воззвание и сунул его обратно за пазуху.— Выбираете всякое непотребство, а что путное, пропускаете, нехорошо.

Священник едва заметно усмехнулся, не стал настаивать.

— Одному делу служим, а вы изволите со мной спорить, хотите унизить,— продолжал Путилин рассерженно, не понимая усмешки священника, но сразу же заметив ее.— Как будто не знаете, для кого есть монастырь Соловецкий, давайте-ка лучше чайку попьем.

Трудно сказать, испугался ли священник упоминания о месте заточения для духовенства или просто раздражился он от хамства Путилина, скорее последнее; так ли, иначе ли, но он раздельно, с чувством проговорил, отчеканивая слова:

— «Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не можете достигнуть; просите — и не получаете, потому что просите не на добро».

— Это про кого писано? — насторожился Путилин.— Про них?

— Про них, про них.

— Ясное дело. А мы, что желаем, то имеем, что просим, то получаем. Сказали Михайлову подать прошение государю, он его и не замедлил подать.

— Какие будут последствия?

— Да никаких! — ликующе воскликнул Путилин.— Государь еще вчера соблаговолил отдать распоряжение о предании его суду правительствующего сената.

— Зачем же его неволить прошением, коли распоряжение есть?

— Вы меня удивляете, ваше преподобие, будто вы не из крепости, а из дома малютки. Неужто не знаете, что подача прошения является фактом полного признания своей вины? Но и это еще половина дела. Они же ведь честь блюдут, как вы меня вразумили недавно, а вот честь-то ихнюю вероломную искоренить надобно-с. Отставной губернский секретарь, подумаешь, эка птица, двенадцатый классный чинишко, а звону-то, а шуму-то! Доклад князю Долгорукову каждый день, доклад его величеству, опасения, как бы не узнала Европа, ходатайства,

петиции. Собрались у графа Кушелева литераторы, так вместо того, чтобы водку пить да на бильярде играть, они на зеленом сукне петицию пишут, и кто за перо взялся? Степан Громека, жандармский штаб-офицер, тьфу, прости меня господи грешного. Пишите, ходите, кланяйтесь нам в ножки, а мы его держали и будем держать.

— Страдающие за правду блаженны, страха они не ведают.

— Отведают, когда в сенат призовут да в каторгу отправят.

Священник отпил чаю, отщипнул калача, попробовал чуть-чуть, провел пальцами по опрятной бороде, проверяя, не осталось ли хлебной крошки, и сказал, глядя на Путилина посветлевшими, как у обозленного коршуна, глазами:

— «Един законодатель и судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другаго?»

Путилин только головой покачал:

— Нехорошо, ваше преподобие, вы так и норовите меня не токмо задеть, но и уничижительно отозваться. Неужто моя деятельность противоречит писанию? Мы ведь не на словах заповеди блюдем, а на самом деле: не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего. А ведь они желают-с! Для господина Михайлова какую заповедь ни возьми, любая нарушена, не с того боку, так с энтого. Вы же знаете полковницу Шелгунову?

Священник отрицательно покачал головой.

— Ихняя госпожа Егор,— пояснил Путилин.— Так по-нашенски, по-русски, а по-ихнему, госпожа Жорж Занд. Жрица огня. Всех дам Европы курить научила. Вот эта полковница такую же из себя строит.

Священник поморщился, подобный разговор ему не по душе.

— Я вас хотел спросить, Иван Дмитрич...

— О чем угодно, ваше преподобие, но прежде анекдотец. У одной дамы служил в дворниках африканец. И вот когда у дамы, представьте себе, родился черномазый ребенок, муж ей и говорит: если дитя не побелеет, я вынужден буду кое-кого уволить. Вам скучно, вам не смешно? Потому что вы не ведаете, про кого речь. А это и есть новые люди. И всему они наперекор, везде против отечества. «Нам не нужен царь, помазанник божий, нам не нужна горностаевая мантия». Одежда царская ему не по душе, видишь ли.

Священник терпеливо вздохнул.

— Мне, пожалуй, пора уходить.

— Нет уж, ваше преподобие, вы меня разгорячили, извольте задать вопрос.— Путилин налил себе рому, а священнику чаю.

— Мне бы хотелось знать о вашем отношении к Костомарову.

Путилин преувеличенно сурово сдвинул брови: «Ишь, чего захотел!» Выпил рому, пожевал калача, подумал. Очень ему хотелось урезонить дерзкого собеседника, но все как-то не получалось.

— Ваш вопрос поставлен на попа, не подумайте, что я с намеком. Преступники бывают разные, одни — фанатики вроде господина Михайлова, а другие — зараженные ими на манер холеры, они шумят до поры, пока урчание в кишках не уляжется. Вот такого-то мне и надобно в первую голову распознать и к делу приспособить. Вижу, трус из трусов, но гнет из себя, спесью прямо-таки чадит, вижу, но прикидываюсь простаком: извольте, господин корнет, господин поэт, дворянин и прочая, можете покобениться день-другой, а на третий я вам свою музыку закажу, а вы под нее попляшете, аки вошь на гребешке. Способный оказался ученик, ваше преподобие, так и рвется дальше преуспеть, но пока придержим. Вот вам и «трижды не пропел петух». Ученик он, да только не от

того учителя. По-вашему, он Иуда, а по-моему, государев пособник.

— Иуды не было,— сказал священник и пояснил: — В том понимании, которое вам доступно.

— Опять мне понимание недоступно! — взбеленился Путилин.— «Иуды не было!» Да вы социалист, батюшка! Я дурачком только прикидываюсь, а вы из меня всамделишного хотите сделать. «Иуды не было». Скорее можно допустить, Христа не было.

Священник перекрестился, Путилин, поняв, что спорол горячку, тоже перекрестился, догнал батюшку в смиренномудрии и тут же решил обогнать, перекрестился вторично.

— А что, ваше преподобие, допустить можно. Живут же китайцы, магометане разные, турки, к примеру, гаремы у них, янычары, изюм, кишмиш, плодятся, ай да ну. Миллионы голов без Христа живут! Но чтобы Иуды не было!

— Благодарю вас, Иван Дмитрич, ваш ответ красноречив.

«Чему он радуется? — гадал Путилин, досадуя.— Что за мысль у него тайная, что за кадриль такая? Найди, Путилин, ты сыщик, развей туман. Да и на место загони».

— А прокуратора Иудеи Понтия Пилата тоже не было? — поинтересовался Путилин невинно.

— Понтий Пилат подтверждается и священным писанием и историческим розыском.

— Ну слава богу, хоть он-то был. А кем он был, Понтий Пилат, вам ведомо? Белоручка, бездельник, рохля — руки омыл. Гнать его надо было со службы без мундира и пенсии. Коснись такое дело меня, то я бы его... — Путилин осекся, убоялся все-таки помянуть Христа, но остановить своего рвения уже не мог, сыщик в мироздании на первом месте. Не сказать, так хоть додумать до точки. Он бы у Путилина не воскрес. А если бы и воскрес, не

вознесся бы, Путилин бы его за бороду поймал! Вот такая у него служба — брать бога за бороду.— Смутил я вас? Неслыханное говорю? А вы вникайте, ваше преподобие, вникайте, в моих крайностях содержится новый подход к делу. Я-то и есть новые люди, я, а не они! Помните у Гоголя господин Ноздрев показывал господину Чичикову свое имение? Вот, говорит, вся земля по эту сторону границы, а также и по ту — моя. Вам смешно? А мне ничуть, ибо я имею полное право сказать, и тут уже не до смеху: все люди по эту сторону каземата, а также и по ту — мои. А почему? А потому что мы и есть защита народа христианского. Иной раз мне служба самому противна, она заставляет меня прикидываться дурак дураком, а куды денешься? Надо. Разве у меня самолюбия нету? Гордости? Е-е-есть. Разыскать разбойника, вора, ниспровергателя и выставить его напоказ,— вот моя гордость. Без меня, ваше преподобие, государю императору хоть беги с престола. Я без России не пропаду, но России без меня — крышка. Вот какая служба моя, ваше преподобие, и вы ее цените, хотя признать боитесь по ханжеству и лицемерию, нутром цените, не зря же спрашиваете про Костомарова, чуете, где гордиев узел, как турки говорят.

Священник не оскорбился на упрек в ханжестве и лицемерии, удовлетворенно покивал и сказал:

— Ваш ответ обстоятелен и преисполнен смысла, Иван Дмитрич.

«Чему он радуется? — все больше недоумевал Путилин.— Какие такие золотые сведения им от меня получены?» Уж не ради ли осквернения его службы завел беседу коварный поп? Уж не хочет ли он доказать со зла, что все старания Путилина летят кобыле под хвост? Нет, Путилин попа не отпустит, пока не уяснит себе, с чем он носится.

— «Иуды не было». Вы меня поражаете, ваше пре-

подобие. Неужто хотите, чтобы православные на всякую подлость, на измену,— тут он споткнулся, но легко поправился: — ...на измену царю и отечеству глаза закрыли? Давайте-ка пораскинем, зачем вы покрываете предателя-сребролюбца, а?

— Покрываете его вы, Иван Дмитрич, я же говорю о писании. В Первом послании апостола Павла коринфянам, а оно свидетельство более раннее, чем все евангелия и деяния апостолов, и слова нет о позорном поступке. В писаниях первых христиан также тщетно искать упоминания о предательстве. Его не было и не могло быть, иначе ведущим деянием оказывается не подвижничество, а измена, она сводит на нет все дело Христово.

Путилин не нашел, чем возразить, проворчал с досадой:

— Слишком много мы с вами глаголем, ваше преподобие, переняли срамоту у всех этих литераторов, ниспровергателей, свистунов. Разве не их плоды пожинаем?

— Нынче все сословия размышляют, времена такие,— и чиновники, и купцы, и крестьяне тоже, не токмо литераторы.

— А не опасно ли, не вредоносно толковать писание всякому на свой салтык?

— Думать всегда опасно, Иван Дмитрич, так оно было и так оно будет во веки веков.

— Аминь,— согласился Путилин.— Слава богу, хоть листа не пишете.

— Пишу,— кротко признался священник и огладил бороду белыми пальцами.

— Да о чем вам-то еще писать?! — Чуть не сорвалось с языка: для чего попу гармонь?

— Я пишу о заблуждении нищих духом, берущих за основу тело, всего лишь тело животное. Поймите же, Иисус взошел на крест по своей воле. Он отверг всякую

ценность от бренного тела, дал человеку запас воли к самопожертвованию и тем возвысил и укрепил бессмертный дух. Он совершил подвиг — подвинул дело бога.

И опять Путилину нечем крыть, будто с иноземцем каким пря идет.

— Экий вы, право, витаете в небесах. «Иуды не было». Да ведь без Иуды не было бы Христа! — возопил Путилин.— И поклонялись бы мы овину в поле, всякой орясине, как наши пращуры! Не было бы, ваше преподобие! Без Иуды его бы не арестовали — раз, не судили бы и не казнили — два-с. Без Иуды не было бы распятия, как вы этого уразуметь не можете?! — заликовал Путилин.— На иудином деле, хотите знать, преломилось время старой и новой эры.

Священник горестно покачал головой па его невежество.

— Все мы — орудья бога,— сказал он, поднялся и, тыча перстом в Путилина, напирая на «о», проговорил: — «Но помни: быть орудьем бога земным созданьям тяжело, своих рабов он судит строго, а па тебя, увы! как много грехов ужасных налегло». Прощайте, Иван Дмитрич.— И пошел к двери.

Путилин остался один. Выпил еще рому, пожевал калача с медом, запил чаем. Самовар уже перестал сипеть, пора домой, по тут такая злоба взыграла в нем на священника, он даже кулаки стиснул. И ведь ничего не боится! Куда смотрят евонный архиерей? митрополит? Или и они теперь размышля-яют?

Не пустые слова его: отнял всякую ценность у бренного тела. Что они означают? А то означают, что с таким наставлением никакие узы не страшны смертному, ни тюрьма, ни кандалы, ни каторга. И виселица нипочем, ибо у него, вишь ли, бессмертный дух. Но как же тогда жить, чем стадо держать? Вот тебе и все люди мои, и в каземате, и вне его. Уел тебя поп, подставил кадило.

Все твои старания, сыщик Путилин, все твои ухищрения лишь ускоряют святое дело подвижничества, ты лишь пособничаешь скорее взойти на крест, исполнитель жалкий, прислужник. «Орудье бога». Тупое било ты, коим звонят в колокола, благовестят (всплыла вдруг округло стриженная голова Костомарова).

А ведь все это мно-огим чреватое дело костомаровское начато, в сущности, Филаретом, митрополитом московским. Не брат Николка, нет, митрополит Филарет послал первым еще весной, в мае месяце, доносительство государю на московских студентов: «Бог правды да разрушит ковы врагов веры и отечества». Бог-то бог, да только ковы не ему приходится разрушать, Филарет о том знает и не к богу взыскует, а к государю императору. А тот дает нахлобучку Третьему отделению — мышей не ло́вите...

Путилин позвал Самохвалова, велел ему убрать следы чаепития, и поехал домой, составляя в уме письмецо Филарету, безымянное да колкое. Увязить надо попа соответственно словесам его. «Вот и сотворю я подви́г,— размышлял Путилин.— Пусть-ка митрополит учинит сыск в своей вотчине да поменьше в светские дела лезет».

А священник тем временем ехал в крепость и радовался дню, проведенному в каземате с двумя столь разными людьми, обнажившими перед ним свою сущность. Светло было у него на душе, как оно бывает после подтверждения личного твоего откровения, твоей догадки в одиночных ночных бдениях.

Он доехал до крепости и прошел в свою келию из двух комнат. Зажег свечу на столе, отпер сундук и достал из него малинового сафьяна обложку. Бережно положив ее на стол, он опрятно сел, подобрал полы рясы и тонкими пальцами осторожно раскрыл сафьян. На белой в четверть листа бумаге было выведено старославянской вязью: «Благая весть. Сочинение 1861 года. Тысячелетию России посвящается».

— Ты сам, владыко, даруя мне наблюдения над страждущими и их стражами, сподобил меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творить волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сегодня я ходила к сенату вместе с Антонидой Блюммер встречать Михайлова. Государь повелел предать его суду правительствующего сената, и Михайлова перевели из Третьего отделения в крепость. О том, что сегодня его должны привезти на допрос, Антониде сказали по секрету, она сразу приехала ко мне, и мы пошли на Галерную. Но каково было наше удивление, когда возле сената мы увидели толпу. На площади собралось невиданное количество экипажей, мы кое-как протолкались к арке, проникли во двор и увидели, что здесь от экипажей совсем тесно.

В двенадцать часов под аркой появилась карета, обыкновенная, извозчичья, но все заволновались: «Везут! Везут!» Карета медленно стала продвигаться к подъезду, лавируя между экипажами, окна ее были задернуты тафтяными занавесками, кучер покрикивал, требуя дороги, и по голосу его можно было судить, что он более других имел право проезда. Толпа так и колыхнулась в сторону подъезда, вытягивая шеи, на подножках экипажей запестрели женские одежды. Карета с занавесками остановилась возле самого подъезда, открылась дверца, так и есть — сошли два жандарма, стали по бокам дверцы и обнажили палаши. Затем вылез плац-адъютант, а за ним Михайлов, не в арестантском, а в своем обычном платье. Лицо его было серо-желтым и несколько сумрачным, он не смотрел по сторонам, поправил очки, и по виду его можно было судить, что он совсем не догадывается, ради кого толпа. Плац-адъютант шагнул первым, за ним Ми-

хайлов, по бокам его — архангелы с палашами. Когда дверь в сенат отворилась, мы увидели, что и там на лестнице полно народу, чиновные во фраках лицом ко входу, они тоже ждали и любопытствовали.

Появление Михайлова и его исчезновение за дверью протекало считанные секунды, никто ничего не успел сказать ему, не то что крикнуть, все только старались увидеть его, слышался лишь бестолковый гомон в задних рядах. Когда двери закрылись, некоторые экипажи стали выезжать со двора, как после окончания представления, но толпа оставалась у дверей, ждали, когда Михайлова выведут обратно, а пока делились мнениями. Говорили, что он первый при Александре II государственный преступник и сурового наказания ему не будет, ибо царь милостив, другие же, наоборот, считали, что наказание будет суровым, поскольку рассматривает дело не какая-нибудь комиссия, а сам сенат, что Михайлов состоит в тайном обществе; третьи спорили, что дело совсем не в обществе, Михайлов глава студентам, а это еще хуже.

Мы с Антонидой остались ждать Михайлова во имя долга, наподобие почетного караула, а кроме того, мы сговорились крикнуть ему: «Здравствуйте, Михаил Ларионович!» Только здравствуйте, но не прощайте.

Его вывели, наверное, через час, и просто даже удивительно, почему мы снова не могли подать своего голоса! Толпа при его появлении так и двинулась едино к подъезду, будто в зверинце выводили льва напоказ, и я поняла, какое большое самообладание нужно иметь, чтобы сохранить в толпе самостоятельность поступка. Опять все длилось секунды, Михайлов никого не видел, скрылся за дверцей, и карета с задернутыми занавесками тронулась в сторону Дворцовой набережной.

Я полагаю, толпа инстинктом чуяла, что узнику не помочь возгласами. Возможно, если бы Михайлов гля-

нул на толпу, она бы тут же отозвалась. Но он не глянул, он не знал ничего, и все как будто по наитию согласились торжественно безмолвствовать.

Все-таки разговор о тайном обществе не иссякает. Даже отец говорит, что в высших кругах убеждены в наличии тайного общества среди литераторов «Современника» и будто бы глава ему Чернышевский. А другой человек, который просил нигде его не упоминать, сказал, что создается, а может быть уже создался, революционный комитет «Земля да воля». Такими словами начинается статья в «Колоколе» под названием «Что нужно народу?» — народу нужна земля да воля. Тут, наверное, важно, что земля стоит прежде воли, потому что крестьяне освобождения без земли не хотят, во многих местах они заявили своим помещикам: пусть мы будем ваши, но земля — наша.

Слухи слухами, но я не верю ни в какие тайные общества. Я убеждена, что человек известный, как Михайлов, произведет гораздо большее воздействие на публику, нежели какой-нибудь подземный тайный Имярек. Разве встречали бы Имярека так, как встречают Михайлова? Разве велась бы в пользу неизвестного подписка? Разве можно уважать и тем более любить инкогнито? Я не вхожу ни в какое тайное общество и не собираюсь входить, но разве я не жажду свободы? Сущая чепуха! Если Михайлов уважаем всем Петербургом, то уважение к его личности неизбежно вызывает и уважение к его деятельности. Одним словом, я противница тайных обществ, я за общества явные и открытые, ради этого мы и требуем отмены всякой цензуры и мракобесных студентских правил. Тайное — для заговорщиков, а молодое поколение не может ограничивать себя заговором, оно должно открыто и смело нести свет по всей России, это гораздо полезнее для народа и гораздо опаснее для правительства.

Из литераторов для нас сейчас важнее всех других Добролюбов. Мы читаем и перечитываем его статьи за прежние годы, которых ранее не совсем понимали. Мы ему верим, мы за ним следуем, он всем нам широко известен. Он явный, а не тайный. А по какому основанию я буду верить заговорщику Имярек, которого мы не знаем и не читаем? А если он попросту глуп как пробка? Есть же и такие противники правительства. Как его разглядишь, тайного?

Стало известно, что за разбой над студентами государь наградил полковника Толстого званием флигель-адъютанта. Молодое поколение не могло остаться без внимания к сему факту и направило в адрес Преображенского полка стихи: «Письмо Татьяны, но не к Евгению Онегину, а к флигель-адъютанту Иллариону Толстому. Я к вам пишу, чего же боле? Да! Мне вам надобно сказать, что было в вашей доброй воле себя холопом показать. Сначала я молчать хотела, но вижу, вашего стыда вам уж не спрятать никогда. Чем объяснить себе мгновенье, когда, как гнусное виденье, ты впереди штыков мелькнул, чтоб земляков облиться кровью? Не к трону ль хамскою любовью?! Не злой ли дух тебе шепнул, что штык — единый наш хранитель?!»

Дня через три стало известно, что подражания Пушкину флигель-адъютант усвоил вполне и послал стихи в Третье отделение, требуя розыска злоумышленников. Тогда мы отправили ему подражания Лермонтову: «Царские палаты спят во тьме ночной. У ворот солдаты и городовой». От царя Толстой получил звание, а от нас обещание: «Теперь власти много, аксельбант, кресты; погоди немного, повисишь и ты».

А студентов так и держат в крепости. Всем якобы грозит высылка из Петербурга. Мы стараемся доказать, что молодое поколение неистребимо и неустрашимо.

...Вчера толпа на Галерной прождала от полудня до вечера. Михайлова не привозили. Городовые ходили, посмеивались: «Представление отменяется, идите по домам».

Еще одно великое горе для всей мыслящей России — неожиданно скончался Добролюбов.

С тех пор как забрали Михайлова, что-то сдвинулось в нашей жизни, и теперь беда за бедою идут чередою. Добролюбов болел, но ведь и другие болеют, поболеют-поболеют да выздоравливают. Моя бабушка пролежала в постели без малого целый год, я ее грамоте научила за это время, заставила применять очки, чему она противилась, говоря, что родители ее умерли в девяносто лет и вдевали нитку в иголку без всяких этих немецких штучек, но потом согласилась и теперь сама читает без моей помощи.

А Добролюбову было ведь всего-навсего двадцать пять лет...

Вынос тела был утром 20 ноября из квартиры на Литейном, где живет Некрасов. Последнее время за покойным сердечно ухаживала госпожа Панаева. Толпа собралась значительная, человек в двести, в основном литераторы. Гроб несли на руках до самого Волкова кладбища, а могилу вырыли по настоянию Чернышевского рядом с могилой Белинского. Отпевали в кладбищенской церкви, хотели там же провести гражданскую панихиду, но священник воспротивился, говоря, что в самой церкви запрещено говорить лицам не духовного звания. Гроб вынесли на паперть, падал снег, дул ветер, было холодно. Первым говорил Некрасов, едва слышно, ему мешали слезы, можно было разобрать лишь отдельные его слова о том, что покойный мог многое совершить, но, к нашему несчастью, скончался слишком рано. За Некрасовым говорил Чернышевский и не проронил ни слезинки, и даже

голос его не дрогнул, до того крепко и мужественно он держался, не поддаваясь горю, хотя все знали, что покойный был его другом и его надеждой. Чернышевский не только говорил, но еще и читал выдержки из дневника покойного, да не подряд, а по выбору и с умыслом, и все сводил к тому, что Добролюбова убила не болезнь, а несправедливость жизни, нравственные мучения. «Но главная причина его ранней кончины,— сказал Чернышевский,— состоит в том, что его лучший друг — вы знаете, господа, кто! — находится в заточении...»

На кладбище, посреди могил, редактор «Русского слова» Благосветлов собирал по подписке деньги в пользу Михайлова.

В газете «Русский мир» напечатан проникновенный и глубоко мудрый некролог А. Гиероглифова: «Нравственная и умственная сила человека — это обоюдоострое оружие, которое или побеждает... или уничтожает самого бойца. На долю русских сильных талантов выпала эта последняя доля и преследует их исторически: стоит вспомнить, что наиболее сильные из них исчезли в преждевременных могилах. Чем сильнее духовная природа человека, тем быстрее и разрушительнее бывает этот внутренний взрыв его, это самосгорание, если нет ни малейшей возможности пробить хоть один шаг вперед на избранном пути. Честность не дозволяет отступить от своих принципов, святость истины не терпит измены, ренегатства, а собственное падение, собственный разврат, осязание разложения своего чистого, духовного организма хуже смерти для всякой возвышенной, честной натуры. «Добролюбов умер оттого, что был слишком честен»,— заключил г. Чернышевский; и это психологически верно. Когда же даровитые русские люди перестанут умирать преждевременно?!»

Птицей вылетели из крепости и разнеслись по столице стихи Михайлова на кончину Бова. «Вечный враг всего живого, тупоумен, дик и зол, нашу жизнь за мысль и слово топчет произвол. И чем жизнь светлей и чище, тем нещаднее судьба... Раздвигайся же, кладбище, принимай гроба! Гроб вчера и гроб сегодня, завтра гроб... А мы стоим и покорно: «Власть господня!» — как рабы, твердим. Вот и твой смолк голос честный, и смежился светлый взгляд, и уложен в гроб ты тесный, отстрадавший брат... Братья! Пусть любовь вас тесно сдвинет в дружный ратный строй, пусть ведет вас злоба в честный и открытый бой!»

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Только крепость избавила его наконец от Горянского и Путилина.

Неудачу с помилованием Горянский объяснил просто: они отправили прошение почтой, а высочайшее повеление о предании суду пришло телеграфом.

Михайлов сожалел, что поддался их уговорам. Они старательно вселяли в него надежду, и он забыл, что надежда из уст жандарма — золотая цепь, которая легко обращается в кандалы. Вспомнил Герцена: а в столкновениях с властью — несостоятельность, шаткость, уступчивость. Но в чем его шаткость, уступчивость, если он просил не допустить, чтобы тень его поступков отразилась на спокойствии непричастного к ним семейства?

«Мы употребили все старания, чтобы дело обошлось не так ужасно для вас,— заверял Горянский.— Но в городе было слишком много неудовольствия. На нас идут такие нарекания! Будто здесь какие-то опускные полы, что секут у нас, но это такой вздор!»

На прощание Горянский сказал то ли в утешение Михайлову, то ли в свое оправдание: «Русский человек

может быть святым, но не может быть честным». Они, чиновники Третьего отделения, не святые, зачем им святость? Но они честно служат государю. Они выжали из Михайлова все, что требовалось, и теперь выпихивают его дальше. Они оказались умнее своей жертвы, ибо добились, чего хотели. И он действительно оказался глупее их, ибо во всем признался. Благородство и самопожертвование — это и есть глупость, на взгляд служителя Третьего отделения. Они вправе считать его простаком.

А ему остается терпеть унижение дальше. Ведь он не может сказать, бросить им в лицо правду: я скрыл самое главное! Скрыл, скрываю и скрою,— и никакими ухищрениями этого главного они из него не выпытают, не вымучают!

Что было бы, если бы его помиловали? Выпустили бы, провели через Цепной мост обратно, и он вернулся бы на Екатерингофский проспект. Встреча, радости,— а потом? Какой стала бы его жизнь? Терпеть произвол? Копить негодование, не видя выхода?..

Чаадаев писал Герцену, что он слабеет и гибнет не от того угнетения, против которого восстают люди, а от того, которое они сносят с трогательным умилением и которое по этому самому пагубнее первого.

И потому заточение для него естественно.

В крепости его поместили в нумере под совершенно круглым сводом, словно в трубе. В амбразурах светились два оконца с мелкой решеткой, на стенах следы копоти, лиловые пятна сырости мерцали в свете свечи.

— Здесь больничное отделение,— пояснил служитель крепостной канцелярии.— Больше решительно нигде места нет из-за студентов.— И приказал солдатам смести паутину по углам.

Старый сгорбленный инвалид принес жировой ночник, дверь за ним затворилась, ключ в замке повернулся, и Михайлов остался с мыслью: все, что ни делается,— к

лучшему. Главное, здесь он свободен от счастья видеть и слышать Горянского и Путилина.

На деревянной кровати — парусиновый плоский мешок, набитый соломой, одеяло из солдатского сукна и тяжелая подушка с отсыревшим пером, упадет на ногу — отшибет. Возле кровати столик и стул с деревянным сиденьем. Обстановка заметно хуже, чем в Третьем отделении, но зато нумер куда просторнее, хоть в лапту играй, и Михайлов выхаживал по нему до самого ужина. Отчетливо били куранты на Петропавловском соборе и разыгрывали коленца, то «Коль славен», то «Боже, царя храни».

Ко времени ужина вместо одного солдата с судками на ремне явилась процессия, по меньшей мере полдюжины солдат. Один поставил на стол глиняную кружку и налил в нее чаю из медного закопченного чайника, другой вынул из корзины булочку, два ломтя черного хлеба и два куска сахару, после чего уступил место третьему, тот поставил на стол оловянную чашку с куском говядины и соленым огурцом, четвертый водрузил посредине стола солонку, пятый переменил воду в оловянной кружке... Процессия удалилась один другому в затылок, и Михайлов с аппетитом поел. После Тайной канцелярии даже Петропавловская крепость ему хороша...

На четвертый день его повезли в сенат в обыкновенной карете с двумя жандармами и городским плац-адъютантом. Прежде Михайлов не думал, что в сенат обращается столько просителей всякого рода,— вся площадь была запружена экипажами, людей полно и во дворе и даже на лестнице внутри здания. Жандармам пришлось криком раздвигать толпу для прохода.

Сенаторы, а их было пятеро, не просто сидели, а восседали в своих позлащенных одеждах за длинным столом, покрытым красным сукном. Посредине стола возвышалось зерцало — трехгранник с двуглавым орлом сверху

и с указами Петра Великого на каждой из сторон. Одного из сенаторов, Карниолина-Пинского, Михайлов знал по рассказам своего отца. Именно Карниолин-Пинский, служа учителем в Симбирской гимназии, давал уроки молодому писцу из отпущенников. Отец вспоминал его с благоговением. Теперь предстояло учителю пожинать плоды воспитания... У него длинные седые патлы, глаза умные и откровенно злобные.

Обер-секретарь громко и внятно, с чувством начал читать отношение шефа жандармов о высочайшем повелении. При словах «государь император» все пятеро за столом вскочили, как лакеи в передней при виде барина, и стояли навытяжку перед взором оторопевшего Михайлова, пока обер-повеление не было прочитано.

После духовного увещевания обер-секретарь зачитал вопросные пункты, их оказалось немного, всего семь. Михайлов сначала отвечал на вопрос устно, затем проходил с обер-секретарем к письменному столу и записывал свой ответ в опросном листе. В продолжение всей этой процедуры ни один из сенаторов не обмолвился ни словом, ни полсловом — сидели, слушали, смотрели, как Михайлов говорит, как пишет, и снова сидели, слушали, смотрели. В сравнении с допросами Горянского и Путилина здесь было гуляние по райским кущам.

«*Вопрос*. Ваше имя, отчество, фамилия, лета, жительство, какой веры, бывали ли на исповеди и где именно, если находились на службе, то не имели ли на оной какихлибо отличных заслуг или пороков?

Ответ. Михаил Ларионов Михайлов, 32 лет, в Петербурге, по Екатерингофскому проспекту, в доме Валуева, вероисповедания православного, на исповеди был в последнее время в Петербурге, в церкви Вознесения; по службе не имел никаких отличных заслуг, ни пороков.

Вопрос. Признаете ли Вы предъявленную Вам при сем записку, с изложением объяснений по вышеозначенному

делу, за собственноручно Вами написанную и подписанную?

Ответ. Признаю.

Вопрос. В записке сей Вы пишете, между прочим, что из нескольких страниц, набросанных Вами, не осталось и половины в воззвании «К молодому поколению». Посему имеете объяснить, что именно признаете Вы в воззвании «К молодому поколению» принадлежащим Вам и что участникам Вашим — Герцену и Огареву? и если можете, то означьте это на предъявленном Вам экземпляре воззвания «К молодому поколению».

Ответ. Отчеркнутое в предъявленном мне экземпляре признаю за писанное мною. Остального я не признаю, так как оно не согласно с рукописью, которая была дана мною для напечатания, и я получил воззвание уже напечатанным.

Вопрос. В записке сей Вы пишете, что при распространении листов «К молодому поколению» Вами руководила мысль, будто бы усиление тайного книгопечатания в России должно иметь влияние на ослабление цензуры, и таким путем, думали Вы, начнется свобода слова, тогда как по естественному порядку вещей в случае усиления тайного книгопечатания должны были усилиться и меры цензуры и правительства против тайного книгопечатания. Не можете ли точнее объяснить видимое противоречие такого мнения с существом дела?

Ответ. Мне казалось именно на основании исторических примеров, что попытки тайной печати, выказывая недовольство, заставляют для смягчения его постепенно уменьшать строгость цензуры и тем позволять высказываться более спокойно и умеренно.

Вопрос. Высказанная Вами цель распространения воззвания «К молодому поколению» совершенно не согласна и с содержанием этого сочинения, которое, очевидно, было направлено к возбуждению неуважения к верховной

власти, личным качествам государя и управлению его государством, к возбуждению явного неповиновения верховной власти, к оспариванию неприкосновенности прав ее, к порицанию установленного государственными законами образа правления, а также к возбуждению неуважения и противодействия властям, от правительства установленным, с разрушением всякого порядка, и внушению взаимновраждебных чувств между сословиями, с угрозою прибегнуть к кровопролитию. Объясните откровенно и чистосердечно цель распространения Вами воззвания «К молодому поколению».

Ответ. Цели, кроме вышеупомянутой о влиянии на ослабление цензуры, у меня не было. С этим именно и означено было в заглавии: «печатано без цензуры». Что касается до выражений, особенно возмутительных, мне в воззвании не принадлежащих, я думал, что резкость их будет именно служить поводом к принятию законных мер для уменьшения строгости цензуры.

Вопрос. Не можете ли Вы указать какие-либо обстоятельства, уменьшающие виновность Вашу в столь тяжком преступлении, кроме впечатления, произведенного на Вас в детстве усмирением крестьян, в числе коих находились Ваши отец и дед, так как побуждение это слишком отдалено от настоящего события?

Ответ. Кроме причин, объясненных в моей записке, других не нахожу.

Вопрос. Когда именно Вы познакомились с Герценом и Огаревым, поддерживали ли Вы с ними связи по выбытии их из России и каким образом, не было ли других участников в вашем преступлении, и не сделали ли Вы сами каких-либо других преступлений?

Ответ. В 1856 или 57 году; связей с ними никаких не имел, кроме посещения их во время поездок (двух) за границу; в преступлении моем других участников не было, и других преступлений я никаких не делал».

Вот и все вопросы. При всей их прямоте нельзя было не заметить упора на сообщников, которые зловредно повлияли на подсудимого. Если их назвать, то, по мнению суда, это и явится обстоятельством, уменьшающим виновность в столь тяжком преступлении. Михайлов все это преотлично понимал и держался предельно осторожно. Пребывание в каземате не прошло для него даром.

Наверное, они никого не намерены привлекать к делу дополнительно. Кроме имен Герцена и Огарева, нет больше ни одного имени ни в вопросах, ни в ответах. Но можно ли надеяться, что так оно и останется? Сегодня сенаторы слушают Михайлова, сидя за красным сукном, а завтра они могут слушать и... других.

«А палач всегда в красной рубахе, чтобы не видна была кровь казненного»,— рассказывала ему в детстве тетя Катя, и ему верилось, что он и перед палачом предстанет, и со Змеем Горынычем будет биться, и Василиса Прекрасная одарит его любовью...

Первоприсутствующий (председатель суда) распорядился об удалении обвиняемого из присутствия, и Михайлова увели.

Потянулись довольно однообразные дни одиночества в крепости. Три раза в день являлась процессия хлебодаров и чаечерпиев — и никого и ничего больше. Никто не заходил ни для частных бесед, ни для официальных, никуда его не вызывали, ничего не выведывали. Здесь просто содержали, просто охраняли, как охраняют мешки с солью, хотя соль в такой сырости пропала бы сразу, окаменела. Время вроде бы удлинилось, но светлая пора укоротилась часов до четырех-пяти. Светало в исходе десятого часа, а в половине третьего уже нельзя было читать даже вблизи окна, и оттого еще длиннее стала ночь, озвученная курантами собора.

Плац-адъютанты дежурили поочередно, толстого и краснолицего сменил худощавый, болезненного вида

штабс-капитан с итальянской фамилией Пинкорнелли. Он был нестрог, услужлив, чем-то похож на Самохвалова, и Михайлов отважился попросить его отнести записку Шелгуновым. К вечеру плац-адъютант уехал в город, а Михайлов всю ночь не спал в беспокойстве. Вот так у него всегда — сначала сделает, выскажет, не подумав, а потом спохватывается и начинает корить себя.

Ночник на столе догорал и оттого сильнее коптил, сгущая мрак, виднее становился коридорный свет фонаря сквозь раму над дверью. Свет падал веером на сводчатый потолок, и нумер менялся, становясь похожим на заброшенный храм, на какое-то древнее капище.

Себя ему уже не погубить больше, чем оно есть, но остается опасность погубить других. Ему нужна осторожность. Впрочем, ничего подозрительного в записке он не написал, просто передал поклон всем и спрашивал, живы ли все и здоровы ли. Обычное послание от любого узника во все времена.

Он задремал, но тут заскрипел железный ставень над дверным оконцем и послышался окрик:

— Ночник!

Пришлось вставать, вдевать ноги в холодные башмаки и поправлять пламя ночника лучиной. Снова лег, снова задремал, но тут гулко брякнуло ружье о каменный пол пустынного коридора — солдат успел задремать раньше узника...

Утром пришел Пинкорнелли и молча подал записку. Шелгуновы кратенько сообщали, что все живы и здоровы, кланяются, Мишутка уже говорит вовсю и просили писать почаще. Мрачный день стал светлым праздником для Михайлова. Сразу же после завтрака он сел за письмо, и вышло оно бодрым и совсем беспечальным, будто он отбыл от друзей на краткое время.

Теперь он жил в ожидании двух событий — вызова в сенат и появления Пинкорнелли с ответным письмом.

Начали вдруг поступать ему передачи, валом повалили — жареные рябчики, варенья, мед, печеные булки, деликатесы разные и папиросы.

Второй вызов в сенат мало чем отличался от первого — уточняли прежние вопросы. Их явно не удовлетворял ответ Михайлова о целях распространения воззвания и побудительных мотивах его написания. Случаи усмирения крестьян, по их мнению, слишком отдалены от настоящего события.

«Разве Вы не предвидели, что с распространением воззвания оно может произвести на народ то возмутительное действие, к которому было направлено; разве, принимая на себя распространение воззвания, имевшего преступную цель, Вы не желали достигнуть этой цели; разве можно употреблять возмутительные средства без цели произвести возмущение?»

Михайлов настаивал исключительно на одной цели — на смягчении цензуры. И подчеркивал: случаи усмирения крестьян военною силою были не только в далеком прошлом, есть они и в настоящем. А без печатной гласности такие случаи могут долго еще повторяться и в будущем.

Сенаторы сидели, смотрели, молчали, но молчание их все более казалось Михайлову зловещим. Ведь вот так же молча и уже скоро, на днях, они подпишут ему приговор. Какой? Одному богу известно.

И снова крепость, полумрак под сводами, разудалые коленца курантов и солдатский храп за дверью. Солдаты здесь не только содержат узников, но и сами содержатся. Есть для них своя гауптвахта и свои меры наказания. Площадь перед гауптвахтой и поныне называется Плясовой — не так уж и давно разували здесь нерадивого, приковывали к столбу босого, а ступить возле столба некуда, торчат из земли острия врытых колышков,— вот и плясал на них солдат кровавый танец...

Строил Петр крепость от врага внешнего, но неисповедимы пути господни, стала крепость служить для врага внутреннего. Ни разу не подвергалась она осаде ни с воды, ни с суши, не палили по ее стенам вражеские пушки, не таранили ее осадные орудия, только била молния в грозу по шпилю собора, сокрушая несущего крест архангела, будто наказывая его за праздность. Выходит, зря возводили смерды стены и бастионы, таская землю в полах зипунов, да в мешках и рогожах, обливаясь кровавым потом и кляня государев замысел.

И все-таки стала крепость защитой — не для народа, так для царя. Не прошло и пятнадцати лет, как привезли сюда мятежных матросов с корабля «Ревель», и стала крепость тюрьмой. За матросами попал в нее царевич Алексей, а потом Радищев, а потом декабристы, за ними петрашевцы, и вот настал черед для Михайлова и молодого поколения России.

Из года в год и теперь уже из века в век становилась крепость средоточием лучших чаяний России, мятежных ее упований, высоких помыслов.

Новая Россия началась с Петра, а новые россияне — с Петропавловской крепости. Знаменательно, что окно в Европу стало главной тюрьмой России. А также и главным кладбищем для царей, что не менее знаменательно. Хоронили их в соборе, в Романовской усыпальнице.

Но где хоронили казненных?

Во время недолгих прогулок Михайлов представлял здесь декабристов. Они входили в те же ворота по Иоанновскому мосту через Кронверкский пролив, видели тот же двор, те же куртины и бастионы. Декабристов казнили, но крепость не изменилась.

«Над вашими телами наругавшись, в безвестную могилу их зарыли и над могилой выровняли землю, чтоб не было ни знака, ни отметы, где тлеют ваши кости без гробов,— чтоб самый след прекрасной жизни вашей изгла-

дился, чтоб ваши имена на смену вам идущим поколеньям с могильного креста не говорили, как вы любили правду и свободу, как из-за них боролись и страдали, как шли на смерть с лицом спокойно-ясным и с упованьем, что пора придет — и вами смело начатое дело великою победой завершится...»

Вместе с письмами он стал передавать на волю и свои стихи, прося их сберечь. А стихи выходили не покаянные, а отважные и предерзкие, как никогда прежде,— крепость его к тому обязывала. «Пора близка. Уже на головах, обремененных ложью, и коварством, и преступленьем, шевелится волос под первым дуновеньем близкой бури,— и слышатся, как дальний рокот грома, врагам народа ваши имена, Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев и Каховский! Буря грянет».

Писал стихи, писал письма, обживался в крепости, коротал время в разговоре то с Пинкорнелли, то с солдатами. Дважды заходил священник, уже знакомый, озадачивая Михайлова все тем же праздным, не по сану, любопытством: а читал ли господин Михайлов Гегеля? А как относится господин Михайлов к народным преданиям и апокрифам? А то вдруг наседал с упреками.

— У вас нет писания, понятного простым людям,— привязчиво говорил священник.— Христос был гением, но творил по писаному, отсебятины не выдумывая. Вы же тщитесь каждый занять место вседержителя и тем создаете хаос и столпотворение вавилонское.

— Отсебятины не выдумываем, ибо цензура не позволяет.— Михайлов ловил себя на мысли, что не принимает его всерьез — из предубеждения к сану, видимо, хотя священник говорил отнюдь не глупо и совсем не по должности.

— У вас нет способа добывания веры,— шпынял священник.— Пугачев не объявлял себя ни пророком, ни социалистом, а назвался государем Петром Третьим и тем

сыскал способ веры себе, единственно убедительный для российских холопей. А что у вас? Христианского учения чураетесь, а своего не создали, дабы народу в уши вложить. Пастырей полна крепость, но где стадо их?

От слов его веяло смутной, но зряшной истиной, привкусом то ли прошедшего, то ли преждевременного, но только не нынешнего. Он смотрел на события со стороны и судил из своей кельи, не поднятый бурей времени, отгороженный от бытия своим учением и еще какой-то страстной, но книжной, библейской думой. Он хотел кем-то быть, но не мог стать, Михайлов же вроде и не хотел стать, но становился, обречен был на становление, и потому логика слов священника оставалась для него чем-то недействительным, как недействительны для весенней почки заверения в том, что осенью все равно листва пожелтеет и станет прахом...

Как-то вдруг передали Михайлову послание от студентов в стихах: «Из стен тюрьмы, из стен неволи мы братский шлем тебе привет. Пусть облегчит в час злобной доли тебя он, наш родной поэт!» Слезы душили его, он снимал очки, протирал их, снова читал, перечитывал. Пинкорнелли скорбно стоял рядом, сложив на животе руки. Михайлов попросил его прийти вечером за ответом...

Выпал первый снег, и Михайлов долго стоял у окна, взобравшись на стул. Побелел комендантский сад, белые деревья остро напомнили ему морозную степь и дорогу, дальнюю и безрадостную. Меж деревьев показалась темная вереница студентов, шли они, вероятно, из бани, встали вдруг, глядя на его окно, и все, как один, сняли шапки. Михайлов долго кивал им каждому, а когда они прошли, вытер слезы. И снова бело, и пусто, и стыло.

С первым снегом стремительно пошли событие за событием. Крепостное начальство распорядилось о переводе Михайлова из Невской куртины «для большего вашего спокойствия» подальше от студентов. Куда же?

Плац-адъютант впопыхах сказал, что, кажется, в Алексеевский равелин. Хорошенькое спокойствие в секретном доме, откуда только выносят ногами вперед! Но перевели на главную гауптвахту, в нумер поменьше, зато с прямым потолком и с большим окном, из которого видны были Невские ворота.

В этот же день Михайлов узнал о смерти Добролюбова. Не с кем поделиться, не с кем погоревать, одно остается средство — стихи. Весной похоронили Шевченко, осенью Добролюбова. «И чем жизнь светлей и чище, тем нещаднее судьба. Раздвигайся же, кладбище, принимай гроба!» Переписал стихи набело, сделал приписку: «Сообщите их друзьям покойника. Они не станут искать в них эстетических красот, как не искал бы он сам, но, верно, найдут чувство, похожее на свое. Бедный, бедный Бов; мне так и представляется его доброе, прекрасное лицо со слезами на щеках».

Приехал вдруг военный генерал-губернатор Петербурга повидать Михайлова. Оказывается, Игнатьев отставлен за студентские беспорядки и назначен князь Суворов, внук генералиссимуса, генерал-адъютант царской свиты. «Довольны ли вы содержанием? Не желаете ли чего-нибудь?» — и еще два-три вопроса в том же роде. Князь приветлив, умные голубые глаза, лет ему около шестидесяти. В Третьем отделении Михайлова опекали больше молодые люди, будто олицетворяя собой некое начало, а в крепости — продолжение, тут одни старики. Старые унтера, старый плац-адъютант, старый князь — губернатор.

После отъезда князя Михайлов вспомнил: мать Людмилы Петровны училась с женой Суворова в Смольном институте, Суворовы и Михаэлисы-старшие знакомы домами...

И еще один день, которого ему вовек не забыть. Явился бледный Пинкорнелли и велел солдату принести чемо-

дан Михайлова. То ли испуганный, то ли озабоченный какой-то чрезвычайностью, Пинкорнелли попросил Михайлова одеться как можно опрятнее и следовать за ним. Пинкорнелли был туговат на одно ухо, сколько Михайлов ни спрашивал: зачем? куда? — он либо совсем оглох от волнения, либо не хотел отвечать. Видя крайнее смятение штабс-капитана, Михайлов и сам забеспокоился: уж не пожаловал ли его лицезреть государь? Все преступника повидали, один царь не удосужился, а чем он хуже Шувалова, сенаторов, генерал-губернатора? Что сказать ему, если и в самом деле так? О чем попросить? Да все о том же...

Вышли из гауптвахты вдвоем и направились к комендантскому дому. Пинкорнелли шагал быстро, с Невы дул стылый ветер, оба закрыли лица. Возле комендантского дома Пинкорнелли вдруг свернул к черному ходу и пошел еще быстрее. Он часто дышал от ходьбы и волнения, и Михайлов тоже запыхался. Прошли черным ходом в сумрачный коридор, один поворот, другой, здесь уже было похоже на городское жилье. Михайлов успевал отмечать на ходу, будто вырвались они на миг в город — и воздух особенный, не затхлый, в коридоре сундук, веники, половик. Пинкорнелли остановился возле пухло обитой двери, прошептал в самое ухо Михайлову: «Через час я приду за вами», отворил дверь и легонько подтолкнул его через порог. Дохнуло домашним уютом, теплым калачом и до боли родным запахом парижских духов. Михайлов переступил порог, содрогаясь от сердечного стука, дверь позади закрылась, очки его после холода запотели, он различал только шаровое сияние свечи, как солнца, протер стекла и увидел перед собой Людмилу Петровну...

А на другой день ему стало известно определение правительствующего сената: «Отставного губернского секретаря из дворян Михаила Илларионова Михайлова, 32 лет, за распространение злоумышленного сочинения,

в составлении коего он принимал участие и которое имело целью возбудить бунт против верховной власти, для потрясения основных учреждений государства, но осталось без последствий, не подвергать смертной казни, определенной за преступления этого рода, сопровождавшиеся вредными последствиями, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 12 лет и 6 месяцев, а по прекращении сих работ, за истечением срока или по другим причинам, поселить в Сибири навсегда».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Весь день мы с Антонидой переписывали, размножали послание студентов Михайлову и его ответ. Послание написано в крепости Иваном Рождественским, по одним слухам, а по другим — Николаем Утиным. Неважно, кто написал, важно, что оно передает всеобщее наше отношение к узнику и борцу. «Из стен тюрьмы, из стен неволи мы братский шлем тебе привет. Пусть облегчит в час злобной доли тебя он, наш родной поэт... Да, сеял доброе ты семя, вещал ты слово правды нам. Верь — плод взойдет, и наше племя отмстит сторицею врагам. И разорвет позора цепи, сорвет с чела ярмо раба, и призовет из снежной степи сынов народа и тебя».

А вот и ответ Михайлова: «Крепко, дружно вас в объятья всех бы, братья, заключил и надежды, и проклятья с вами, братья, разделил. Но тупая сила злобы вон из братского кружка гонит в снежные сугробы, в тьму и холод рудника. Но и там, на зло гоненью, веру лучшую мою в *молодое поколенье* свято в сердце сохраню. В безотрадной мгле изгнанья твердо буду света ждать и в душе одно желанье, как молитву, повторять: Будь борьба успешней ваша, встреть в бою победа вас, и минуй вас эта чаша, отравляющая нас!»

И далее следовала приписка, над которой мы с Антонидой не могли не поплакать: «Спасибо вам за те слезы, которые вызвал у меня ваш братский привет. С кровью приходится отрывать от сердца все, что дорого, чем светла жизнь. Дай бог лучшего времени, хотя, может, мне и не суждено воротиться...»

Я воздаю хвалу, пою многая лета Суворову Александру Аркадьевичу, светлейшему князю Италийскому, графу Рымникскому, генерал-адъютанту царской свиты, генерал-губернатору Санкт-Петербурга с чрезвычайными полномочиями,— он не посрамил чести своего великого деда! Он добился отмены постановления о высылке в двадцать четыре часа всех студентов; пятьдесят человек из них он взял на поруки сам лично, а остальных расписал на своих знакомых и подчиненных.

Однако радость наша не может быть полной и беспечальной. Пятеро наших товарищей высылаются из Петербурга в провинцию. Веню Михаэлиса, как одного из главных зачинщиков, отправляют в Олонецкую губернию, в город Петрозаводск.

Студентов выпустили 6 декабря, а 7-го государь сократил срок каторги Михайлову до шести лет, и мы собираем его в Сибирь.

Больше всех хлопочет Николай Васильевич. Я благодарю судьбу за то, что она познакомила меня близко с таким благородным человеком. Он удивительно сдержан, ровен и справедлив. Шелгунов, на мои глаза,— идеал деятельной любви. Людмила Петровна тоже замечательный человек, но все-таки остается для меня в немалой степени загадочной. Я бы хотела ее любить от души, но почему-то не получается... Каждый, кто страдает, преувеличивает свои чувства, возможно, и я от этого не избавлена, но... Наверное, она страдает меньше, чем того

требует все случившееся. Меньше, чем я. У нее сильный, мужской, я полагаю, характер, что и требуется современной женщине из породы новых людей, и Людмила Петровна этой породе соответствует более других. Походить на мужчину нынче вообще принято, даже фасоны женской одежды стали похожи на мужские — пальто с отворотами и с накладными карманами, дамы носят жилет и галстук. Говорят, будто такая мода пошла оттого, что появились мужчины-модистки и мужчины-швеи, будто они навязывают свой вкус, но это абсурдно, просто таково всесильное веяние времени.

Мне вообще не дано понять женскую душу. Мужчины мне представляются созданиями более ясными и простыми, но женщины!.. Никогда и ни за что ранее не могла я предположить, что в Петербурге столько деятельных и глубоко порядочных женщин! И проявились они в отношении к Михайлову. Я уже не говорю о передаче в крепость разного варенья и жареной дичи со всевозможными соусами, дело не только в этом. Неизвестные женщины, имя им легион, собрали для Михайлова по подписке сто рублей исключительно серебряными пятачками, чтобы ему удобнее было пользоваться в дороге, не заботиться о размене. Я сама их пересчитала и сложила столбиками на столе — две тысячи монет! Как он их повезет с собой? А всего уже собрано более 10 тысяч рублей серебром.

В эти дни пришло мне в голову некое открытие, как свидетельство моего повзросления и поумнения. Оно отчасти радостное, но лично для меня больше горестное. И заключается оно вот в чем: не только я, совсем не я одна помню и люблю Михайлова! Человек во славе тем и отличен от простого смиренного обывателя, что он близок и дорог многим, и многие отдают ему свою долю признания и любви. И тут можно предположить, что не одна я пишу свою повесть в эти дни, делая его главным героем, нас таких множество. Но ему не до нас, многих, ему

нужна только одна она, Людмила Петровна. А я для него в числе безымянных многих всего лишь некое лицо в толпе. Горько мне сознавать подобное, но я умягчаю свои дурные страсти, ибо, как говорит Николай Васильевич, своекорыстие есть недостаток ума.

Сегодня Антонида огорчила меня не совсем приятным известием. Студенты, выйдя из крепости, валом валят на квартиру Чернышевского. Когда один из них за столом стал восторгаться смелым поведением Михайлова перед сенаторами, Ольга Сократовна прервала его, заметив, что Николай Гаврилович сожалеет о таком поведении Михайлова, ему, дескать, вовсе не следовало сознаваться, наоборот, нужно было сделать все возможное, чтобы спастись. «Нас уже не так много, чтобы самим лезть в петлю»,— привела она мнение мужа. Тут как раз вошел в столовую сам Чернышевский и подтвердил ее слова, добавив, что глупо откровенничать с начальством, которого все равно словами не вразумишь.

Чернышевский, бесспорно, великий ученый и властитель дум молодого поколения. Он прав со стороны разума и чистой логики. Нас действительно не так уж много, и глупо откровенничать с начальством,— с этим невозможно спорить. Однако же нельзя забывать, что Михайлов поэт и натура его не всегда обуздана, а Чернышевский — ученый критик и склад у него другой. Чернышевского студенты почитают и уважают, здесь больше разума, а Михайлова они любят и обожают, здесь больше чувства. Мы с Антонидой полагаем, что две эти личности представляют собой разум и сердце молодого поколения.

Все-таки огорчительное известие, особенно в такой момент, когда отношение к приговоренному в каторгу должно быть неосудительно высоким и чистым. Сам Чернышевский, кстати говоря, собирает деньги для Михайлова.

Николай Васильевич все заботится, все хлопочет, все придумывает. Изобрел Михайлову особый ватный нагрудник и расчертил его на клетки. Мы с Людмилой Петровной весь день прошивали его, я даже удивилась, что она прекрасно может шить, прошивали и вкладывали в каждую клетку по два, по три рубля и разместили таким способом ни много ни мало сто рублей. Пусть ему будет тепло и спокойно!

В каторгу не разрешают брать ни одной книги, кроме Евангелия. Николай Васильевич и тут нашелся, как сие писание приспособить. Он ловко расщепил толстые крышки переплета и подклеил туда значительную пачку бумажных денег. Делал он это старательно и даже пошутил, что только с такой добавкой Михайлов примет Новый завет. Все наши приготовления он отнесет коменданту крепости, на что уже выхлопотал соизволение князя Суворова.

Как мне можно понять других женщин, если я саму себя не всегда понимаю? Сегодня утром, увидев припухшие от слез глаза Людмилы Петровны, я, вместо того чтобы пожалеть ее, обрадовалась. Почему, спрашивается? Разве у меня жестокое сердце? Нет, этого быть не может. Но я должна придерживаться полной искренности в своей повести, и потому записываю, как есть,— я действительно обрадовалась, вместо того чтобы сострадать. Я не только за Михайлова рада, но ведь и за нее не меньше. Да и за весь род человеческий, если уж на то пошло, хотя мне и трудно расписать мотивы мои и причины.

Она стойкая, выдержанная, но что творится в ее сердце, никто не знает. Как представлю, сколько тайн она хранит в себе, так мне сразу страшно становится. К тому же ей совершенно не с кем поделиться, разве с подушкой в ее одинокой спальне.

Но почему бы не поделиться со мною? Иногда она мельком взглянет на меня, и кажется, вот-вот заговорит со мной о сокровенном, женщине ведь так трудно молчать, и я смотрю на нее с готовностью, жду... и спугиваю неизвестно чем птичку ее решимости. Лицо ее опять каменеет, и мне досадно, что она нисколечки не склонна доверять кому-либо.

А с другой стороны, расскажи она мне, смогу ли я удержать тайну? Вряд ли. Я умышленно и вполне намеренно передам ее как можно большему кругу, и не ради сплетни, а только из любви и сострадания к Михайлову — он не забыт, его любят, перед ним преклоняются, и вот вам доказательства!..

Я уже давно не ребенок, со мной можно делиться всем абсолютно, но она сомневается. А я и не пытаюсь заговорить первой, я вижу, сердце у нее кремень. Окажись она в Тайной канцелярии (а такие опасения были), от нее там не добились бы ни единого слова. Но сама она слышит всех и знает про себя все, и слухи, и всякий вздор. Михайлова сплетни щадят, о нем говорят чисто, а вот о ней... Думается мне, от зависти.

Уму непостижимо, как это можно пройти зимой через всю Россию да еще через всю Сибирь! А ведь Михайлова должны отправить в каторгу пешком. Николай Васильевич полдня составлял убедительную записку князю Суворову, прося его разрешить Михайлову ехать в повозке за свой счет. Он очень на князя надеется и говорит, что такого простого в обращении и гуманного генерала ему еще не случалось встречать, а он их повидал немало. Но Людмила Петровна с ним не согласна: «Ничего он не сделает, ваш князь Италийский! Все они в холуях перед государем».

Почему неприятны люди, которые в беде, в несчастье говорят горькую правду? Мне тоже хочется надеяться на

Суворова, но я чувствую, что Людмила Петровна может оказаться правой в своих критических суждениях.

Вспомнилось мне, как однажды сидели мы у Вени Михаэлиса и Михаил Ларионович говорил о том же: почему горе от правды становится еще горше? Лекарь Арендт сказал Пушкину правду перед смертью, и поэт прогнал его и остался с Далем, который, утешая, говорил неправду...

«Ответ Михайлова» поют на мотив «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно». Поют на вечеринках, на сходках и даже в трактирах: «Но и там, на зло гоненью веру лучшую мою в молодое поколенье свято в сердце сохраню».

У нас с отцом состоялось объяснение, после которого каждая из сторон только утвердилась в своем мнении. Отец назвал сгоряча Михайлова и Чернышевского зловредными коноводами молодого поколения, виновниками всей смуты и безобразия. «И не только в столице, но и в моей семье. Ты ходишь, как неприкаянная, похудела, осунулась, и я требую от тебя отцовской властью трезвого размышления, тебе уже двадцать один год, давно замуж пора, а у тебя ум перевернут и не туда направлен». Меня его слова оскорбили, и я заявила, что готова в любую минуту уйти из дому, чтобы стать швеей и честно себя кормить. Так я и сделаю! Тогда отец заявил в сердцах, что революция, по словам Шиллера, делает из женщин гиен и он имеет несчастье в этом убедиться при виде меня.

Нет, я не утонула в слезах, при нем я даже и не всхлипнула. А Шиллера я не читала, теперь и читать не буду!

На костюмированном балу в Немецком клубе двое молодых людей ходили посреди веселья в сером арестант-

ском платье с черными покромками, напоминая всем о мучениках за правду — о Михайлове и Костомарове.

Сыщик Путилин получил за их дело святого Владимира (потомственное дворянство). Он раскрыл еще и причастность Владимира Обручева к воззванию «Великорусс». Мало кто знал, когда Обручева забрали в крепость, может, потому, что случилось это в разгар студентских волнений. Говорят, молодой еще человек, 25 лет, был другом Бова.

Я преклоняюсь перед князем Александром Аркадьевичем Суворовым, молодое поколение не забудет его великодушия! Князь разрешил-таки Михайлову следовать в каторгу не пешком, а в повозке.

Прогоны до Нерчинска и кормовые для жандармов, которые будут сопровождать Михайлова, обойдутся в полторы тысячи рублей, но Николай Васильевич говорит, что денег хватит и даже останется еще на прожиток.

Славный, героический и энергический Николай Васильевич купил новый троичный (для тройки лошадей) возок Михайлову, очень теплый и уютный, я бы и сама в таком поехала хоть куда.

В гостинице «Неаполь» арестован помещик из Симбирской губернии за то, что распевал «Ответ Михайлова». Выслан в двадцать четыре часа к себе домой. Он пел не для публики, а в своем нумере вместе с приятелем за ужином, но все равно, стены слушают.

Николай Васильевич вернулся от Суворова сам не свой — Михайлова отправляют в кандалах! Сколько ни просил он князя, говоря, что кандалы дворянам не положены, что являются они телесным наказанием, гуманный генерал только руками разводил и приводил резон: де-

кабристы были отправлены в кандалах. А кто не знает того, что среди декабристов были не просто дворяне, но и князья, графы, бароны? Вот когда Людмила Петровна дала волю негодованию. «Спасибо ему за честь, за то, что приравнял Михайлова к декабристам. Но пусть он катится, титулованный лицемер, ко всем чертям со своими резонами, ваш от инфантерии ен-нерал!» Титулы его далее она произносила вполне ругательски.

Как представлю Михайлова в кандалах, в снежной степи, а потом в мерзлом руднике, с кайлом и с тачкой, да еще в очках,— так сердце у меня замирает...

Сегодня у меня священный день! День моего подвига! Я решилась!

Не знаю, кому сказать первому? В конце концов, не так важно, кому именно, главное — я решилась сама! И меня не остановить никому! Тем более что положение мое в семье крайне омрачено отношением ко мне отца. А ему подражает и мать, о бабушке я уже и не говорю — все против меня.

Итак, я еду в Сибирь следом за Михайловым! Бог даст, доеду. А поскольку с каторжным дозволяется находиться только женам, то там мы с ним обвенчаемся, я облегчу его судьбу.

Михайлова приравняли к декабристам, я же себя приравниваю к их женам. Запретить мне никто не может, поскольку я уже совершеннолетняя. Если даже Николай позволял женам следовать за осужденными в Сибирь, то Александр тем более позволит. И тогда в один день я стану знаменитой на всю Россию и войду в историю ее! Жребий брошен, я невыразимо счастлива.

Разумеется, нужны средства, и немалые, я понимаю, но все-таки прежде нужна решимость, она превыше все-

го. Я приношу себя на алтарь самопожертвования, не для этого ли создана русская женщина?

Кому сказать первому? Ведь мы же с Михаилом Ларионовичем очень давние друзья, можно сказать, друзья детства. Он меня знает с четырнадцати лет. И я до сих пор помню его слова: «Подрастай скорее, Сонюшка, я на тебе женюсь». Я знала, я уверена была, что когда-нибудь его слова сбудутся.

Решение мое безрассудно только в одной части, в той, что мне негде взять средств. Если бы разрешили нам поехать в одном возке, это было бы восхитительно, но разрешения не дадут, поскольку я для него никто, если смотреть формально.

Где взять денег? Жены декабристов закладывали свои имения и драгоценности, мне же заложить нечего. На родителей нет надежды, хотя я убеждена, что, если окажусь в Сибири и оттуда попрошу помощи, они мне не посмеют отказать. Но надо же туда доехать! Если бы вместе, то траты невелики.

Улучив момент, когда мы остались наедине с Николаем Васильевичем, я открылась ему во всем. Он вдруг погрустнел заметно, я даже не ожидала и сначала не поняла отчего, стал задумчив, наконец сказал: «Я передам ему ваши слова, Софья Петровна, при свидании. Он будет вам благодарен». Тогда я спросила, не могу ли я сама свидеться с ним с позволения князя Суворова? Николай Васильевич оставался задумчив, даже не сразу ответил мне, потом обещал похлопотать. Я жду с превеликим нетерпением результата!

Михаил Ларионович, я полагаю, хорошо меня помнит, он и в крепости не забывал обо мне. Когда его привозили в сенат на третий допрос, мы пробрались внутрь вместе с Машенькой, сестрой Людмилы Петровны. Там было опять полно народу. Когда Михайлова вывели, он улыбался, уже зная, что ради него собрались, всем кланялся,

некоторые из больших чинов тут же ему представлялись, другие просто стремились пожать его руку. Мы с Машенькой закричали ему что есть мочи, не в силах протолкаться ближе, Михайлов поднял руки в нашу сторону, прося дороги, мы протиснулись к нему совсем близко и успели пожать руку его. Он был бодр, улыбался, но в черной бороде его седина, как снег...

Что будет дальше, что будет? Что бы ни было, я счастлива от принятого мною решения.

В свидании мне отказано. Кем я для него стану потом, об этом узнает вся Россия. Но кто я для него сейчас?..

Свидание будет одно-единственное и в самый последний день — в день его гражданской казни на эшафоте с преломлением шпаги. Когда будет этот день, совершенно никто не знает, даже Суворов, все держится в строжайшем секрете. А разрешено свидание только ближайшим его друзьям: Шелгунову с супругой, а также матери Людмилы Петровны, Чернышевскому с супругой, трем поэтам — Некрасову, Полонскому и Гербелю, двум ученым-историкам — Пекарскому и Пыпину, а также Александру Серно-Соловьевичу. Каждому поименно выдадут личный билет за подписью князя Суворова.

Казнь состоится не сегодня-завтра, но день и час по-прежнему в строгом секрете. Волнение мое неописуемо, а отец с матерью спокойно собираются в оперу, где дают «Бал-маскарад» Верди 13-го числа и где будет присутствовать сам композитор.

Положение мое час от часу все ужаснее! Просто уму непостижимая безвыходность! По строжайшему секрету только что мне сказали, что Михайлова хотят отбить. Задумано студентами университета вкупе со студентами

Медико-хирургической академии. Как только его вывезут из города, на жандармов будет сделано нападение. Все готово.

Я быстренько собралась и поехала к Шелгуновым. Застала Людмилу Петровну одну, но говорить не решилась. Лицо ее бледно и замкнуто, она меня как бы и не воспринимает, я это постоянно чувствую всем сердцем своим, хочу себя перед ней поставить и все никак почему-то не могу.

Она велела подать мне чаю и положила передо мной журналы «Рассвет» и «Модный магазин». Я почувствовала себя задетой, если не сказать худшего. Неужели я только для того и создана, чтобы читать журнал для девиц и рассматривать в такой день последнюю моду?! Мне очень захотелось изречь что-нибудь едкое и язвительное, показать твердость своего характера, но она ведь не знает о моей решимости. Или, может быть, уже знает? Тогда что ж, холодность ее ко мне имеет основания.

К журналам я не притронулась. Заговорить с ней о новости, что Михайлова отобьют, я не могла, хотя и не видела причины скрывать. Разве она выдаст другим? Нет, никогда и ничего не выдаст, хоть режь ее, тем не менее я молчала про новость как будто даже из чувства какой-то мести.

А может быть, она уже и без меня все знает? Уж кому-кому, а Шелгуновым все должно быть известно в первую голову.

Тогда и отчуждение ее понятно. Я почувствовала себя вконец оскорбленной. Если она уже все знает, так почему же не сказала мне такую важную новость с порога? Я краснела и бледнела, кое-как выпила чашку чаю, журналы красноречиво отложила на другой край стола, так и не раскрыв их. Наверное, минут сорок мы провели с ней в молчании, но если я терзалась и кипела, то она была

отрешенной и вела себя так, будто в комнате больше нет никого, то есть и меня тоже.

Если Михайлова отобьют, она мне ни слова не скажет, где он и что с ним.

Если Михайлова освободят, то мое самопожертвование, выходит, и не потребуется?

Что мне делать? Не могу же я настаивать на своем, не могу просить: оставьте свою затею, не лишайте меня, братия, возможности пойти под венец,— это же смешно будет!

Наконец приехал Николай Васильевич, и я бросилась к нему первой. Он только что от Суворова и не стал ничего скрывать. Князь ему заявил прямо: «Знайте, если будет покушение освободить Михайлова, жандармам отдано приказание его застрелить».

Что теперь, как теперь все обернется?!

Господи, господи, успокой мою душу, помоги мне дожить и пережить все это!..

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Завтра казнь и объявление сентенции па площади. А сегодня день хуже казни — в ожидании ее.

Зашел священник, сказал, что, согласно своду законов, перед казнью полагается исповедоваться. Михайлов отрицательно покачал головой. Если же преступником будет выражено нежелание, священник обязан две недели его усовещивать. «Две недели!» Пришлось согласиться на исповедь. Но зачем преступнику и вообще смертному обращаться к богу, если он не дает никаких ручательств? Чего ради перед ним открываться, если он не различает добра и зла, немилосерден и равнодушен, все приемлет и все сносит.

— Бог выше добра и зла,— отвечал священник.

Михайлов согласился, заметив, что камень или полено в этом отношении еще выше.

— Полено не выше,— возразил священник,— оно безразлично к добру и злу, но это низшее состояние нельзя приписывать божеству. Бог допускает зло как преходящее условие большего добра. В своей премудрости он имеет возможность извлекать из зла благо. Следовательно, зло есть нечто служебное, позволяющее добру свободно противодействовать. Отрицать зло безусловно значит относиться к нему неправедно.

Велика возможность человеческой мысли, особенно не пристегнутой к заботам дня,— и как ничтожна, заброшенна одинокая человеческая судьба!..

Исповедь состоялась в домашней церкви при комендантском доме. Когда они остались вдвоем перед аналоем, Михайлов сказал:

— Ваше преподобие, есть суждение, будто русский человек может быть святым, но не может быть честным.

Священник посуровел:

— Не ко времени ваши слова, Михайло Ларионыч, и не по месту. Однако я вам отвечу потом, вне церкви.

Исповедовал он почему-то по книжке гражданской печати, стараясь не показывать ее, возможно, печатали ее особо, для преступников. Не скрыл ли он кого из сообщников, не взял ли грех на душу, да и не увеличил ли своего греха, приняв на себя чужие проступки? Затем священник по-мирски прямо спросил: не уговаривался ли Михайлов с кем-нибудь о побеге? Вел он исповедь комкано, торопливо, потом живо отслужил обедню, губы его уже посинели от холода, и Михайлова пробирала дрожь, в церкви было не топлено. И все это: рваная исповедь, обедня ради одного и страстотерпный холод — вполне стало преходящим условием большего добра — комендант пригласил их к себе, в теплое жилье и угостил чаем с ромом.

— Относительно сказанного вами суждения про святость и нечестность я могу привести вам слова Гегеля,— проговорил священник.— «Вполне совершенная нравственность противоречит доблести». В сущности, то же самое, о чем изволили говорить вы, но не так грубо и без покушений на святость. Русская манера мыслить охальна. Гегеля мы не читаем и благоразумию не учимся.

Михайлов ему возразил: Гегеля мы читаем, и притом давно. Еще в сороковых годах любая брошюра с именем Гегеля зачитывалась до дыр. Гегеля преотлично знал Белинский и проводил его идеи. Немецкую философию изучали в Геттингене Карамзин и Жуковский. С Гегелем лично встречались и спорили любомудры во главе с Киреевским. Неспроста умница Хомяков назвал российский просвещенный слой колонией европейских эклектиков в стране дикарей.

— Мы не читаем своих, ваше преподобие, все через хлеб тянемся да за пирог. А виной тому не одно только «мы ленивы и нелюбопытны», но прежде наша цензура. Она отнюдь не выше добра и зла, она вполне имеет в своей премудрости возможность зорко извлекать благо, похеривать его красным карандашом и выбрасывать в корзину.

Разговор за чаем шел вольный, и Михайлов спросил священника, почему с ним в последние дни то один, то другой заводят разговор о побеге, даже на исповеди эта тема торчком встала.

— Полагаю, слухи из Петербурга,— признался батюшка,— а также и настроение ваше внушает начальству некие подозрения. Вы спокойны, иной раз благостны, а ведь впереди у вас каторга, рудники сибирские. Они мало заботят вас, значит, вы надеетесь на избавление. Вот и принимаются всякие меры к увещеванию вас. Я же полагаю, вам надобно нести свой крест до конца, не обрывая судьбы побегом. Мое мнение бесчеловечно, но только

сверху, а по сути в совете моем есть притязание на бессмертие. Пойдет молва, сложится ваше житие, будут апокрифы — да, да! — и вы не должны, да и не сможете их ни опровергнуть, ни уточнить. Народ сам знает, что ему помнить, а что забыть. Предание, заметьте себе, приумножает подвиг...

Одержимый своей идеей, священник видел в Михайлове не человека с его плотью и кровью, а нечто вспомогательное, подсобное, некий доказующий случай.

И снова нумер на гауптвахте рядом с кордегардией, и впереди бессонная ночь перед казнью. Полагается вспоминать прошлое — и свое, и всеобщее. Он так любил старину всегда, рылся в забытых книгах, дыша тонкой прелью рыхлых страниц, выискивая канувшие в Лету события и суждения и нанизывая их для памяти словно в предчувствии — все ему пригодится, все приложится к его судьбе... Казнь гражданская заведена Петром Великим — публичное извержение государева ослушника из числа добрых людей и верных. «Шпага его от палача переломлена и вором (шельмой) объявлен будет». Запрещалось ошельмованного допускать в общество. Если его ограбят или побьют, челобитных его не принимать. Казнь по смыслу не месть, а конфискация личности в пользу государства. От казни, выходит, казна должна богатеть...

«Будут апокрифы, и нельзя их ни опровергнуть, ни уточнить...» Предания нужны людям. Сказание о батыре Ураке, наверное, нужнее архива ногайских дел. Жизнь Урака, несомненно, можно уточнить по бумагам, подправить, но надо ли? Для кого ее уточнять, для чего? Разве может быть наука история самоцельной и самодовлеющей?..

Народ не просто отражает прошлое, он его еще и создает. И вспоминает не абы как, а пригодно. Озабоченный будущим, он из варварской глины прошлого лепит статуи на путях памяти, а из хлама фактов возжигает предание и пример.

Жил ли он когда-нибудь для легенды? Вряд ли. Было время, когда он жил ради дня текущего, потом пришло время, когда он сосредоточил себя на общем деле обновления жизни, и, наконец, пробил час его самопожертвования. Даже на плахе он не выдаст других, а если выдавать неизбежно, то только самого себя. Значит, в этом для него и есть истина.

Его поразило предвидение друзей-литераторов, когда Людмила Петровна показала ему на свидании петицию, переписанную для него Шелгуновым. «Г. Михайлов арестован и лишен всякой помощи, всякой защиты. Неопытный в судебно-политических делах, он может быть запутан в ущерб истине и справедливости...» Под петицией более тридцати хорошо знакомых ему имен литераторов. Она составлена на другой день после его ареста, но друзья уже тогда предвидели главное — и его действительно запутали. Стоило бы ему отрицать свою причастность к листу и твердо держаться этого, как Третье отделение лишилось бы всякого доказательства, остались бы одни подозрения. «Из ста кроликов не сделаешь и одной лошади,— говорят англичане.— А из ста подозрений — и одного доказательства».

Но он не стал отрицать. И невозможность отрицать — полнейшая! — ясна только ему самому. Его не запутали, нет, просто выявили его сущность.

«Неопытный...» Так пусть его опыт послужит другим уроком. Людмила Петровна говорила, что Чернышевский начал сторониться людей, особенно мало знакомых, и проявлять чрезвычайную осторожность. «Я настолько умен, что меня не смогут арестовать,— заявил он друзьям.— А если и арестуют, то не смогут осудить».

Словно упрек Михайлову... Вспомнился снова Герцен: а в столкновениях с властью...

Он оказался уступчив. Потому что опирался только на самого себя.

Нет у него спаянного братства, которое можно было бы противопоставить их упорядоченной службе. Нет у него ни своего легиона, ни своего сообщества, ни законов своих и ни традиций. Есть у него русская литература. Друзья. И возлюбленная. И сын...

Пусть новое поколение на его судьбе учится и со временем пусть получит право сказать: теперь мы стали сильны в столкновении с властью, тверды и неуступчивы. Нами выстрадана своя мораль, которую мы смеем противопоставить вашей. Когда это будет?..

Завтра не только казнь, но и памятное число — 14 декабря. «Да ведут вас... на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников 14 декабря!» — сказано в его листе. Виднеется цепь связи. Кем она кована? Чем?

Провидением.

Священник оставил ему Евангелие с вложенной ленточкой. От нечего делать Михайлов раскрыл его. «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в меня веруйте; в доме Отца моего обителей много; а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам... А куда я иду, вы знаете, и путь знаете».

Иду приготовить место...

В караулке рядом давно утих говор, слышался крепкий храп, а иногда вскрики во сне. Что им снится, крестьянским детям, согнанным под ружье, в каменные стены? «В доме Отца моего обителей много...» После ареста студентов крепость стали называть Санкт-Петербургским университетом.

Сегодня дежурит белокурый ефрейтор, симпатичный Михайлову. Он заходил поговорить о жизни, брал книги. Увидев, что Михайлов ест мясо руками, как дикий, а чай помешивает той же лучиной, которой поправляет ночник, только другим концом, он выстрогал ему деревянную ложку и деревянную вилку...

Под вечер приезжал Суворов. Сказал о свидании с друзьями после оглашения сентенции, назвал всех поименно. Но как тревожно стало Михайлову, когда имена друзей прозвучали в застенках крепости, да еще из уст военного генерал-губернатора! Чернышевский, Шелгунов, Некрасов, Серно-Соловьевич... Не накликал бы!

Князь просидел у Михайлова довольно долго, обещал в дороге все удобства, выразил также сожаление, что не может избавить его от кандалов. Потом заговорил по-английски о Герцене и о Петре Долгорукове. Осудил первого за излишнюю любовь к полякам, а второго за пристрастие к дворцовым сплетням.

— Непонятны мне русские литераторы,— с сожалением вздохнул князь.

Михайлов ему посочувствовал и сказал тоже по-английски:

— Да ведь и русские генералы не всегда понятны, ваше сиятельство. По приказу генерала Неплюева поставили на реке Сакмаре избу зимой, прямо на льду. Казаки вызывали в эту избу мятежных башкир и тут же спускали их в прорубь. Непонятно зачем, если можно было легко перестрелять безоружных.

Князь поморщился, продолжать беседы не стал, отбыл.

Уже в сумерках Михайлов в последний раз вышел на прогулку вместе с Пинкорнелли. Прошли через Невские ворота наружу, и Михайлов долго стоял над снежной пустыней Невы, глядя на Петербург. Слабо сияли огни в тумане, город только угадывался, но Михайлов ясно видел знакомые дома и улицы, Невский проспект, редакцию на Литейной, и Вознесенский проспект, и Екатерингофский...

Завтра увезут его — и ничего здесь не изменится. Будут балы и маскарады, в редакциях будут шуметь витии, в департаментах скрипеть перья, строча черноту,

публика будет рукоплескать водевилям в Александринке.

Чем они заняты сейчас, его близкие? На что надеются?..

Только она одна и могла совершить такое — пробиться к нему в крепость сквозь все преграды, только она одна! «В ней, как в сиянье дня, я увидал, что истинно, что ложно, что жизненно, что призрачно, ничтожно во мне и вне меня...»

Не суждено было соединиться Данте и Беатриче, Петрарке и Лауре. Почему судьба всегда немилостива к влюбленным? Неужели только разлукой и утверждается любовь?..

Ветер холодил лицо, и он ощутил на щеках слезы. Пинкорнелли понуро стоял в двух шагах, подперев рукой воротник шинели, прикрывая больное ухо, и тоже смотрел за Неву.

...А в Париже, на Итальянском бульваре, в нише башни герцога Ришелье, безногая старуха каждый вечер играет на скрипке. В сумерки зажигает свечу, окружает ее бумагой от ветра, а в дождь распахивает ветхий зонтик, и капли падают на глянцевитые костыли под звуки скрипки...

Вернулись в крепость, и Михайлов снова один. Горит плошка, за стеной бубнят солдатские голоса.

Взял Евангелие с вложенной ленточкой. «И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего...»

В пять часов утра загремел ключ в двери и в нумер вошли два офицера и фельдшер с бритвой и ножницами. Фельдшер сначала постриг длинные волосы Михайлова, а затем и обрил по-арестантски. Пинкорнелли отвернулся и, подняв плечи, стал тихо сморкаться.

Белокурый ефрейтор, сутулясь, принес положенные для казни серую хламиду и черную круглую шапку.

Михайлова вывели из гауптвахты. Возле черной кареты уже стояли три конных взвода сопровождения из казаков.

Проехали Иоанновский мост через пролив, выехали на Петербургскую сторону. В утренней темени слабо мерцали огни в окошках. Ехали скорой рысью, по бокам кареты и сзади цокали копыта коней. Пересекли Кронверкский проспект, и скоро показалась площадь Сытного рынка. Здесь уже стоял черный эшафот, оцепленный двумя рядами войска, сначала эскадроном лейб-гвардии, а затем петербургским батальоном внутренней стражи. За войском собралась негустая толпа.

Михайлова вывели на эшафот и при барабанном бое велели стать на колени.

Он стал на колени. Перед кем? И за что?..

Барабаны смолкли, сенатский чиновник зачитал приговор, и палач переломил шпагу над головой осужденного.

Одной дворянской шпагой стало в России меньше; одной страницей в истории стало больше.

Михайлова подняли с колен и, по церемонии, приковали к черному столбу посреди эшафота.

Он стоял у столба позора и смотрел в толпу, ища взглядом знакомые лица, ловя взмах руки, знак платочком,— и никого, и ничего не увидел.

По краям площади светились окна домов, а в толпе из торговцев рынка, мещан и мастеровых слышался негромкий говор:

— Генерал, небось хотел государя сменить и всех министров.

— Не по нутру барам государева воля.

— Ясное дело, мужикам землю, а дворянам — шиш.

— Для таких и веревки не жалко.

— Постыдились бы, нехристи! Человека для муки готовят, а вам лишь бы языком молоть...

В той же карете, рысью, с кортежем казачьих взводов

Михайлова увезли в крепость. «И вором (шельмой) объявлен будет...»

На свидании он бодрился. Подчеркнул Чернышевскому, что воззвание «К барским крестьянам», так же как и «К солдатам», ходило в Петербурге по рукам, и составители их остаются никому не известными.

Полонский все гладил и гладил его плечо и бормотал невразумительные слова. Гербель выглядел молодцом и заверил Михайлова, что в будущем году он издаст его книгу любой ценой. Александр Серно был угнетен, подавлен и видом крепости, и видом Михайлова, красивое лицо его было матово-бледно, пухлые губы поджаты, в глазах тоска. Прощаясь с Михайловым, он не удержал слез, будто предчувствуя поворот и в своей судьбе...

Он был мало внимателен к односложным и грустным словам друзей — ждал Людмилу Петровну.

Она сказала, что уведомить о казни должны были накануне, по обещанию Суворова, но напечатали только сегодня в полицейских «Ведомостях»,— никто ничего не знал и потому не пришли на площадь.

Она взяла на память его деревянную ложку, выструганную ефрейтором, и просила Михайлова записывать все подробности, «даже где и когда в пути пришлось чихнуть».

Бледный, сумрачный Шелгунов, едва сдерживая дрожь в голосе, рассказал, что просил у Муравьева назначения на службу в Сибирь, но тот пока отказал и предложил ему ехать в Астрахань. Шелгунов либо возьмет годовой отпуск, либо выйдет в отставку. И в любом случае они поедут следом за ним втроем. Михайлов просил его дождаться весны, тепла. «Я там пока обживусь, обдосужусь...» И еще Шелгунов сказал, что Суворовым направлены письма губернатору Западной Сибири, в чьем ведении Тобольская тюрьма, и губернатору Восточной Сибири, в чьем ведении Нерчинская каторга.

Расцеловались, распрощались — до скорой встречи!..

Из пересыльной тюрьмы к тому времени доставили в крепость ножные кандалы, пришел кузнец с наковальней, с молотком и заклепками и заковал Михайлова.

Петербургская управа благочиния прислала коменданту крепости для снабжения отправляемого в каторжные работы зимнюю шапку, кафтан, онучи суконные, пару котов, пару рукавиц кожаных с варежками, две рубахи, двое портов и один мешок.

Поздним вечером, около полуночи, Михайлова посадили в казенную кибитку с двумя урядниками по бокам, а в его троичный возок сели еще два жандарма, один из них в арестантской шапке. Впереди поскакал фельдъегерь, за ним понесся возок с чучелом, а затем уже и кибитка с Михайловым и конвоем.

Прощай, крепость, прощай, Петербург, счастливый и горемычный, прости и прощай, придется ли сюда возвратиться?.. «Позакрыли вольну волю девятью дверями, позамкнули вольну волю девятью замками...»

Не имел он ни дома своего, ни своего угла здесь, скитался годами, ничего не нажил. Стучат копыта, молотя дорогу, визжат полозья, несется кибитка по снегу. «А дорожка ехать дальняя, ехать дальняя, печальная...»

Жандармы поглядывали в оконце, держались за пистолеты — ждали в Ижоре засады. Миновали спокойно, и снова вскачь. Рано поутру поезд въехал в ворота Шлиссельбургской крепости, к Михайлову тотчас подошли сторожа с полотенцами и обмотали кандалы, «чтобы не обеспокоить сидящих». Попили чаю и двинулись дальше тем же порядком — впереди фельдъегерь, за ним возок с чучелом, а кибитка — в хвосте. Расчет простой: засада ринется на троичный возок, завидя седока в арестантской шапке, а там наготове пистолеты.

Когда миновали Шальдиху, откуда шла дорога в Подолье, имение Михаэлисов, заметно поуспокоились и,

проехав еще с полверсты, остановились. Михайлова с двумя конвойными пересадили в троичный возок, жандармы пересели в кибитку и вместе с фельдъегерем поскакали обратно.

А возок пошел на Мологу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Из статьи Герцена в «Колоколе».
«Сенаторы и вообще сановники были до настоящего времени мало речисты, они представляли молчащий хор, обои, почетную обстановку самодержца всероссийского, бессловесные орудия, которыми он дрался. В его присутствии они не смели говорить; в его отсутствии с ними не смели говорить никто, кроме равных по чину, а тем нечего было сказать.

Но времена двигаются вперёд, а с ними двигаются вперед и наши сенаторы. И вот нам удалось на seaside (морском курорте) встретить усовершенствованного сенатора с даром слова с *репетицией*. Последний русский сановник, которого я видел лет двенадцать тому назад, сановник первой величины, был Виктор Панин, сидевший согнувшись в карете на пароходе. Прогресс огромный. Панин все молчал *в карете*, сенатор постоянно говорил в вагоне.

Заметив его наклонность к велеречию, я вдруг спросил его:

— Вы были в Петербурге во время суда Михайлова?

— Как же.

— Тут, несмотря на восхваляемый прогресс, ваши товарищи поступили не лучше николаевских палачей и инквизиторов, разных Бибиковых и Гагариных.

— Позвольте,— перебил меня сенатор,— я, по счастью, не был в числе его судей, стало, я не себя защищаю; по-человечески мне его жаль, я видел его: болезненный,

худой,— но с тем вместе я вам должен сказать, что такой закоснелой дерзости, какую показал Михайлов, я не видывал, c'est du Robespierre (это впору Робеспьеру)... Прежде, по крайней мере, люди отпирались, чувствовали ужас своего положения, а этот господин, тщедушный, в очках, прямо говорит: так и так. Я помню некоторые из его ответов... В Англии, сидя вдвоем в вагоне, страшно повторить. Что же правительству делать, что делать судьям?

— Да вы припомните что-нибудь!

— Такие вещи не часто удается слышать, я у себя в памятную книжку записал... Вот постойте, она у меня тут, в саке,— он порылся и достал книжку.

Тут он начал читать — пропуская, останавливаясь, повторяя.

На вопрос: *Каких вы убеждений относительно русского правительства?* — Михайлов отвечал:

— Я давно уже имел случай ознакомиться с принципами нашего правительства и нахожу их таковыми, что честный человек не только не может разделять, но и одобрять их.

Напрасно уничтожением крепостного права на бумаге вы хотите включить Россию в число умеренно-либеральных цивилизованных держав. Она теперь не что иное, как огромное имение, расстроенное распутством богатого своего помещика.

Не выражали ли вы ваших убеждений публично?

— За неимением публичной общественной мысли и при нынешнем положении прессы, которое действительным гнетом лежит на дороге нашего национального развития, писателю невозможно высказаться перед народом, а народу невозможно высказаться в писателе. Уничтожьте цензурный комитет, если вас интересует взгляд мыслящего общества на правительство. Вы только откройте инструмент, а музыка будет.

Не действовали ли вы против правительства и как именно?

— Вы дошли наконец до такого вопроса, на который привыкли получать отрицательный ответ. Но на этот раз откровенность взяла верх. Я не буду спорить с вами. Да, я действовал против правительства путем пропаганды, тем последним путем, который вы стараетесь запереть легионами ваших сыщиков. А кстати, по какому праву эта подлая сволочь, спрошу я вас, содержится на счет правительства, а не государя?..

Вы хотите знать, в чем состояла эта пропаганда? Я в этом случае поспешу, как я умею, удовлетворить вашей любознательности. Я старался сообщить народной массе те идеи, при понимании которых невозможен существующий порядок вещей. Будьте уверены, что, если бы все общество получило хоть какое-нибудь социальное образование, в России была бы конституция. Министры и весь этот штат вельможно-лакейских воров, прихлебателей, с расшитыми золотом воротниками, были бы стерты с лица земли. Зимний бы дворец опустел.

Насколько верны записки сенатора, я не знаю, но общий характер, кажется, сохранен».

Из воспоминаний Людвика Зеленки, польского патриота

«...Михайлов слишком хорошо знал, что его ждет, но, несмотря на это, не желал бежать за границу. Когда его друзья на коленях умоляли его, давали ему для выезда паспорт и большие суммы денег, а сам Герцен предлагал ему приют в своем доме в Лондоне, Михайлов отвечал: «Я не боюсь ни кандалов, ни Сибири, ибо даже там я не перестану работать для моей любимой и милой родины, для моих бедных, угнетенных братьев».

Через несколько дней после вынесения приговора Михайлова вывели из тюрьмы и погнали на железную доро-

гу, чтобы отвезти его в Нижний Новгород, откуда преступников отправляют по этапу в Сибирь.

Ни одного государя, отправлявшегося в поход для спасения своей страны от вражеского нашествия, не провожали так сердечно, как этого бедного ссыльного. Тысячи людей провожали своего любимца, невзирая на угрозы, приклады, штыки и казачьи нагайки. Каждый желал хоть раз еще увидеть его, каждый искал в его очах вдохновения и верности тем истинам, которые он провозглашал, каждый хотел обнять его и сказать: «Будь здоров, наш мученик, и сохрани о нас хотя бы часть той памяти, которую мы сохраним о тебе». А бедный люд, сочувствуя этому огромному горю, проталкивался вперед, чтобы поцеловать его одежду...

Старцы протягивали руки и, творя в воздухе крестное знамение, благословляли своего молодого защитника и покровителя, желали ему «стойкости и здоровья» в страшном и долгом походе...

Отправленный из Нижнего Новгорода в Тобольск вместе с уголовными преступниками, Михайлов сумел завоевать такое их уважение, что, когда он учил их основам нравственности и излагал им историю, они слушали его целыми часами, и такая тишина царила среди слушателей, что казалось, будто слушают неживые существа... Преступники охраняли его вещи, устраивали ему лучшие места для отдыха. А ведь на этапах, особенно на так называемых полуэтапах, где только ночуют, настолько тесно, что, если партия состоит из 400 человек, половина людей не имеет места для ночлега и вынуждена всю ночь сидеть на корточках... Весть о славе и невинности Михайлова с быстротой молнии распространилась по всей России и Сибири. На каждой остановке, в каждой деревне толпился бедный народ, чтобы увидеть и приветствовать своего защитника и жертву варварского правительства и одновременно проститься с ним.

Путь Михайлова до Тобольска был сплошным триумфальным шествием. В городах, местечках и даже деревнях не только простой люд, но и образованные классы и купечество устраивали ему овации, а встреча в Тобольске превзошла всякие ожидания.

Местный губернатор, человек, в сущности, добрый и гуманный, не мог отказать просьбам прекрасного пола, который дал в честь прибывшего великолепный бал. Его привезли из тюрьмы в зал дворянского собрания, в котором сняли портрет царя и на его место повесили портреты Герцена и Бакунина, а сверху поместили в виде гирлянды кандалы, снятые с ног Михайлова. Бал был великолепным, народу — полно. Прекрасный пол разбил его кандалы на куски, из которых потом выковали кольца, серьги, брошки, а ему самому подарили на память миниатюрные золотые цепи, украшенные драгоценными камнями. Это, однако, не помешало тому, чтобы после Тобольска Михайлова опять заковали...

Во всех городах и селах его принимали с таким же теплом и уважением, что и в Тобольске. Весь русский народ любил его, уважал и почитал, и люди в Сибири не желали отставать от других и на каждом шагу показывали, что и они умеют ценить образованность, уважать истину и чтить величие самопожертвования...»

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

На другой день голубые провожатые вполне освоились в возке, отцепили по совету Михайлова сабли, сняли пистолеты. Признались, чего боялись,— в Ижоре, по сведениям Третьего отделения, ожидалась засада из студентов, их якобы собралось человек двадцать, а то и более. Они намеревались отбить возок с Михайловым и угнать его. Слава богу, беды не случилось. Его сиятельство князь Суворов оповестил кого надо, что при попытке вызволить преступника его велено застрелить.

Оба урядника не сомневались, что Михайлов главный зачинщик волнений среди студентов. Но когда они увидели кандалы на нем, то поняли, что преступление его гораздо серьезнее. Многих господ им приходилось препровождать в ссылку, но чтобы в кандалах!.. Видать, уж понатворил делов...

Старший из провожатых, Бурундуков, сидел рядом с Михайловым, а младший, Каменев, трясся на чемодане перед ними, спиной к ямщику. Однако все бумаги и деньги были вверены Каменеву, поскольку он умел читать, а Бурундуков в грамоте ни бельмеса. Почему-то вот таких и назначают в старшие.

Бурундуков молчалив и сумрачен, Каменев же, наоборот, словоохотлив и общителен.

— За что вам кандалы-то, господин Михайлов? — не утерпел Каменев, и Михайлову пришлось рассказать о листе как можно проще, сообразно их понятиям. Оба слушали со вниманием. Бурундуков ничего не сказал, а Каменев вполне серьезно заметил, что Михайлов пострадал за правду — и крестьян обманули волей, и солдатам пора службу уменьшить.

В Новой Ладоге они ужинали рыбной селянкой на почтовом дворе и сидели за столом уже как давние знакомые. Михайлов посматривал то на одного, то на другого,— вроде люди как люди, но кто-то из них должен был преспокойно его застрелить. Он так и спросил напрямую, кто же, кому поручено?

Старший молчал, а Каменев простодушно признался:

— Да ведь в суматохе как оно бывает? Кто первым приказ исполнит, тому и поощрение. Такая наша служба.

— Гадкая у вас служба! — не стерпел Михайлов.— От такой службы и люди становятся гадкими. Да и какой порядочный человек пойдет в жандармы! — Сгоряча он наговорил застольникам с три короба: какой позор служить Третьему отделению, как легко жилось бы людям

без шпионских преследований, как изменилась бы жизнь на земле, если бы человеку не затыкали рта, а позволяли говорить правду.

Провожатые не перечили, слушали с интересом, будто речь про других. Попили чаю. Поехали дальше.

Знать маршрут ссылаемому в каторгу не полагалось, но Каменев все-таки выдал секрет и даже показал подорожную, где указывались почтовые станции и, само собой, города: Ярославль, Кострома, Вятка, Пермь, Екатеринбург, Тюмень и, наконец, Тобольск.

— С божьей помощью недели за две доедем,— пообещал Каменев.

В Тихвине сменили лошадей, и, когда Михайлов садился в возок, к нему подошла нищая. Жандармы, а с ними и ямщик набросились на нее с криком:

— Разве у таких просят? Ты посмотри ему на ноги-то!

А чего ей смотреть? Видит, стоит тройка, видит, идет барин, авось подаст копейку ради Христа, его не убудет.

На крик подошла другая нищенка и тоже с протянутой рукой. У Михайлова не было при себе мелких денег, и он сказал Каменеву, чтобы тот подал медные монеты. Между ними произошло препирательство, бережливый Каменев даже за обед Михайлова платил с неохотой, будто отрывал свои кровные, а тут еще подавай христарадникам. Михайлов настоял и потребовал, чтобы впредь Каменев ему не перечил и побольше разменял рублей на медяки.

Он будто предвидел — после Тихвина, словно по уговору, нищие стали встречать его на каждой станции, ковыляли к возку впереди смотрителя. Да и смотрители удивляли Михайлова. На каждой почтовой станции едва жандарм высовывался из возка, как смотритель задавал один и тот же вопрос: «Кого везете? Не Михайлов ли?» Уму непостижимо, кто их осведомлял и как.

На четвертые сутки прибыли в Ярославль. Час уже был поздний, на станции ничего не могли подать, кроме чая, и провожатые решили ехать в гостиницу. Она оказалась ничем не хуже заграничных отелей, на удивление Михайлова, в несколько этажей, с освещенным подъездом.

Бурундуков ушел хлопотать, Каменев вылез размяться, а Михайлов, пользуясь свободным местом, прилег в возке, чувствуя дурноту от голода и усталости. Кандалы вроде бы и легкие, весу в них сущий пустяк, фунтов пять-шесть, но за четыре дня они стали пудовыми, будто с каждой верстой, с каждым часом набирали вес. А ведь только четвертые сутки идут, и впереди еще десять, и то до Тобольска только, а там еще через всю Сибирь... Лучше не думать. Лучше вспомнить Гоголя: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога!»

Бурундуков, слава богу, договорился, вышел с гостиничным человеком во фраке, и тот сказал Михайлову, что нумер свободный имеется, да только высоко, на третьем этаже. Михайлов полез в мешок управы благочиния, достал два полотенца, превозмогая ломоту в спине, обмотал кандалы и выбрался из возка. Весьма приличный швейцар в ливрее, треуголке и с булавой встретил их недоуменно. Вестибюль сиял от множества свечей. Человек во фраке, поддерживая Михайлова, повел его по лестнице. На улице кандалы молчали, но стоило войти в здание, как сразу стал слышен перезвон звеньев. Михайлов ступал, как обезноженная лошадь. Чистота, канделябры, мрамор, узорный ковер, ухоженный слуга — все, как в Европе. Но только в России, наверное, возможна такая картина — в фешенебельном отеле кандальник. Прошли мимо ресторанной залы, мимо бильярдной, в открытую дверь выглядывали господа, лица их удлинялись, глупели — что за шествие? Слуга уже вспотел от усердия, впору брать постояльца на руки и нести, но и тогда не избавишься от интересного звона.

...Скачет спутанный конь на лугу, высоко вскидывая обе ноги разом, непривычно ему, ноги связаны, а хозяин гонит, и конь тяжко скачет, вскидывая гривастую голову. А у мальчика в красной рубашке с кожаным поясом ломота в ногах, будто его самого спутали и гонят плетью...

Наконец добрались до нумера. Михайлов размотал полотенца и повалился на стул.

Принесли обед. Только взялись за ложки, как явился горбун в черном сюртуке, смотритель с почтовой станции, получить прогоны. Каменев вручил ему деньги, но горбун не спешил уходить.

— А есть ли у вас право въезжать в гостиницу с секретным арестантом? — заворчал горбун.— Мне законы известны. Вы еще за это ответите.

— Прогоны ты получил? — грубо прервал его Бурундуков.— Так и ступай себе.

— Здесь ведь тоже есть и ваше начальство. Штабофицер,— не оробел горбун.— Заставят вас ответить.

Распустился жандарм, шибко заступчивым стал, да за кого, за секретных каторжных,— укорот ему!

И ведь не какой-нибудь клятый людьми злодейский чин, а сочувственно воспетый Пушкиным станционный смотритель. О Россия, о р-родина!..

И снова дорога. До чего же унылы, до чего бедны селения в Вятской губернии! Нищета вопиющая, смотреть тягостно, ребятишки в рванье, скотина тощая. Снег, сугробы, мороз декабрьский, а двери в некоторых избах открыты настежь и оконные рамы выставлены — зачем? Каменев пояснил: вымораживают тараканов, зимой они особо лютеют, в кровь грызут.

«Те же всё унылые картины, те же всё унылые места: черный лес да белые равнины, по селеньям голь и нищета. А кругом все будто стоном стонет... И вопрос тоскливый сердце жмет: лес ли то со стоном сосны клонит, или вьюга твой мне стон несет, изнемогший в вековом

томленье, искушенный в вековом терпенье, мой родной, несчастный мой народ?»

За Кунгуром стали попадаться бесконечные обозы с чаем из Тюмени. Деревни пошли зажиточнее, но возле каждой околицы — серые частоколы этапных изб. По утрам возле них стояли бабы с кринками молока и с калачами — встречали несчастных. Возок все чаще стал обгонять партии ссыльных. Впереди шли каторжные с заиндевелыми бородами, скованные по четверо железными поручнями, за ними в куцых казенных полушубках шли без оков сосланные на поселение, а в самом конце тащились дровни с больными, с детьми и женщинами, серое месиво жалких одежд. По сторонам партии ехали два-три казака верхами, а позади брели пешие солдаты, как пастухи за стадом.

Возок обгонял несчастных, и Михайлов долго не мог избавиться от тягостного видения и мрачных мыслей. Вот так они и везде врозь — и в борьбе, и в наказании тоже.

С каждой ночью становилось все холоднее, особенно зябли ноги. Михайлов укутывал кандалы в полушубок, но железо будто само источало холод и ледяными кольцами стискивало сапоги.

Дорога становилась все хуже, то ухабы, то заносы, снегу лошадям по брюхо, а то вдруг обнаженная ветром земля, и полозья скребут по мерзлой колее, возок трещит, седоков бросает, мотает из стороны в сторону. На такой дороге многое зависит от ямщика.

А ямщики попадались разные. Один правит молча, не слышно его совсем, как будто кони сами бегут, другой же хоть днем, хоть ночью беспрестанно гикает и ухает, не давая покою ни лошадям, ни седокам. Из Ярославля их повез мужичонка боязливого вида, так и казалось, либо он заблудится ночью, либо в полынью завезет (дорога шла по льду Волги). Ехали, ехали, к утру приехали — снова в Ярославль. Мужичонка оправдывался отчаянно,

все крестился и валил вину на сани, которые встретились ему по выезде из города, не простые то были сани — в них сидели два леших.

Станции за три не доезжая Тюмени случилось приключение. Мирно попили чаю у смотрителя, вышли к возку, и тут их встретил новый ямщик, молодой парень с шальными глазами.

— Прохлаждаетесь! А лошади-то не стоят!

— Ну так поезжай скорее,— буркнул Бурундуков, не терпящий никаких попреков.

Не следовало ему сердить ямщика. Едва уселись, как тройка понеслась словно бешеная. Каменев оборачивался к ямщику, кричал: «Не гони!» — но тот и ухом не вел.

И вдруг кони стали. В оконце стук кнутовищем, стоит какой-то мужик в тулупе и кричит:

— Где у вас ямщик-то?

Выглянули — пусто на козлах, нет ямщика. Постояли, подождали, видят — бежит ямщик и земля под ним до того шибко вертится, что не может сердяга твердо ногой ступить.

— Да ты, парень, пьян? — набросился на него Бурундуков.— Опять слетишь, да и повозку повалишь.

— Сам ты пьян! Так покачу, только держись.

И снова погнал как сумасшедший, возок только трещал на ухабах. Кричать ему, уговаривать его было бессмысленно. Верст через пять-шесть кони снова остановились, от боков их валил пар.

— Ведь говорили тебе, чтобы ты не гнал! — опять напустился на ямщика Бурундуков.— Стали теперь лошади, загнал ты их.

— Оттого и стали, что ты меня гнал! — огрызнулся ямщик. — Ты и меня всего избил! Саблей в бок тыкал!

Хорошо, что лошади стали возле деревушки, наверное по инстинкту. С одурелого парня проку мало, жандармы решили заменить лошадей в деревне. Тут как раз подошли

несколько мужиков и на просьбу Бурундукова ответили отказом — в деревушке всего три двора, лошадей нету.

— Они избили меня! — опять завопил ямщик, вободренный появлением мужиков.— С козел меня столкнули.— И попер на Бурундукова: — Ты кто такой? Ты кто, мать твою так, генерал? Ты солдат бесштанный!

Бурундуков решил, что надо съездить обратно на станцию за свежими лошадьми, и попросил мужиков помочь ему отпрячь пристяжную. Но мужики и с места не сдвинулись.

— Не вамай, братцы! — кричал им ямщик радостно.

Бурундуков пошел сам отпрягать, а мужики стали науськивать ямщика:

— Не давай, паря, не давай!

Ямщик ринулся за Бурундуковым, запутался в тулупе и рухнул в снег.

— Видите, как он пьян? — заговорил Каменев, пытаясь усовестить мужиков.

— Маненько выпимши,— согласились мужики.

Михайлов только головой вертел, следя за развитием событий.

Бурундуков наконец выпряг пристяжную и поскакал охлюпкой обратно на станцию. Ямщик хотел было за ним погнаться, да плюнул и напустился уже на Каменева:

— Ты кого везешь, мать твою распротак? Ты секретного везешь. А в чем ты его везешь? Разве в этакой избушке секретных возят? На это перекладная есть, а ты его проходной везешь. А сабля у тебя где? С секретным едешь, а где у тебя сабля? Захочу, я тебе все рыло расхлещу! Секретного ты везешь, а пистолет у тебя где? Жандар ты, мать твою перетак, жандар!..

Кроткий Каменев не мог отвечать ямщику тем же ором, махнул рукой и отошел прочь. Обозлясь на его спину, на нежелание принять правду-матку, ямщик вско-

чил на козлы, пронзительно, до рези в ушах, взвыл, гикнул — и лошади, как от волка, рванулись и понеслись, будто свежие. Михайлов кричал, просил, требовал остановить, но все тщетно.

— Что, плохо везу! — ликовал ямщик. — Что, пристали лошади, да? Вот как я на паре троих качу!

То, что из тройки лошадей осталась пара, он еще разбирал, но то, что из трех седоков остался один, ему было совсем невдомек. Михайлов, потеряв терпение, чуя, что возок вот-вот опрокинется и рассыплется, просунулся через оконце и дернул ямщика за полу. Тот качнулся, натянул вожжи, лошади круто свернули и уткнулись в сугроб, после чего ямщик задремал.

Вскоре верхом прискакал Каменев. Мужики все-таки испугались, как бы не вышло хуже для них, и нашли ему лошадь. Теперь Каменев взобрался на козлы сам и, обнимая вконец одурелого парня, повернул возок обратно — встречать Бурундукова со станции.

Разудалого молодого сменил степенный пожилой ямщик, но и с ним заехали в овраг, сломали оглоблю.

Облик селений менялся все больше. Семьи служивых и семьи поселенцев жили вперемешку, между ними велись обыденные разговоры об одном и том же — о статьях уложения, о конце срока, о прошениях и побегах. В какой-то вот такой же деревне возле каторжного рудника будут жить и Шелгуновы с Мишуткой... Все чаще стали попадаться партии, шедшие не только на восток, но уже и на запад. Остроги, этапы и уже не этапы при селениях, а селения при этапах. В Сибирь въезжаешь как в большую неогороженную тюрьму.

За два дня до Тобольска опять перевернулись полозьями вверх и кое-как выбрались через дверцу, которая оказалась с другой стороны. Разбили стекло в оконце, и пришлось затыкать дыру войлоком. И лошади свежие, и ямщик новый, но как будто устал уже сам возок...

После третьего кувырка утром в канун Нового, 1862 года прибыли, наконец в Тобольск. Город стоял на двух уровнях и напоминал Москву. Внизу жилые дома, а на горе каменный кремль, собор, архиерейский приказ, там же тюремный замок и приказ о ссыльных.

По длинному откосу поднялись наверх, проехали мимо памятника Ермаку, мимо острога и остановились возле грязноватого здания приказа о ссыльных. Здесь Бурундуков и Каменев должны сдать пакет на Михайлова, после чего поедут обратно, в Петербург. Михайлову же оставаться и ждать, разрешит ли приказ следовать в возке дальше или назначит его в общую партию и будет он греметь кандалами до самого Нерчинска.

Приказные чиновники произвели на него весьма унылое впечатление. У одних продранные сапоги, у других дырявые валенки, штаны с заплатами, сюртуки замаслены и с оборванными пуговицами, на шее вместо галстука какие-то онучки. С первого взгляда видно, что живут они в крайней нужде и не удивительно, что побираются гривенниками и даже пятачками от несчастных ссыльных. Михайлову подумалось, что вряд ли и каторжный согласится поменяться платьем, да, наверное, и местом, с канцелярским чиновником Тобольского приказа о ссыльных.

Зато тюремный замок выглядел ухоженным, побеленным, будто главная гордость города. Большой двор поделен каменными стенами с воротами, на кандальном дворе стояла безглавая церковь с каким-то назиданием славянской вязью над входом. И всюду тяжелые двери с коваными решетками.

Михайлова поместили в «дворянское отделение» в одном нумере с поляком из дворян Станиславом Крупским, совсем еще молодым человеком лет двадцати трех. Рослый, голубоглазый и ладный собой, в синей венгерке польского кроя и в красной конфедератке, Крупский имел

совсем не тюремный вид. Держал в нумере свой самовар, свой погребец, окованный сундучок и даже гитару.

Едва Михайлов расположился и попил чаю из самовара сожителя, как явился председатель губернского правления — засвидетельствовать свое почтение господину петербургскому литератору. За председателем пришел учитель словесности городской гимназии. Он выписывает «Современник», хорошо знает имя Михайлова и выражает сочувствие его положению. За учителем явились два доктора, поздравили с наступающим Новым годом и сказали, что всему Тобольску уже известно о прибытии Михайлова. Крупский был весьма удивлен такому вниманию, он уже пять дней здесь, а к нему еще никто не приходил. Он тут же рассказал свою историю, от которой Михайлов только руками развел, ничего не понимая. Будучи студентом Краковского университета, Крупский согласился на предложение полицмейстера стать его агентом. Признавшись дружкам-студентам, что сделал он это умышленно, ради выгоды, Крупский стал ездить по городам и местечкам, узнавать, где готовится выступление, и доносить в полицию, указывая, однако, неверные сроки — то на день раньше, то на день позже. Из агента краковской он скоро стал агентом варшавской полиции, преотлично жил на казенный счет, посещал театры и гульбища, тратил денег сколько душа хотела и пугал полицию сведениями о тайном обществе, о расклеенных на улицах плакатах, которые вынужден был сам писать и расклеивать. За ложные доносы в конце концов ему присудили четыре года крепости и предложили на выбор австрийскую тюрьму (ко всему он был еще и австрийский подданный) или Сибирь. О политическом движении среди поляков Крупский ничего толком рассказать не мог, Михайлов, живя в Петербурге, знал больше его; не было в нем ни особой смекалки, ни хитрости, чтобы ловко обманывать полицию, не было и задора, свойственного моло-

дости,— так, одно шалопайство. С вожделением вспоминал Крупский рестораны и вечеринки за счет полиции, видел в этом борьбу за польскую неподлеглость и считал себя патриотом в духе Конрада Валленрода.

Всю ночь под Новый год Михайлов разгонял мышей звоном своих кандалов,— уж хотя бы тут помогли. Мыши пищали по углам, сновали по полу, взбирались на постель.

Первого января с Михайлова сняли кандалы. Видимо, вчерашние визитеры пошли с ходатайством и уговорили полицмейстера пойти на послабление.

С утра начались новогодние поздравления. Первым пришел надзиратель из казаков, и Крупский сказал по-немецки, что ему следует дать рубль, иначе не уйдет. За ним пришел уже подвыпивший помощник смотрителя, и Крупский повторил ту же фразу. Потом повалили поздравители из города, принесли Михайлову журналы и газеты, разного варенья, сыру, масла. А к вечеру в нумер вошла дама и вручила Михайлову букет цветов.

«Сибирский букет был не пышен: гвоздика, гераний, мирт и несколько полуразвернувшихся китайских роз, но он был приятнее мне, чем в иное время и в ином месте самые красивые и дорогие цветы... Цветы нашли меня в тюрьме; неужто любовь и дружба не найдут меня в ссылке»,— написал Михайлов Людмиле Петровне.

Зашли проститься перед отъездом Каменев и Бурундуков, порадовались, увидев Михайлова без оков, согласились взять с собой его письма в Петербург.

Потянулись дни ожидания, впрочем не столь тягостные, как в Петропавловской крепости. С позволения острожного начальства Михайлова иногда вывозили в город на званый обед, там рассказывали ему новости местные и столичные. В Тобольске нашлись подписчики «Современника», и не один-два, а целых семнадцать, один журнал приходится на тысячу жителей. Многие статьи из него переписываются старшими гимназистами, лека-

рями, чиновниками и обращаются уже в рукописях. Михайлову доказывали, что и в здешнем захолустье кипит жизнь. Есть в Тобольске студенты Казанского университета, сосланные за панихиду по расстрелянным крестьянам в селе Бездна. Живет здесь Ершов, написавший «Конька-Горбунка», живал когда-то сосланный композитор Алябьев, а еще раньше протопоп Аввакум служил здесь в Вознесенской церкви до изгнания его в Забайкалье. В кремле в особой загородке подле архиерейского дома содержали сосланный из Углича колокол,— за то, что давал набат после убиения царевича Димитрия.

Сыздавна в Тобольск назначались воеводами бояре особо знатные, из близкого родства с царствующим домом. Многие годы Тобольск был столицей Западной Сибири, и здешний воевода руководил всей военною силой Сибири, снабжал ее города продовольствием и оружием, решал все торговые вопросы с Китаем, с Индией, с Бухарой. В городе семь торжищ для всяких своих и чужеземных товаров. Всю зиму здесь торгуют калмыцкие и бухарские караваны в ожидании лета, когда можно будет уйти по теплу в свои края.

Связь с центральной Россией, с Петербургом и с Москвой в Тобольске не прерывается, постоянно кого-нибудь ссылают сюда, не думая, разумеется, о распространении вредных мыслей и настроений. Немало здесь ссыльных из инородцев — башкир, татар, азиатов. Рассказали Михайлову об одном казахе из степи за Иртышом, называемой Золотой Аркóй. Он проехал верхом мимо юрты волостного старшины и не сошел с коня, как того требовал волостной от всякого мимоезжего. Смутьяна стащили с седла, испороли плетьми и отобрали последнего коня. «Два крыла у казаха — конь и песня». Нет худшего оскорбления для кочевника, чем оставить его пешим. Побрел джигит в родной аул на своих двоих, проклиная судьбу. Но ведь два крыла у казаха! И он сочинил песню скорби

и гнева, она пошла звучать по аулам, дошла до ушей волостного, тот взъярился, составил бумагу, скрепил печатью, погнал отару овец и косяк лошадей губернским чиновникам, те подсунули бумагу на подпись губернатору — и отправили певца по этапу на двенадцать лет. Но песню не закуешь и не сошлешь, она стала звучать по степи все шире, увенчанная судьбой сочинителя.

Два крыла у Михайлова — любовь и литература. Он благодарил судьбу за то, что она дала ему в руки перо, а с ним и в неволе легче, даже в остроге бывают минуты счастья. К ночи, когда утихала тюрьма, он садился к свече и писал роман. Он назвал его, как и мечтал когда-то, «Вместе». Писал о всей своей прежней жизни, о России и загранице, о любви и борьбе за свободу...

Пошла третья неделя пребывания его в Тобольске, а распоряжения об отправке все еще не поступало. Он беспокоился, как бы не погнали его в партии с кандальниками. Возок его стоял под навесом в том же дворянском отделении и служил поводом для разных толков.

Крупскому готовила обеды пожилая кухарка из здешних, приносила обед в нумер и любила поболтать с Крупским, хотя по-русски он говорил плохо. А Михайлова сторонилась сначала, потом призналась: в остроге считают его несметным богачом — вон в каком возке прибыл — и очень строгим барином — царя хотел убить, а разве царь виноват?

Если бы не каторга, не видать бы ему всю жизнь такой собственности. Однако не поверит кухарка, что возок ему миром собран, не убедишь ее.

«Разве царь виноват?» Стоит мужичок в рванье, с тоской глядит за ворота острога, ждет свою дочь, маленькую девочку. Ее не вписали в бумаги и осталась она на воле одна-одинешенька. «Вчера вышел к воротам, она стоит там, продрогла вся. «Тятенька, я, говорит, поисть хочу». Хорошо еще вышел я в пору, дал ей калачика...» Разве

царь виноват? Народу царь благодетель, а первый враг для людей — бумага, как написано в ней, так и живи.

Сидят в женском отделении две бабы-подельницы. У одной сдохла корова, порченная колдуньей. Но и колдуньи смертны, похоронили старую ведьму. А порча осталась. Тогда бабы разрыли ее могилу и вбили в труп осиновый кол, свято веря, что только так можно избавить деревню от порчи. «Разве царь виноват?»

По вечерам, когда утихал в коридоре говор и острог отходил ко сну, в дальнем конце отделения тонким хрустальным голосом запевал ирмосы Андрюша-скопец из Березова, давний посиделец с каким-то темным делом. В ночной тишине Михайлов садился за роман.

— Блаже-ен муж, иже не и-иде на совет нечестивых,— пел Андрюша-скопец словно из поднебесья.

Однажды разнесся слух, что привезли кого-то знатного, вроде Михайлова, тоже в возке, в ножных и ручных кандалах. Михайлов быстро оделся и побежал к воротам. Новый острожник сидел на нижней ступеньке каменной лестницы в доме смотрителя. Одна нога его с кандальным кольцом лежала на двухпудовой гире, и казак, сидя на корточках, взмахивал молотком. Арестанту меняли тесные кандалы на просторные, а сам он сидел, низко опустив голову в мохнатой шапке, лица не было видно, только окладистая борода. Михайлову не позволили заговорить с ним и даже попросили его удалиться.

В тот же день Михайлов узнал, что новоприбывший — крестьянин Кокшаров. Он ездил в Петербург для подачи просьбы государю от имени трех тысяч пермских заводских крестьян. Просьбу его приняли, а самому Кокшарову велели возвращаться домой. Там за ним и пришли мил-человеки. Крестьяне не хотели отдавать своего доверителя, пришлось брать его военной силой, со стрельбой и убийством. Кокшарова заковали без следствия и суда и отправили в каторжную работу.

Михайлову очень хотелось повидаться с ним, поговорить, но Кокшарова заперли в секретном отделении, куда совершенно никого не впускали. Михайлов взял с собой пятирублевую ассигнацию, разыскал надзирателя из секретного, но тот оказался несговорчивым. На другой день Михайлов угостил водкой помощника смотрителя и уговорил его пойти с ним в секретное. Тот согласился, но надзирателя не оказалось дома, ушел в город и забрал с собой все ключи. Только на четвертый день Михайлову удалось проникнуть в секретное, но, к большой досаде его, Кокшарова уже отправили по этапу.

Михайлову жадно хотелось встречи с человеком дела, одного с ним воззрения, устремления, он остро переживал свое одиночество здесь. Острожных много всяких разных, а он один, смотрит на них и видит, убеждается, что петербургские их призывы и надежды ни вдаль не идут, ни вширь, дело их не претворялось в жизнь, не обрастало людьми. Встреча с Кокшаровым позволила бы ему узнать про настроения и требования заводских крестьян, беседа с ним придала бы обоим бодрости и для обоих была бы полезна.

В Тобольске Михайлов прожил почти месяц. Он писал роман «Вместе», переводил «Скованного Прометея» Эсхила и ждал, пока прошение его об отправке за свой счет проходило приказ о ссыльных, затем пошло к прокурору, затем к губернатору. Препятствий нигде не чинилось, видимо, сыграло свою роль письмо Суворова, о котором никто не упоминал, но Михайлов догадывался. Его записали в больницу, составили медицинское свидетельство о болезненном его состоянии, врачебная управа свидетельство подтвердила и наконец полицеймейстер распорядился, чтобы жандармский штаб-офицер назначил Михайлову двух провожатых до Нерчинска.

Накануне отъезда в полдень смотритель замка сказал Михайлову, что ему разрешено провести последние сутки

вне пределов острога. Его приглашают в город на обед к полковнику Ждан-Пушкину, где будут присутствовать все его доброжелатели, в их числе полицеймейстер, а также и сам смотритель замка. Вещи Михайлова будут уложены в возок жандармами, он может спокойно пребывать в городе, а завтра к вечеру жандармы за ним заедут.

На другой день, 27 января, в сумерках, благосклонное и внимательное к Михайлову тобольское общество распростилось с ним за городом на том самом месте, где, по преданию, высадился Ермак.

Впереди были Омск, Томск, Ачинск, Красноярск, Иркутск и далее, за Байкалом, Чита и Нерчинск. «Утомителен мой путь, край далек обетованный...»

Гой еси, Ермак Тимофеевич, голова садовая, для чего ты открывал Сибирь, для кого?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

После отъезда Михайлова один из тобольских жандармов послал в Третье отделение донос о послаблениях здешних властей государственному преступнику. Вопреки правилу Михайлов был раскован и содержался в тюремном замке без кандалов. Вице-губернатор Соколов, прокурор Жемчужников и начальник провиантской комиссии полковник Ждан-Пушкин не только принимали его у себя, но и давали обеды в его честь. Некоторые дамы подносили Михайлову букеты цветов. Перед отправлением преступника из Тобольска к месту ссылки собралось общество в квартире полковника Ждан-Пушкина, где были разбиты кандалы Михайлова. Кольцо из них вскоре появилось на столе у вице-губернатора Соколова с привязанною дощечкою, на которой написано: «Покровителю угнетенных — от Михайлова». При самом выезде из города повозка государственного преступника была

окружена у заставы толпою многих господ и дам. Они все вместе пили шампанское и кричали «ура!». Едва Михайлов проехал заставу, как его встретил вице-губернатор Соколов, который прощался с преступником как с родным и вручил ему коробку с неизвестным подарком.

Донос был представлен государю. Александр II приказал произвести строгое расследование. Генерал-майору свиты его величества Сколкову велено было выехать в Тобольск и выяснить на месте следующее: сколько времени находился Михайлов в Тобольске и почему он не был отправлен в дальнейший путь немедленно; по чьему распоряжению он был освобожден от оков; на каком основании и кто разрешил ему отлучки из тюремного замка в частные дома; действительно ли кандалы его были при отъезде из Тобольска разбиты лекарем Анучиным и розданы присутствовавшим; был ли затем Михайлов вновь закован при отправлении его из Тобольска, или он следовал далее без оков.

К следствию были привлечены смотритель тюремного замка, полицмейстер, губернатор, вице-губернатор и, наконец, тобольский прокурор.

Из показаний смотрителя тобольского тюремного замка Козакова. Михайлов содержался не на кандальном дворе, а во флигеле для подсудимых арестантов из дворян, с разрешения тобольского вице-губернатора. Камера его не запиралась. Его посещали: вице-губернатор Соколов, полковник Ждан-Пушкин с женою, лекарь сибирского казачьего войска Анучин с женою, учитель тобольской гимназии Плотников, надзиратель той же гимназии Каталинский, товарищ председателя тобольского губернского суда Андроников, бывший советник того же суда Губарев, учитель тобольской духовной семинарии Знаменский, учитель тобольской гимназии Белорусцев, студенты, исключенные из Казанского университета, Семенов и Добродеев, директриса тобольского женского попечитель-

ного о тюрьмах комитета купчиха Пиленкова и учительница танцев Затопляева. Все эти лица заходили к Михайлову с дозволения тюремного начальства...

Из показаний полицмейстера Кувичинского. Преступник Михайлов содержался не на кандальном дворе, а во флигеле для подсудимых арестантов из дворян; но это было сделано по издавна заведенному порядку в тобольском тюремном замке, где отделялись преступники привилегированных сословий от простого. Давал ли он прямо приказания смотрителю замка Козакову о содержании Михайлова во флигеле подсудимых дворян, то он этого не помнит; но, может быть, и давал... Отдавал ли он приказание смотрителю расковать Михайлова по прибытии его в Тобольск, не помнит, но не отрицает, что мог и отдавать, уважая в преступнике дворянское сословие, к которому последний прежде принадлежал. В самый день отправления Михайлова из Тобольска к месту ссылки он дозволил ему быть в доме Ждан-Пушкина, откуда Михайлов отправился в Нерчинск, а не заковал его при отправлении потому, что не пришло это в голову.

Из показаний тобольского губернатора Виноградского. О послаблениях Михайлову он совершенно ничего не знал; сам же он не мог бы допустить их, потому что хорошо знает, что всякое послабление, оказываемое таким преступникам, как Михайлов, есть протест против правительства. Об этих послаблениях он не мог иметь даже частных сведений, потому что не имел никаких частных сношений с обществом; все время его поглощалось служебными занятиями, в которых он, как человек бедный, видел всю цель своей деятельности.

Из показаний вице-губернатора Соколова. Как председатель губернского правления, он постоянно занимался делами о преступниках; как директор попечительного о тюрьмах комитета, он постоянно бывал в тобольском тюремном замке для наблюдения за помещением аре-

стантов, а как доктор (по образованию) считал своею обязанностью всегда помогать преступникам в их недугах, а Михайлова он сожалел как больного человека. Он видел в Михайлове не только больного, достойного сожаления, но и интересного субъекта для изучения со стороны науки; знал он его только по литературным трудам, и, в особенности, по его статьям о женщинах. На квартиру к себе Михайлова он, действительно, призывал для подаяния медицинского пособия; а так как Михайлов являлся к нему к 4 часам, то он оставлял его у себя обедать, но в 6 часов отправлял в замок, под присмотром полицейского чиновника, который его к нему и привозил. Что касается прощания с Михайловым за заставою, то происходило оно следующим образом: он поехал с женою своею, по случаю болезни последней, в загородный монастырь; но, не доезжая до монастыря, должен был возвратиться назад по причине усилившегося вдруг холода и ветра. На возвратном пути увидел он ехавшую по направлению от города повозку, но не знал, кто в ней сидит, а когда подъехал к ней, то увидел сидящего в повозке Михайлова и потому остановился проститься, причем отдал последнему бывшую с ним коробку с 5 рябчиками; но это было подаяние, которое закон не воспрещает давать преступникам и которое делается в России повсеместно.

Из показаний прокурора Жемчужникова. По порядку, исстари заведенному в тобольском тюремном замке, содержащиеся арестанты из привилегированного сословия отделялись от простых, что, по его мнению, не противоречит 101-й ст. XIV т. уст. о содержании под стражею; во время содержания он видел его раскованным, но приказания расковывать не давал; заковать же его он не мог приказать, потому что, на основании законов, лица привилегированного сословия освобождаются от оков, и он считает, что действия его были бы более противозаконные,

если б он приказал заковать Михайлова. Кроме того, вопрос о заковывании в разных местах понимается различно; так, Михайлов, осужденный в каторгу на 6 лет, прислан был в оковах, а шведский подданный Бонгард из Варшавы, осужденный в каторгу на 12 лет — без оков; следовательно, заковапие Михайлова может быть отнесено к ошибочному пониманию закона. О посещении Михайлова разными лицами он ничего не знал. Один раз брал его к себе с той целью, чтобы дать ему возможность, при его сильной болезни, воспользоваться хорошею пищею, и разрешения на это ни у кого не спрашивал. Притом он не предполагал, чтоб правительство, вверив ему должность прокурора, усомнилось в его преданности и чистоте действий...

Генерал-майор свиты его величества собрал не только показания, но и составил акт в опровержение слухов, будто кандалы Михайлова были разбиты. Генерал призвал кузнецов и потребовал разбить кандалы обыкновенным молотком, как это сделал якобы лекарь Анучин. Оказалось, что без помощи кузнеца разбить кандалы невозможно, о чем и указано было в акте. Ко всему прочему, жандармы, которые повезли Михайлова из Тобольска, объяснили, что приняли арестантские вещи вместе с кандалами совсем целыми.

Генерал свиты его величества в своем заключении написал, что тобольское общество вовсе не сочувствовало преступнику Михайлову, дамы ему букетов не преподносили,— какие могут быть букеты при сибирских морозах? — а если некоторые и высказывали сочувствие, то делалось это из желания прослыть передовыми людьми.

О результатах следствия министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов доложили государю, и тот повелел передать дело в правительствующий сенат, решением которого за бездеятельность и превышение власти удалены от должности и преданы суду губернатор, вице-губерна-

тор, прокурор, полицеймейстер и смотритель тюремного замка. Жандармский штаб-офицер предан военному суду. Лекарь казачьего войска Анучин уволен от службы без прошения.

Нельзя баранам кричать козлом.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Целых два с половиной месяца, половину декабря, весь январь и весь февраль, я не бралась за свою повесть, пребывая в угнетенном состоянии духа. Жизнь в Петербурге будто замерла с Нового года, и я уединилась в своей квартире, никуда не выходя, что имело пагубные для меня последствия. Личная моя жизнь повернула вспять, я помирилась с отцом после краха моей поездки в Сибирь, но об этом крахе лучше я напишу потом.

Примирение мое с родителями нельзя расцепиватı иначе, как сдачу позиций молодого поколения. Но я не могла поступить иначе, я, видно, слишком слаба следовать новым принципам, да и новые принципы в последнее время мало что стали значить. Maman пьет валерианку столовыми ложками, а отец из-за меня стал седым и говорит, что сядет скоро на одиннадцатую версту (там больница для умалишенных в Удельном). А тут еще в «Русском вестнике», словно яичко ко христову дню, вышел роман Тургенева «Отцы и дети», в котором главный его герой грубо относится к старикам родителям и в своих понятиях не имеет ничего святого.

Теперь я снова берусь за перо после умственной и душевной встряски в пятницу на той неделе, когда я воочию убедилась, что жизнь движется и страсти в публике не только не остыли, но даже пылают еще пуще.

Литературный вечер в зале госпожи Руадзе 2 марта 1862 года войдет в историю как открытое столкновение двух противуположных партий. Если прежде молодое

поколение сталкивалось с начальством, то теперь оно столкнулось с партией рутинистов из публики. Дело чуть не дошло до драки.

Не знаю даже, с чего начать, все так разнородно и смешано-перемешано до того, что в иной части событий не знаешь даже, какую сторону принять.

Афиша не предвещала никаких столкновений, такие афиши уже знакомы петербургской публике: «Литературный и музыкальный вечер в пользу общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». Многие знали, а кто не знал, догадывался, что сбор с вечера станет пособием сосланному в каторгу Михайлову. Тайным организатором чтений был его друг, молодой и красивый Александр Серно-Соловьевич.

Вечер, скорее даже полунощник, продолжался долго, часов, наверное, семь. Была Людмила Петровна, не могла я ее не заметить, была она до самого конца, хотя и не играла на вечере никакой особой роли, если не считать ее игру на рояле. Я увидела ее первой... но прежде маленький отступ в прошлое. В канун Нового года, пересилив себя и больше ради Николая Васильевича, я все-таки пошла на Екатерингофский проспект, чтобы пожелать Шелгуновым счастья. И увидела, что доски на их дверях уже сняты — ни доски Михайлова, ни доски Шелгуновых. Я так и поняла, что они уже уехали в Сибирь, и еще подумала, как это хорошо и благородно. А через неделю узнала, что они всего лишь переехали на Царскосельский проспект в собственный дом Серно-Соловьевичей...

Я увидела ее первой и отвернулась, но она сама подошла ко мне. Я была подчеркнуто холодна с ней, я уже приготовила колкую фразу: «А говорят, вы уже в Сибири», но она перебила меня, сказав: «Здесь младший брат Михаила Ларионовича, Николай», и вдруг поцеловала меня в щеку. Я зарделась от неожиданности, ничего, конечно, не успела сказать, а она тут же отошла, слегка

прихрамывая (до сих пор у нее больны ноги после родов Мишутки).

Она отошла, а я сразу же решила познакомиться с его братом, разыскать его с помощью Шелгунова, но самого Николая Васильевича я увидела слишком поздно, когда он уже перед самым началом шел с Некрасовым за кулисы. У Некрасова вид понурый, он сутулый, убитый, и легко понять отчего. Беды валятся на «Современник» одна за другой. Умер Добролюбов, сослан в каторгу Михайлов, а неделю назад похоронили Панаева, без гражданской панихиды, без добрых слов, которых он, многолетний издатель журнала, заслуживал; и Некрасов, уже на поминках, сидя за столом, оправдывался: Суворов-де запретил речи...

Брата его я решила разыскать в перерыве, подойти к нему просто и смело: «Позвольте вам высказать мое глубочайшее уважение к вашему брату, Михаилу Ларионовичу. Я знаю его с детства, почитаю его и люблю. Я не поехала к нему в Сибирь только потому, что туда едут, во всяком случае собираются ехать, другие. Но когда он вернется, а я верю, это будет скоро, я первой выйду встречать его!» И что-нибудь еще скажу в том же роде, а он пусть напишет Михайлову о смелой девице весьма привлекательной наружности (если уж я проиграла перед Людмилой Петровной, так хотя бы не останусь ханжой, я вижу, как смотрят на меня молодые люди).

Об афише я записала, теперь о билетах и публике. Билеты от одного до семи рублей серебром, а зала госпожи Руадзе весьма просторна, в ней тысяча сто мест. Что касается состава публики, то такого вечера не было еще в Петербурге со дня его основания и, как теперь уже стало известно, не скоро будет (о причинах я скажу потом). Здесь были, во-первых, главные кумиры молодого поколения Чернышевский и Писарев, а также Достоевский и Лесков, Некрасов и Авдотья Панаева, Василий

Курочкин, Писемский, Боборыкин; были музыканты Генрик Венявский и Антон Рубинштейн, были профессора университета, а кроме литераторов, ученых и музыкантов полно светских дам, полно офицеров морских и сухопутных, генералов статских и военных, именитых купцов и мещан, был даже генерал-губернатор Оренбурга Безак со своим адъютантом. И вся эта разносословная публика, можно сказать, цвет общества, знала или догадывалась, ради кого будут сегодня чтения, пение и музыка. И этот не афишный, скрытый умысел устроителей создавал особый интерес к каждому выступавшему,— а как будет выявлено и подано его отношение к Михайлову?

Устроители вечера хорошо составили программу. Со сцены читали прозу и поэзию сами сочинители, затем пела примадонна итальянской оперы Лягруа, звучал дуэт для скрипки и фортепиано, затем была речь о тысячелетии России, воспоминания о Добролюбове, переводы из Гартмана и Беранже, а под занавес апотеозой прогремела «Камаринская» Глинки, аранжированная для четырех роялей, и на каждом рояле по четыре руки. Однако в этом моем перечислении присутствует лишь одна сторона — сторона сцены, но была и другая — сторона залы, и она тоже звучала, и преотлично звучала — как отзыв, как громогласное эхо, которое у меня до сего дня в ушах. Все было: и крики, и мертвая тишина, и вздохи, и стон, и топот ногами, и такие рукоплескания, что... можно стать инвалидом. Уже в самом конце, по выходе из залы, я слышала совсем осипшие от криков голоса и видела, как один студент, сладко морщась, показывал другому свою багрово-синюю, как сырая говядина, ладонь,— так он хлопал Чернышевскому, стараясь забить свистки и шиканье.

Самым первым вышел к кафедре Достоевский, бледный, желтый, с блестящим от пота лбом. Он читал свои «Записки из Мертвого дома», довольно-таки мрачный эпизод о том, как умирал молодой каторжник в лазарете,

голый, посинелый и в кандалах. Впечатление тяжкое, но что особенно поразило, пронизало меня да и всю залу — легкий стон прошел, дуновение вздоха,— он назвал его имя. Мне показалось, я ослышалась, но он повторил его — Михайлов! Голый, посинелый и в кандалах! И я вошла в общий стон, себя не слыша, только видя свои бледные пальцы, словно чужие сжатые кулачки, один в другом.

Достоевский читал скромно и сдержанно, без жестов, не повышал тона особенно и не понижал, ровно читал и удивительно проникновенно. Впечатление усиливалось еще и от того, что не актер читал и не сочинитель-выдумщик, а недавний страдалец, сам каторжный. Он читал о кандалах, не снимаемых ни при какой болезни с «решоного», как он произнес, каторжного. «Даже чахоточные умирали на моих глазах в кандалах». И далее о том, как умирал этот самый Михайлов, как тяжелым ему казалось одеяло, и он сбил его с себя, сорвал одежду, даже рубашка была ему тяжела. «На всем теле его остались один только деревянный крест с ладанкой и кандалы...» Он начал срывать и ладанку, и она ему была в тягость. Так и умер, голый, иссохший, как скелет,— и в кандалах. Подняли его вместе с койкой и понесли. А кандалы брякали об пол...

Не нужно много ума, чтобы понять,— Достоевский взял такую главу совсем неспроста. Он мог бы назвать своего персонажа каким-нибудь Петровым-Захаровым, но он его назвал Михайловым. Он мог бы выйти читать где-нибудь потом, между другими, чтобы не создавать сразу такого безотрадного чувства, не называть адреса, но он вышел первым и тоже неспроста — Достоевский пожелал напомнить публике о смертной угрозе Михаилу Ларионовичу. Он задал тон всему вечеру, он настроил залу на имя Михайлова, на сострадание к нему,— и никто и никогда не убедит меня, будто вышло так по чистой случайности!

После Достоевского не сразу приняли примадонну итальянской оперы. Она исполнила романс Шуберта, и хлопали ей замороженно, из вежливости. Но романс Варламова «Мне жаль тебя» вполне прозвучал посланием итальянки в Сибирь...

Следом за примадонной господа Венявский и Рубинштейн исполнили дуэт для скрипки и фортепиано. Антон Рубинштейн был другом Михайлова, когда-то они вместе написали оперу...

С дрожью в теле слушала я марш Бетховена «Афинские руины» в исполнении Рубинштейна. Для залы он звучал напоминанием о событиях в Греции, о восстании в тамошних городах против монархии, а для меня... В то утро, 14 декабря, я прибежала на Екатерингофский проспект к Шелгуновым с газетой в руках, в которой сообщалось о казни в восемь часов утра. Еще в прихожей я услышала звуки этого марша, вошла в гостиную и увидела Людмилу Петровну за роялем. Я ей сказала, что казнь уже состоялась, мы опоздали, и подала ей газету. Она взяла, лицо ее побледнело, стала как будто читать, но, по-видимому, ничего не увидела и осторожно положила газету на рояль. И тут я решилась, я сказала, что еду вслед за Михаилом Ларионовичем, что бабушка заложила все свои драгоценности и мне на дорогу хватит. Она потерла свои виски пухлыми пальцами. «А он вас звал туда? Впрочем, поезжайте... Но прежде поеду я». Она захлопнула крышку рояля и словно прихлопнула жестом мои намерения. «С Мишуткой и Николаем Васильевичем». Я и слова не могла выговорить...

В антракте я искала брата Михайлова среди публики и нашла его, я такая, что задумаю, то и сделаю, но... не посмела подойти к нему. Он оказался адъютантом оренбургского губернатора, вернее, чиновником особых поручений, и я по виду его холодноватому, несколько лощеному поняла, что должна быть представлена, а предста-

вить меня некому. Одним словом, я сминдальничала в пользу светской условности, и виной тому мое примирение с отцом. Сто́ит только один раз согнуть себя, как потом уже не выпрямишься. А холоден он и замкнут по выражению лица оттого, что в центре внимания, публике известно, чей он брат, и он это внимание ощущал. Начальник же его, губернатор Безак, хорош, слов нет, явился на литературный вечер, посвященный своему земляку.

Второе отделение началось речью профессора истории Платона Павлова о тысячелетии России (празднование будет нынче в день коронации, 26 августа). И речь его произвела впечатление не менее сильное, чем чтение Достоевского, хотя и совсем в другом роде. Профессор Павлов не особо популярен среди студентов, не сравнить его, скажем, с Костомаровым, да и характер у него уступчивый, деликатный. Но здесь, на вечере, с ним что-то произошло. Он говорил вдохновенно, с энергическим жестом и даже стучал по трибуне. Он подчеркивал, что в продолжение целого тысячелетия Россия была страною рабовладельческой. Сословия у нас разделены пропастью. Манифест об освобождении крестьян открыл бездонную пропасть между простым народом и высшим классом, живущим совершенно от него отдельно. «Не обольщайтесь мишурным блеском, не ослепляйтесь ложным величием! — восклицал Павлов, как бы обращаясь к самому царю.— Никогда, никогда любезное наше отечество не было в таком плачевном состоянии, как нынче!» Речь его прерывалась рукоплесканиями, в иных местах речи топали ногами в поддержку и так кричали, будто хотели казнить себя за то, что тысячу лет мы были рабами и остались рабами. И взвинченный яростным шумом залы, Павлов закончил страстным предостережением: «Если правительство остановится на этом первом шаге, то оно остановится на краю пропасти. Имеющий уши —

да слышит!» Что тут поднялось в зале, описать невозможно... Павлов ушел, его вызывали снова, он выходил, шум не утихал. Неподалеку от меня высокий господин в бороде и в мещанском платье, приложив ладони ко рту, протодьяконовским басом ревел: «Рылеев, Пестель, Каховский...— Он называл имена борцов с тысячелетним рабством.— Михайлов». И тут я, не помня себя, завопила: «Михайлов! Михайлов!!» Страшный был миг, безрассудный, как вспомню, сердце колотится.

На эстраду вышел Некрасов, поднимая то одну руку, то другую, он пытался утихомирить залу, раскрывал рот беззвучно, вскидывал жидкую бороду, снова тряс перед собой руками, лысина его блестела, наконец шум утих, и Некрасов объявил: «Стихотворение Михайлы Ларионовича Михайлова «Белое покрывало», из Гартмана». Читал Некрасов взволнованно, будто стихотворение недавно написано, но, наверное, вся зала повторяла за ним каждую строку: «Своей отчизне угнетенной хотел помочь он: гордый нрав в нем возмущался; меж рабами себя он чувствовал рабом — и взят в борьбе с могучим злом, и к петле присужден врагами...» Оно напечатано в «Современнике» два года назад и настолько уже популярно, что даже отец мой его наизусть знает, как пришла к узнику мать, утешала его и обещала: «И поутру́, как поведут тебя на площадь, стану тут, у места казни, на балконе. Коль в черном платье буду я, знай — неизбежна смерть твоя... Но если в покрывале белом меня увидишь над толпой, знай — вымолила я слезами пощаду жизни молодой». И когда узника повели на казнь, он увидел мать в белом покрывале. «И ясен к петле поднимался... И в самой петле — улыбался! Зачем же в белом мать была?.. О ложь святая! Так могла солгать лишь мать, полна боязнью, чтоб сын не дрогнул перед казнью!» Многие в зале плакали...

В антракте всюду говорили о Павлове. «Почему его

не остановил никто? Отсюда ему теперь одна дорога — в Дворянское собрание». Так стали называть Петропавловскую крепость после того, как загнали туда тринадцать тверских мировых посредников из дворян. Они заявили, что законоположение 19 февраля не удовлетворило народных потребностей ни в материальном отношении, ни в отношении свободы, а только возбудило их.

Последнее отделение началось совсем поздно, около полуночи. Вышел Чернышевский, и его встретили овацией, хотя он не произнес еще ни одного слова. Он не читал, он просто говорил, запинался, повторял «ну-с, нуте-с». Возможно, его сбила овация, но если и сбила, так не в ту сторону, у него будто одна появилась цель — возмутить всех, восстановить против себя. Признаться, мне было за него неловко — ведь он же кумир молодого поколения. Вышел он не во фраке, как все, а в простеньком пиджаке и в цветном галстуке, волосы а ля мужик, и все крутил и крутил в руках цепочку от часов. Говорил он о Добролюбове и все как-то вразброс, несвязно. Молодость, дескать, ничего не значит, и Добролюбов в свои двадцать пять лет был гений. Он назвал его так несколько раз и вызывающим тоном, будто наперед зная, что с таким мнением не все согласятся. Тут сразу же начались шиканья одной стороны и аплодисменты другой.

«Вот заходит он ко мне вечером, заговорились мы, смотрим — двенадцать часов; так скоро прошло время; пу-с, заговорились опять,— уже час, и с часу мы засиделись до трех часов. Не знаю, где он и ночевал». Послышался охальный возглас и смешок на всю залу. «Вероятно, у кого-нибудь из своих товарищей,— продолжал Чернышевский.— На другой день у меня в семействе домашние спрашивают: что это ты так долго засиделся? «Мой друг,— отвечаю я,— ты знаешь, что я считаю себя самым умным человеком; но этот человек умнее меня». Его прервал саркастический смех, выкрики, но мы протест

этот перебили своими хлопками, хотя я хлопала уже в отчаянии, мне все более становилось неловко. Почему он не говорит о мыслях Добролюбова, они сразу бы убедили даже противную сторону, так нет же, он продолжает раздражать публику всякою незначительностью, придавая ей непозволительно большое значение. Вот Добролюбов пишет письмо какому-то своему товарищу и в нем сообщает, что полюбил девушку, дочь генерала, и по этому поводу Чернышевский восклицает патетически: «Заметьте себе, в письме не означено фамилии!» Но что здесь особенного? Зачем экзальтация при таких словах, как «лошади едят овес»? И зала реагировала неприязненно, а Чернышевский упрямо продолжал, и в тоне его слышался все более упрек: Добролюбов хорош, а вот вы — такие-сякие. Добролюбов очень любил свою мать, хотя некоторые склонны считать его сухим и холодным человеком, он любил своих братьев,— а в тоне опять: а вот вы не любите свою мать и своих братьев. Добролюбов умер оттого, что был слишком честен,— а вот вы, лживые и бесчестные, живете! Говоря о его патриотизме, он снова привел пример невпопад. Будучи в Италии, Добролюбов полюбил там девушку (возгласы: «Экий любвеобильный!»), хотел уже на ней жениться, но родные той девушки прежде всего спросили, намерен ли он остаться в Италии или же отправится опять в свои родные снега? Добролюбов отвечал, что он посвятил России все свои силы и не может никогда покинуть родину.

Говорил он довольно долго, мне показалось, целый час, терял нить, возвращался, и все это тоном упрека публике, будто сидели перед ним сплошь одни враги Добролюбова. В конце он с досадой воскликнул: «Да что я вам говорю о Николае Александровиче Добролюбове! Разве вы понимаете, разве цените вы его!» Молодежь кричала: «Понимаем! Цепим!» — но он будто не слышал. «Вот пройдет пятьдесят лет, тогда будут читать и воспри-

нимать его идеи и понимать его». В зале слышались свистки, возмущенные выкрики, публика была оскорблена, человек в пиджаке громкого имени своего не оправдывал. Какой-то пожилой господин, с пенсне, бритый, с голым лицом, тянулся в сторону эстрады и, размахивая февральским «Русским вестником», в котором напечатаны «Отцы и дети», кричал: «Катков умнейшая голова в России! Вырвите с корнем монархическое начало, оно возвратится в деспотизме диктатуры, в олигархии. Вы еще вспомните Каткова, господа!» И размахивал «Русским вестником» словно знаменем. При чем здесь Катков? При чем здесь олигархия, не каждый и слово-то такое знает.

Страсти кое-как улеглись после того, как на эстраду вышел Василий Курочкин, тоже один из друзей Михайлова. Тут я подумала, что, пока говорил Чернышевский, зала забыла, в чью честь нынешний вечер,— все об одном да об одном Добролюбове. Но, может быть, превознося одного своего друга, Чернышевский превозносил и других своих друзей? Большая натяжка, слишком софистично, хотя он всегда пишет с подтекстом, его и читать надо между строк, и слушать между слов.

Курочкин читал новый свой перевод из Беранже: «По безумным блуждая дорогам, нам безумец открыл Новый Свет; нам безумец дал Новый завет,— ибо этот безумец был богом». Он словно оформил раздерганное выступление Чернышевского, придал ему певучесть и звучность. «Если б завтра земли нашей путь осветить наше солнце забыло,— завтра целый бы мир осветила мысль безумца какого-нибудь!» В рукоплескании зала снова воссоединилась.

А в конце звучала «Камаринская». Исполняли ее лучшие пианисты, и прежде всего Машенька Достоевская, прелестная девица восемнадцати лет, ученица Рубинштейна и племянница того, кто читал «Записки». Исполняла также Людмила Петровна и еще Корсини и Тиблен.

А из мужчин за роялями были Виламов, Борщов, Печаткин и князь Мещерский. Звучала музыка не салонная, не петербургская, а деревенская, народная, разухабистая. Она ничем не напоминала о Михайлове, но я смотрела на Людмилу Петровну. Да разве только я одна?..

Профессора Павлова выслали из Петербурга. 5 марта его призвали к Суворову, князь ему сказал, что вины его никакой не находит, тем более что речь его о тысячелетии была просмотрена и одобрена цензурным комитетом для печати. Вины нет, но на другой день в шесть часов утра жандармы повезли Павлова в Ветлугу через Кострому. Спрашивается, за что, если доклад проверен? Выходит, не за слова, не за мысли, а всего лишь за тон и за жесты. Вот какие начались гасильные тонкости — не так взмахнешь рукой, и ты уже в Ветлуге на неизвестный срок.

Что будет делать профессор русской истории в глухомани? А ничего. Лишний раз убедится, насколько он прав, говоря о тысячелетии российского варварства. Сначала была речь, а затем последовала красноречивая к ней иллюстрация — как было все, так и осталось.

Все профессора, протестуя, прекратили лекции в городской думе (университет до сих пор закрыт, студенты ходили в думу) и подали прошение министру народного просвещения о помиловании Павлова.

12 марта по высочайшему повелению появились правила для проведения литературных вечеров в Петербурге. О каждом случае разрешенного чтения попечитель учебного округа должен неотлагательно сообщать санкт-петербургскому военному губернатору. Похоже, теперь в залу Руадзе станут вводить войска. Передают, что шеф жандармов князь Долгоруков вынес строгое порицание оренбургскому генерал-губернатору за то, что он позво-

лил себе присутствовать на этом возмутительном собрании. Досталось, наверное, и его адъютанту. Теперь я сожалею, что не подошла к нему и не сказала ему теплых слов о его брате.

Отец называет князя Суворова гуманным болваном и говорит, что в правительственных кругах есть определенное намерение: для того чтобы молодое поколение окончательно не загнило, надо его подморозить.

По Петербургу пошла новая прокламация — о высылке Павлова. Между нашими слух, будто это дело Николая Утина. Уточнять у нас не принято, пускай разберется история.

«Профессор Павлов сослан в Ветлугу... И общество молчит! Или честных людей у нас нет; или не грозит каждому из нас опасность очутиться в какой-нибудь Ветлуге только за то, что человек не создан мерзавцем и идиотом, что правду Долгоруких и Валуевых человек считает ложью и развратом? Куда же идем мы? Позор и стыд, малодушие и трусость. И чего трусить? Всех не сошлют. Пусть выхватили Павлова, сослали Михайлова, собираются сослать еще нескольких — что же! Или уже нет людей им на смену?.. Протестуйте, подавайте адреса, жертвуйте деньги, придумывайте что хотите, но не сидите сложа руки».

И еще ходят стихи Минаева: «Всколыхнулся берег невский, слышу всюду меж людей злобный шепот: Чернышевский, ужас наших дней».

День за днем, встреча за встречей, разговор за разговором, и выясняется, к моему стыду, что это не Чернышевский явился на тот вечер не готовым, это я пришла не готовой и пыталась еще валить с больной головы на здоровую. Только чутье меня выручило, а то ведь чуть было не приняла я противную сторону.

Беда моя в том, что на вечере я радела только за Михайлова, легкомысленно его обособила, а ведь дело его — часть общего дела, и с высылкой его из Петербурга оно не остановилось, а продолжается в ином роде. Беда моя заключается и в том, что, погрязши в перемирии с отцом, я перестала бывать на сходках, я отвыкла читать журналы так, как их надобно читать, то есть сопоставляя, непременно сопоставляя суждения противных сторон. Я, можно сказать, отстала от исторической скорости.

Теперь я вникла в журнальные выходки, и мне стало понятно, отчего господин с пенсне размахивал «Русским вестником», где напечатаны «Отцы и дети». Базаров — это карикатура на Добролюбова, злой пасквиль! Он груб со стариками родителями, неучтив с женщинами, не любит России. Отвергая поклеп, Чернышевский доказывал, что Добролюбов любил своих родителей и братьев, был благороден с женщиной и любил свою родину. Чернышевский был глубоко обижен за своего друга, Чернышевский глубоко страдал на эстраде и от боли за оскорбленного и уже покойного друга был не в себе, не в силах был услышать нашу поддержку. Он старался разбить все доводы противников, а они были не только в «Русском вестнике». За два дня до вечера в зале Руадзе «Северная почта» напечатала обозрение журналов с грубыми выпадами против Добролюбова и Чернышевского, со всякими шуточками и намеками самого дубового свойства. Не щадили ни живого, ни уже мертвого. А накануне чтений Некрасов получил анонимное письмо, в котором ему советовали сказаться больным и не ходить в залу Руадзе, ибо там неизбежен скандал, публика заранее возмущена, зная, что сотрудник Некрасова намерен предавать чрезмерно большое значение личности, чья деятельность для образованных и порядочных людей считается вредною. Некрасов не мог не поделиться этим с Чернышевским, и потому Чернышевский был так оскорблен, негодовал, не ви-

дел в зале друзей, с презрением обращался только к врагам и своего добился — «всколыхнулся берег невский».

В «Современнике» конечно же все возмущены романом Тургенева, считают его не только пасквилем на Добролюбова, но и клеветой на молодое поколение и панегириком обомшелым отцам. Там выходит статья против Базарова: «Асмодей нашего времени».

Мне стала понятной и фраза об олигархии, которую кричало пенсне. В той же книжке «Русского вестника» напечатана статья Каткова «К какой принадлежим мы партии», и в ней премного всяких премудростей. «Истинно прогрессивное направление должно быть в сущности консервативным,— заявляет Катков.— Чем глубже преобразование... тем крепче должно держаться общество тех начал, на которых основано... Вырвите с корнем монархическое начало, оно возвратится в деспотизме диктатуры, уничтожьте естественный аристократический элемент в обществе, место его не останется пусто, оно будет занято или бюрократами, или демагогами, олигархией самого дурного свойства».

Пенсне уловило задачу молодого поколения — вырвать с корнем! — и потому так бесилось. А уж чем и что будет занято, не ему судить, хуже, чем есть, не будет.

Да и что может быть хуже? Добролюбов слишком честен, Михайлов слишком добр, и отсюда следует: для счастливой жизни в России нельзя быть ни честным, ни слишком добрым, надо быть лживым и жестоким, иначе тебе смерть или каторга. Силу добра и правды у нас никак нельзя обнаруживать — забьют, загонят, сгноят. «У нас на Руси силу в пазухе носи».

В «Колоколе» Искандер пишет: «Умейте слушать, как растет трава, и не учите ее *колосу*, а помогите ему развиться...» Мы распространяем стихи Огарева Михайлову: «Закован в железы с тяжелою цепью, идешь ты, изгнан-

ник, в холодную даль, идешь бесконечною, снежною степью, идешь в рудокопы, на труд и печаль. Иди без унынья, иди без роптанья: твой подвиг прекрасен и святы страданья».

Твой подвиг прекрасен...

На сходке у Антониды Дмитрий Писарев спорил со всеми, доказывая, что в романе Тургенева нет никакого пасквиля, что, если даже Тургенев и хотел Базарова разбить в прах, у него не вышло, и вместо того он отдал ему полную дань справедливого уважения. Базаров умен и тверд, по мнению Писарева. Он не примет случайной оттепели за весну и останется в своей лаборатории до конца дней, если наше общество не изменится к лучшему. Ему возражали: да о какой оттепели можно сейчас говорить, если нас хотят «подморозить, чтобы не сгнили»?! Базаров отвратителен, и даже смерть его не вызывает сочувствия, только боль за бедных стариков родителей.

Появилась замечательная коллекция революционеров России и Европы, в ней портреты всех казненных декабристов, Пугачева, Герцена и Огарева, Михайлова и Чернышевского, а также Орсини, Кошута, Мадзини — всего сорок девять портретов. Пусть я буду пристрастна, но из всей коллекции наиболее выразителен портрет Михайлова, поскольку это даже не портрет, а воспроизведение картины, изображающей момент его заковывания в кандалы. Михайлов сидит в белом покрывале, сзади его стрижет цирюльник, а перед ним стоит кузнец с закатанными рукавами, похожий на палача, тут же лежат кандалы наготове...

Коллекция стоит дорого, 100 рублей, тем не менее многие желают ее иметь и просят раздобыть...

Тайная организация в России есть! На сходке у Антониды, совершенно в узком кругу, Петр Баллод, студент-

естественник, рассказал о своей довольно-таки романтической, таинственной встрече в Александровском парке с двумя членами революционного комитета. Они дали ему новую прокламацию и расспрашивали о деятельности самого Баллода. Прокламация называется «Молодая Россия». Вот первые ее слова: «Россия вступает в революционный период своего существования»,— а в конце снова обращение к нам: «Помни же, молодежь, что из тебя должны выйти вожаки народа, что ты должна стать во главе движения, что на тебя надеется революционная партия!» «...Собирайтесь почаще, заводите кружки, образуйте тайные общества, с которыми центральный революционный комитет сам постарается войти в сообщение...»

Что-то будет! Мы — накануне!

В апрельской книжке «Современника» напечатаны «Стансы» Томаса Гуда с подписью: Мих. Илецкий! (ставлю восклицательный знак). Это же он, Михаил Ларионович! «Здравствуй, жизнь! теплеет кровь; ожила надежда вновь; черный страх бежит, как тень, от лучей, несущих день...»

Мне придется осторожно вести далее свою повесть, записывать поменьше и не самое главное, а жаль, самое интересное как раз и придется опускать, и оно может забыться. Verba volant, scripta manent. (Слова улетают, записи остаются.)

Необходимость заставляет скрывать имена и события, больше молчать, как молчат теперь многие, как Шелгуновы, например, скрывают все, тем более от меня. Сначала скрывали, что едут, теперь, похоже, скрывают, что отказались ехать.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Мечта сбылась — теплый день середины августа, Михайлов сидит в саду на скамейке, рядом с ним Людмила

Петровна, Мишутка бегает среди вишен в сапожках с красными отворотами, а Николай Васильевич, заложив руки за спину, прохаживается перед сидящими и рассказывает о своей дороге сюда, в Нерчинский округ, на золотой прииск, в селение Казаково. Так условились — сначала рассказывают Шелгуновы, а затем Михайлов. И все это явь, а не сон.

Сразу после суда в сенате Шелгунов стал ходатайствовать перед новым министром государственных имуществ Зеленым о переводе его на службу в Сибирь, где работы для Лесного департамента непочатый край. Но Зеленый предложил ему ехать в Астрахань на четыре года, где условия службы лучше, чем в сибирской глухомани. Такова уж особенность российского начальства: просишь места получше, дадут похуже, просишь заведомо похуже, дадут получше, лишь бы не по-твоему, а поихнему. Попросись в тюрьму добровольно, не пустят, усмотрев в том своеволие непозволительное. Людмила Петровна уже собралась ехать с Мишуткой, но каково ей будет в таком далеком пути, да еще с ребенком? К тому же нарушается общий замысел — быть всем вместе и всячески способствовать облегчению каторги. Шелгунов подал в отставку и теперь стал говорить знакомым, что целиком посвящает себя литературным занятиям и намерен отправиться в Сибирь для сбора статистических сведений. Журнал «Русское слово» заказал ему статьи о жизни в Сибири, с Чернышевским он договорился о переводе XII тома «Всемирной истории» Шлоссера — для заработка. Распродали вещи, собрали денег. Друзья знали, что Шелгуновы едут к Михайлову, а кто не знал, тот догадывался, и совсем немногие, двое-трое, знали, что комитетом «Земли и воли» Шелгунову поручено выяснить политическое настроение тамошних слоев общества и их готовность к перевороту.

Перед самым отъездом пришел к Шелгуновым Некра-

сов, подавленный, в мрачных предчувствиях. Он написал стихи и просил их передать Михайлову. «Все, что в сердце кипело, боролось,— все погаснет, бесследно замрет. И насмешливый внутренний голос злую песню свою запоет: «Покорись, о ничтожное племя, неизбежной и горькой судьбе: захватило вас трудное время неготовыми к трудной борьбе, вы еще не в могиле, вы живы, но для дела вы мертвы давно; суждены вам благие порывы, но свершить ничего не дано...» И ниже следовала приписка: «Редки те, к кому нельзя применить этих слов, чьи порывы способны переходить в дело... Честь и слава им — честь и слава тебе, брат! 24 мая, 6 час. утра. Некрасов».

Приезжал к ним артиллерийский полковник Петр Лавров, главный редактор «Энциклопедии», рослый, картавый, в рыжих бакенбардах, и настроение у него было совсем иным, нежели у Некрасова, он был бодр и полон надежд на крутую перемену жизни в России. Он тоже передал свои, только что написанные стихи «Послание Михайлову»: «Над русской землею краснеет заря, заблещет светило свободы. И скоро уж спросят отчет у царя покорные прежде народы... На празднике том уж готовят тебе друзья твои славное дело. Торопят друг друга в великой борьбе и ждут, чтоб мгновенье приспело... И шлют издалека сердечный привет. Надежду, тоску ожиданья — и твердую веру: Свобода придет — и скоро... Борец, до свиданья!»

Они проделали тот же путь, что и Михайлов, с той лишь разницей, «совсем пустяковой», что ехали летом и без жандармов и останавливались где хотели. Побывали в Тобольске, посетили острог, от Тюмени плыли пароходом по Оби до Томска.

В Красноярске из окна гостиницы Людмила Петровна увидела ехавшего на извозчике господина оригинальной внешности — длинные черные волосы рассыпаны по плечам, длинная борода с проседью и одет в широкий белый

балахон. «Наверное, заезжий факир». На другой день Шелгунов удивил Людмилу Петровну тем, что привел этого оригинального господина в гостиницу, а далее последовало еще большее удивление — он оказался Петрашевским, тем самым Михаилом Васильевичем Буташевичем-Петрашевским. Они быстро сошлись. Петрашевский говорил горячо и много, Сибирь его не остудила, рассказал о недавнем нашумевшем на всю Сибирь деле, которое он выиграл на законном! — он подчеркнул — основании. Оно стоило Петрашевскому высылки из Иркутска, где он уже обжился, в Минусинский округ, в глушь, но тем не менее он считает себя победителем — еще бы! Прогнал с поста самого генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского! На законном основании. Губернатора прогнал, а всю его камарилью отправил на каторжные работы,— есть чем гордиться! Не сразу и поверишь в такое. (Михайлов и не поверил, ибо уже знал эту историю в подробностях, но терпеливо молчал пока, наблюдая за Николаем Васильевичем.) А дело заключалось в следующем. Служилое дворянство в Иркутске совершенно обнаглело при попустительстве Муравьева-Амурского. В открытую брали взятки, жестоко обращались с переселенцами. Один из молодых чиновников, Неклюдов, попытался было восстать против злоупотреблений своих коллег. Его вызвали на дуэль, он хотел отказаться, но отказа не приняли, мало того, перекрыли все выезды из города, чтобы он не сбежал. Дуэль состоялась на Кукуевской заимке неподалеку от Иркутска, и Неклюдов был убит. Весь Иркутск во главе с Петрашевским вышел на улицу, требуя наказать убийц. Похороны стали демонстрацией, над могилой Петрашевский требовал суда над убийцами. Через Париж направили письмо в «Колокол» Герцену. И состоялся, как это ни странно для Шелгунова, но на законном основании для Петрашевского, состоялся суд. По приговору Иркутско-Верхоленского окружного

суда всех участников убийства приговорили к двадцати годам каторжных работ. Стародур Муравьев-Амурский вынужден был покинуть Сибирь, на его место назначили молодого Корсакова.

Николай Васильевич слушал Петрашевского с восторгом — он не предполагал, что в Сибири столь крепок мятежный дух. Есть на кого опереться тут «Земле и воле»...

Два с лишним месяца они одолевали сибирский простор, ничего не зная о Михайлове, на месте ли он или, может быть, угнали его куда-нибудь еще дальше, хотя дальше уже и некуда. В Нерчинске их встретил Петр Ларионович, инженер-поручик Казаковского прииска, сказал, что брату разрешено жить как частному лицу в его доме и он сейчас ждет не дождется долгожданных гостей. Петр Ларионович оказался такой же горячей натурой, как и его брат. В тарантас Шелгуновых запрягли пятерню лошадей с парой навынос и с форейтором и понеслись с такой бешеной скоростью, будто Михайлов, терпеливо ждавший два с лишним месяца, не мог теперь вынести лишнего часа ожидания. Людмила Петровна держала на руках Мишутку, оберегая его от нечаянного удара, Шелгунов держал их обоих, боясь, как бы они не вывалились на повороте, а кони неслись вскачь по горной дороге. Пока ехали днем, еще не так страшно, но вот стемнело, дорога потонула во мраке (а край каторжный, бывает, беглые нападают), вокруг одни горы, ни огонька, слышен только топот копыт да перекличка кучера с форейтором: «Паря, видишь что-нибудь?» «Ни зги не вижу!» — отвечал форейтор с передней лошади, а кони неслись, не сбавляя бега все сорок верст. Наконец живы-здоровы въехали в селение, проскакали по улице, будоража жителей и собак, и остановились возле дома с мезонином. На веранде стоял Михайлов. Весь день он ходил по дому, по саду, выходил на дорогу, метался по комна-

там, не находя покоя, а сейчас застыл, словно изваяние, не мог двинуться с места...

Мишутка его не узнал, забыл, отворачивался к матери от косматого, бородатого, черного дяди в очках, однако быстро освоился, ему было уже два с половиной года.

Шелгуновы рассказали о своем пути, пришел черед Михайлову рассказывать о своем. Из Тобольска он выехал в сопровождении двух жандармских урядников, совсем не строгих, мало того, строжиться приходилось Михайлову, поскольку один из жандармов оказался пьющим, так и норовил на станции забежать в кабак, и Михайлов следил за ним, не пускал, ибо ехать с пьяным в возке мученье. Бедолага все-таки нет-нет да умудрялся хватить лишку, и его высаживали на козлы для протрезвления. Особенно нагрузился сердешный на границе между Западной Сибирью и Восточной, где по обе стороны границы стояло по кабаку, один «Прощай», другой «Здравствуй»,— как тут не насвистаться?

Ехал Михайлов без кандалов, они лежали в мешке. Как и прежде, на всех станциях уже знали о его прибытии, так было, кстати, до самого Нерчинска. Весть о его продвижении неизвестно каким путем бежала впереди возка. Возможно, первый при Александре Освободителе суд над государственным преступником стал известен в Сибири давно, и Михайлова тут начали ждать с осени — других-то никого не судили. Дорога была еще хуже, станции еще беднее, поесть нечего, и, если бы не тобольские припасы — Михайлова спабдили бо́льшим туесом с мороженым щами, пельменями и пирожками,— пришлось бы голодать.

В Красноярске станция была при гостинице, Михайлова уже ждали. Провожатые пошли по своим делам, один в кабак, а другой на базар, продавать оленьи перчатки, которые он шил сам и довольно искусно. Едва Михайлов расположился в нумере, как явились визите-

ры — три офицера с Амура и среди них капитан-лейтенант Сухомлин, командир военного судна, с которого полгода назад бежал Бакунин. Он рассказал, как было дело. Клипер Сухомлина «Стрелок» вышел в июле прошлого года из Николаевска-на-Амуре в залив Де-Кастри. Перед выходом на борт попросился Бакунин, сказав, что ему надо побывать в портах для сбора сведений о торговле, и предъявил открытый лист за подписью Корсакова. Сухомлин разрешил ему сесть, а затем разрешил и пересесть на купеческое судно, а оно пошло в Японию. Из Японии Бакунин отплыл в Сан-Франциско, а оттуда в Европу, к Герцену, совершив, таким образом, самый длинный побег в истории. Корсаков получил нагоняй из Петербурга, хотел было арестовать Сухомлина, но того потребовало к себе морское министерство, и вот он едет сейчас в Петербург вместе с семьей. Виновным он себя не считает, поскольку Бакунин имел на руках бумаги за подписью того же Корсакова, пускай с него и спрашивают. (Впоследствии выяснилось, что побегу Бакунина, хотя и несознательно, содействовал Лев Толстой. Во время Крымской войны он дружил с братом Бакунина, Александром, и был близок с Ковалевским из штаба главнокомандующего. Потом Ковалевский стал управляющим Азиатским департаментом, и Толстой обратился к нему с просьбой выхлопотать через министерство разрешение Бакунину на отлучку.)

После офицеров к Михайлову приехал Петрашевский, и у них состоялся такой же почти разговор, что и позднее с Шелгуновыми, то есть о законности и о победе прогрессистов в Иркутске. Сначала Михайлов тоже слушал его с интересом, а потом все больше стала одолевать тревога: «Неужели и я таким буду?» Становясь в оппозицию местным властям, Петрашевский, бесспорно, поступал честно — и довольствовался этим, сильно преувеличивая значение своих действий, утешался призраком

борьбы без признаков победы. Он приводил примеры своих воительств с нарушителями свода законов, со злоупотреблениями местных чиновников, говорил об исправлении зла с помощью последовательных реформ. Михайлов скоро заспорил и довольно горячо, не мог он спорить с прохладцей. Не по нраву ему соблюдать дичь, именуемую сводом российских законов, и тем более других призывать к тому же, смыкаясь с околоточным надзирателем. В каторгу он сослан вполне законно, а вот беседует с Петрашевским не по закону, едет не по закону, и кандалы не на ногах, а в мешке — тоже вопреки закону. Стычки с местными мракобесами сильно отдают дрязгами и кляузами, они заслонили для Петрашевского задачи более широкие, он будто забыл, что негодовать следует па причины, производящие дурные явления, а не на сами явления. Да и какая может быть борьба у политического ссыльного, если даже там, в условиях «свободной» жизни, нам оставлен единственный удел, по словам покойного Добролюбова, «для блага родины страдать по пустякам»! Михайлова поразило, что Петрашевский, несмотря на все свои сибирские тяготы в течение вот уже двенадцати лет, все еще сохранял веру в российский прогресс и надеялся на близкую конституцию. Прощаясь, он сказал Михайлову: «До свидания — в парламенте!» Так они и расстались — последняя жертва Николая I и первая жертва Александра II.

А что касается каторги дуэлянтам в Иркутске (Неклюдов, кстати, ворвался в дом своего обидчика, избил его, и что тому оставалось делать, как не вызывать на дуэль?), то приговор был обжалован, никто не пострадал, а главный дуэлянт переведен в Россию и назначен вице-губернатором Саратова. Кого, спрашивается, наказали? Жителей Саратова да самого Петрашевского, загнав его в глухой Минусинский округ. (Рассказывая об этом, Михайлов тем самым и Шелгунова упрекал в наивности

и доверчивости. Он как будто стал взрослее Николая Васильевича за эти месяцы, хотя прежде был всегда моложе.) Нужна борьба с причинами дурных явлений, только такая борьба достойна гражданина, где бы он ни был, на Невском проспекте или в Нерчинской каторге.

Да и стародур Муравьев-Амурский фигура не однозначная. Он открыто принимал у себя декабристов, разрешил старику Волконскому жить в Иркутске, в доме генерал-губернатора собирались лучшие люди города, бывал там, кстати, и сам Петрашевский. А что касается Бакунина, так он очень высоко ставил Муравьева-Амурского, и не только потому, что тот ему доводится родным дядюшкой и был посаженым отцом на его свадьбе. Властителя Восточной Сибири темпераментный Бакунин называл единственным в России лицом во всем официальном мире, сделавшем себе громкое имя не пустяками и не подлостью, а патриотическим делом.

В Иркутске Михайлова поместили в старом остроге, и тут же начались хождения к нему. Приятное впечатление произвел на Михайлова грузинский князь, доктор Дадешкалиани, тоже сосланный и служивший при генерал-губернаторе. Запомнился ему и жандармский штаб-офицер, который, побывав в остроге, начал бешено хлопотать о переводе Михайлова на частную квартиру и даже вознамерился взять узника на поруки, не спрашивая, захочет ли он сам такой чести. Здесь Михайлов узнал из «Санкт-Петербургских ведомостей», что первоприсутствующий на его суде сенатор Митусов награжден орденом святого Александра Невского,— не зря старался, выводя Михайлову двенадцать с половиной лет каторги. А полковник Щербацкий, делавший обыск у Михайлова в день воздвиженья, переводится в Иркутск с повышением на должность военного губернатора. Когда-то здесь служил Венцель, ныне сенатор и тоже член суда над Михайловым. В Томске с Михайловым беседовал жандармский офицер,

близкий родственник генерала Кранца. Велика Россия, а деятели одни и те же от Невы до Камчатки... Прежде дворянство шло служить в армию, защищать отечество от чужеземцев, нынче оно все больше идет в жандармы, защищать отечество от россиян.

Перед отправкой Михайлова в Читу его принял генерал-губернатор Корсаков, молодой еще человек лет тридцати пяти, похожий на Шувалова манерами и даже голосом. Он вежливо объяснил Михайлову, что оставить его в Иркутске не может, ибо по точному смыслу высочайшего повеления каторжный должен следовать в рудники. Не скрыл, что получил письмо князя Суворова о делании Михайлову всякого снисхождения, принял его к сведению и напишет о том же начальнику Нерчинского горного округа полковнику Оскару Дейхману. Корсаков поделился успехами вверенного ему края. Нет, он не просто жандарм, обязанный следить за ссыльными, он государственный муж прежде всего. Если двадцать лет назад добывалось золота здесь не более девяти пудов в год, то в прошедшем, 1861-м добыто двести семь пудов. Не простые, золотые дела ждут Михайлова в Нерчинске.

Обещание свое Корсаков выполнил. Дейхман тепло встретил Михайлова, распорядился приписать его к Шахтаминскому руднику, но разрешил ему жить у брата на Казаковском золотом промысле.

Вот и вся одиссея. В Казакове Михайлов собрал школу для ребятишек, занимался с ними каждое утро по два-три часа, затем садился за продолжение романа «Вместе» и все время ждал друзей. К их приезду он закончил свои «Записки» для Людмилы Петровны. «Легко сказать,— ведь уж полгода, как я простился с тобой, и три с небольшим месяца, как я на месте ссылки. С томительным нетерпением ждал я весны, следил каждый день за этими горами, за этим лугом, которые начинали зеленеть так туго, напрасно поджидая дождя. Наконец-то тучи над

ними сжалились и стали поливать их. Теперь так хорошо все кругом моего жилища; зеленая падь полна цветов, горы тоже позеленели и стоят уже не сплошной темной грудой, ближайшие гряды их отделяются от дальнейших, которые, чем дальше, тем голубее. Хорошо кругом, а грустно. Я по целым часам простаиваю иногда на деревянной террасе дома, глядя и направо и налево, и меня не покидает такое точно чувство, какое внушило прекрасную немецкую песню: «Wenn ich ein Vöglein wär» («Если б я птичкою был»). Из-за этих гор идут несколько дорог к самому почти дому; но как редко, какими урывками приходят по этим дорогам дорогие вести! Кукушка не перестает кричать надрывающимся голосом, и я теперь очень хорошо понимаю, почему ссыльные ждут весной ее зова, чтобы уйти куда глаза глядят...»

Теперь они вместе начали устраивать свою жизнь. Обсудили планы на будущее. Михайлова неправильно приписали в Петербурге к преступникам первого разряда (вечная каторга или не менее двенадцати лет), здесь исправили ему разряд на третий (каторга от четырех до восьми лет), а поскольку он причислен к руднику, то и расчет годов идет один за полтора; выходит, уже не шесть лет, а четыре. Так что остается не так уж много — самой каторги,— но там еще строка конфирмации: «поселить в Сибири навсегда». Побег в любом случае — единственное избавление. Однако сейчас о нем гадать рано — Михайлов слишком измотан дорогой, стало сдавать сердце.

Шелгунов в своих планах выглядел оптимистом, он уверен был, что о побеге и речи заводить не надо. Они поедут в Петербург все вместе, ибо в самое ближайшее время в России все переменится, переворот неизбежен, и Петрашевский прав — они с Михайловым будут заседать в парламенте. А пока у них полно времени для литературных занятий, и они будут трудиться, укрывшись среди гор «от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей».

Инженер-поручик Петр Михайлов, желая отблагодарить горного начальника за теплое отношение к брату, пригласил к себе его дочь, шестнадцатилетнюю Катю Дейхман для воспитания. Людмила Петровна занималась с ней на рояле и обучала ее пению по новой шифровой методе, усвоенной ею в Париже и не известной даже в Петербурге, а Михайлов занимался с ней литературой русской и иностранной, читал с ней в подлинниках Гюго и Шиллера. Прежними учителями девочки были декабрист Горбачевский и петрашевец Львов. Только в каторжной Сибири можно найти детям таких учителей!

Мишутка был здоров, не капризничая, целыми днями бегал по саду,— не сравнить с каменным Петербургом.

Петр Ларионович жил холостяком и с приездом гостей начал устраивать у себя вечеринки, чтобы хоть как-то разнообразить жизнь петербуржцев. Теперь горная молодежь из соседних приисков стала стекаться к ним в Казаково. Здесь можно было послушать и модные романсы, которые отлично пел Петр Ларионович, и превосходное исполнение па рояле Шопена и Бетховена Людмилой Петровной. Да и поговорить и поспорить тут было о чем и было с кем, вечера продолжались далеко за полночь.

А днем Михайлов и Николай Васильевич, уединившись в своих комнатах, брались за перо. Шелгунов писал для «Русского слова» серию статей «Сибирь по большой дороге» и переводил с немецкого XII том «Всемирной истории» Шлоссера. Михайлов продолжал роман «Вместе» и переводил XV том Шлоссера. В дороге он сумел закончить перевод эсхиловой трагедии «Скованный Прометей», послал рукопись из Иркутска Людмиле Петровне, и она перед отъездом отнесла ее в «Современник». Некрасов обещал печатать в ближайших номерах. Поскольку имя Михайлова упоминать запрещено, перевод пойдет под псевдонимом «Мих. Илецкий». Верный друг и неутомимый издатель Гербель собрал том стихотворений Михай-

лова. Если не удастся издать в Петербурге, Гербель сумеет издать за границей и переправить в Россию, так или иначе в убытке он не останется, а рисковать ему не впервой. Чернышевский напишет предисловие к этому тому. Сейчас он занят изданием Шлоссера и сам его переводит, работы хватит всем друзьям, у Шлоссера восемнадцать томов, и примечателен он тем, что дает не только жизнеописания монархов, но рассказывает и о народных движениях, о крестьянских революциях, излагает историю России не только древнюю, но и новую, после Екатерины II, чего российским историкам освещать не дозволяется. Помимо «Всемирной истории» у Фридриха-Христофора Шлоссера, профессора из Гейдельберга, вышла «История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения Французской империи». Говоря о разложении Европы, он предрекает ей два исхода — революция или гибель. Нация должна очиститься пламенем революции, как в огненной купели. Он подробно описывает Великую французскую революцию,— вот почему Чернышевский так ратует за перевод всего Шлоссера и сам взялся за его издание вместе с Николаем Серно-Соловьевичем. Как полагает Шелгунов, тронуть Чернышевского не посмеют, а если и тронут, то обвинить его ни в чем не смогут, он чрезвычайно осторожен и уже принял меры обезопасить и себя, и своих друзей. К тому же Суворов хорошо сознает, что арест Чернышевского обесславит имя царя-освободителя. А Суворов — личный друг государя. Да и никого больше не посмеют тронуть, слишком велика волна недовольства в обществе после суда над Михайловым, о котором знает не только Россия, но и Европа через «Колокол» Герцена.

Они будут жить в Казакове и делать свое дело, не изменяя своим идеалам. Дождутся переворота и возвратятся в столицу вместе. Пусть пройдет год, пусть пройдет два — без уныния, с надеждой и верой! Декабристы прожили здесь десятилетия и, как писал Герцен, возврати-

лись из-под сибирского снега моложе потоптанной на корню молодежи, которая их встречала.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Путилин не зря называл Костомарова учеником, готовым пойти дальше своего учителя. Когда дело его передали в правительствующий сенат, стало ясно, что наказание неизбежно. С одной стороны, оно выгодно Костомарову, поскольку пресечет нелепые слухи о его якобы предательстве, ну а с другой стороны,— где же справедливость? «Нет муки больше той, как страдать за идею, которой не служишь». И Костомаров требует от Путилина свести его с генералом Потаповым, управляющим Третьим отделением после отстранения Шувалова. Путилин, куда денешься, настояние его исполнил, и тогда Костомаров заявил Потапову, что располагает сведениями об огромной сети тайного общества, о главной думе революционного комитета в Москве и в Петербурге, о тайных типографиях, а также и о складе оружия, но сделает он эти открытия при условии выполнения его требований для отклонения подозрения в измене обществу: пусть Костомарова разжалуют в рядовые и сошлют на Кавказ, но с правом выслуги, а семейству его назначат пособие. Засим он распрощается со всеми друзьями и недругами в обеих столицах и уедет, как Лермонтов: «Прощай, немытая Россия, страва рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ». И пусть тогда сгорят со стыда все досужие сплетники.

О ревелациях (разоблачениях) Костомарова доложили царю, после чего государь высочайше соизволил изъявить согласие на просьбу «московского приговоренного».

Третье отделение охотно приняло уже испытанный ранее способ. «Посылаю вам черновой проект моего письма к неизвестному другу,— писал Костомаров Потапо-

ву. — Что же касается до того, что в письме моем больше болтовни, чем дела,— в этом вините уж не меня, а скудость самих фактов. Впрочем, я полагаю, что при той обстановке, которая имеется в виду, совершенно достаточно и этого... Все это — черновое и может измениться хоть сто раз».

В январе сенат приговорил Костомарова к шести месяцам заключения в крепости, его разжаловали в рядовые, однако уже в феврале он был отправлен якобы на Кавказ под надзором капитана петербургского жандармского дивизиона. На остановке в Туле Костомаров написал обещанное письмо, уже чистовое, некоему Соколову.

«Принимаюсь... а с чего начать? Pour commencement — конечно, как говорят французы («для начала»),— или, по древней поговорке, ab ovo — с яиц Леды... но вот тут-то и камень преткновения... С яиц... с которого же именно? — Их так много... В таком случае всего лучше было бы начать с самой Леды, необорное чрево которой... но это слишком далеко заведет нас,— а у меня слишком мало времени и... бумаги. Поэтому — я начну с Чернышевского».

И далее вот так же витиевато, длинно, кокетливо, со словами и фразами французскими, немецкими, латинскими, он обстоятельно рассказывал о вредоносной деятельности Чернышевского, с которым его свел Михайлов. Пространно донося, Костомаров не забывал приговаривать: «Меня обвиняли в малодушии, подозревали в предательстве. Многие, подхватив на лету нелепую сплетню, молча оставили меня; другие были почестнее и говорили мне, в чем меня обвиняет молва...»

Из всей этой кучи многостраничного мусора Потапову предстояло просеять жемчужину, даже две: подробные сведения о том, как Чернышевский составил воззвание «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и отдал его печатать и как Шелгунов составил воззвание

«Русским солдатам от их доброжелателей поклон» и ходил с ним в солдатские казармы. Немало говорилось в письме и о Михайлове, в частности, сообщалось: «Мы пошли с ним в разные стороны».

С пометкой «Тула, 5 марта» письмо оказалось, как и было задумано, в руках Потапова, и Костомарова срочно возвратили в Петербург.

Из показаний Всеволода Костомарова, разжалованного из корнетов в рядовые с выдержанием шести месяцев в крепости, отобранных при допросе в высочайше утвержденной следственной комиссии.

Вопрос. Когда, где и по какому случаю познакомились вы с упоминаемым в письме Соколову Михайловым, какие ваши были к нему отношения, в чем именно заключалось несогласие ваше с ним, вследствие чего, по вашему выражению, вы пошли с ним в разные стороны?

Ответ. Знакомство мое с Мих. Лар. Михайловым было чисто литературное. Поводом к нему было издание редактируемого мною сборника «Поэты всех времен и народов», для которого я пригласил Михайлова, как одного из талантливейших переводчиков, написать несколько статей и стихотворений. Что же касается до моего выражения, что «мы пошли с ним в разные стороны», то я и теперь повторяю то же, что писал в письме к Соколову, то есть что «говорить об этом нечего», особенно после настоящего приключения с этим письмом. Впрочем, пусть лучше первый камень в меня будет брошен самим мною, а не другими. Вот в чем в настоящее время мы не сходимся с Михайловым: Михайлов до конца остался верен своим убеждениям и своим друзьям, а я сделался врагом тех, которые называли меня своим другом, и навсегда отказался от того, на что когда-то смотрел как на лучшую цель моей жизни... не потому, чтобы я струсил перед опасностями этого пути,— не потому, чтобы меня соблаз-

нили приятности другой дороги, более торной,— а только потому, что я имел несчастие убедиться вполне, что мы сеяли на совершенно бесплодную почву... Я и до сих пор остался верен тому принципу, что сеять доброе семя необходимо (хотя сам положительно отказался от роли сеятеля): в этом я совершенно сходился с составителями манифеста. Но я всегда был против методы удобрять бесплодную почву трупами и кровью — и в этом «заключалось мое разногласие с ними». Михайлов до конца вынес на себе вместе с своим грехом грехи чужих; и в своем-то грехе он признался только из сострадания ко мне; а я, хотя и совершенно невольно, являюсь без всякой необходимости обвинителем других. Общество не станет разбирать, во имя чего и как это сделалось; оно не поверит тому, что все это сделалось нечаянно и без всяких корыстных и недостойных целей; оно забудет, да, вероятно, и не знает всего, что я выстрадал в эти почти два года; перед его глазами будет один факт; и оно назовет Михайлова мучеником за свои убеждения, страдальцем за друзей своих, назовет меня отступником от своих убеждений, предателем друзей своих. Михайлову не откажут в сочувствии (как человеку) даже люди, совершенно противуположного с ним образа мыслей, а меня отвергнут все. Михайлов, казненный правительством, стоит и будет стоять высоко в общественном мнении, а я погибну, беспощадно казненный и тем и другим. Вот что значит мое выражение «мы пошли с ним в разные стороны».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Голые сопки без деревца, обдуваемая ветром лощина, и в ней селение Кадая — 667 верст от Читы, 300 верст от Казакова и 52 версты от Нерчинского завода. Неподалеку от Акатуя и почти рядом с рекой Аргунь, за которой маньчжурская сторона.

В двухстах саженях от селения — серебряные рудники, штольни Оскар и Юльевская, за ними кладбище. Больше ничего и не требуется для каторги — жилище, рудник, кладбище. Да еще лазарет на пути к последнему пристанищу.

В деревянном домишке — лазаретное отделение Кадаинского прииска, где лежат под охраной военного караула неспособные к рудничным работам, с цингой, чахоткой, брюшным тифом, и среди них государственный преступник Михайлов с больным сердцем.

«Есть в старых сказках золотые замки». Он все то по золоту ступал, то по серебру...

В Кадаю его привезли совершенно больным из Зерентуйского острога. Там он содержался в кандалах и выгонялся на работу в рудник, получая на свое содержание по пятнадцати копеек в день. Выжил. Тяжело было в Зерентуе, но все же не случилось у них той трагедии, которая произошла на руднике в Каре. Там намывали по двадцати пяти пудов золота. Приехал генерал от кабинета его императорского величества, похвалил рудник, и тогда начальник, воспламененный похвалой, попросил доложить государю, что рудник намоет не двадцать пять, а сто пудов золота. Очень уж свойственно российским начальникам лезть из кожи, отличаться за счет других! Нагнали в Кару людей с разных рудников и приисков, тех, кто посильнее, поздоровее, и не только каторжных, но и служилых — детей каторжан, обязанных служить тридцать лет по месту отбытия каторги их родителями. Обещали всем вознаграждение после намытия ста пудов. Дело было летом, пришли они в Кару налегке, жили в шалашах и землянках. Мыли, мыли с утра до ночи, не зная отдыха, а ста пудов никак не набирается. Работа затянулась до снега, истощенных людей стал валить тиф, трупы складывали в амбар, как дрова, крысы объедали мертвых прежде, чем их успевали зарыть...

А Россия молчит, терпит. Михайлов написал стихи: «И за стеной тюрьмы — тюремное молчанье, и за стеной тюрьмы — тюремный звон цепей; ни мысли движущей, ни смелого воззванья, ни дела бодрого в родной стране моей!.. Иль ход истории достиг того предела, где племя юное уж не несет с собой ни свежих доблестей, ни свежих сил на дело и вслед тупым отцам идет тупой толпой?..»

Из Зерентуя его перевели в Кадаю совсем больным. Никого из знакомых, никого из друзей. Один раз в три месяца позволено отправить письмо... «Ведь только строчка лишь одна, узнать, что ты жива, что ты здорова и ясна; всего лишь слова два,— и все вокруг меня светло и счастлив я опять, и все, что бременем легло, могу я презирать».

Совсем было бы худо ему, если бы он ничего не писал, если бы не достало сил держать перо. Но он писал — возлюбленной, молодому поколению, писал России: «Преданность вечно была в характере русского люда. Кто же не предан теперь? Ни одного не найдешь. Каждый, кто глуп или подл, наверное, предан престолу; каждый, кто честен, умен, предан, наверно, суду».

Дни текли однообразно. Приносили больных, уносили мертвых. Пригоняли этапы, и Михайлов, превозмогая одышку, надевал серый кафтан с зелеными рукавами (одежда шилась нелепо, дабы каторжный при побеге отличался от всех прочих), заматывал шею шарфом от ветра, обувал чарки и выходил встречать.

Памятным останется день 4 августа 1864 года. После полудня сосед по койке, чахоточный, сказал, что пригнали новых каторжных. Михайлов стал собираться встретить, чахоточный вышел прежде его, скоро вернулся и уточнил сведения: привезли кого-то важного, прямо из Петербурга, из крепости. Михайлов, уже одетый, почувствовал, как с тяжкими перебоями забилось сердце.

Кого же?

Он не мог сделать и шагу, присел на койку, держась рукой за грудь и часто дыша открытым ртом.

Кого же?.. В крепости содержались четверо его друзей — Шелгунов, Чернышевский, Серно-Соловьевич старший и Писарев.

Николая Васильевича арестовали в Казакове. Даже двух месяцев не прожили друзья вместе! В конце сентября прискакал вестовой с эстафетой на имя горного пристава Петра Михайлова. Вскрыли казенный пакет, в нем записка: «Через Байкал я переезжал на пароходе с жандармским полковником Дувингом, который едет в ваши места. Зная, что у вас живут какие-то гости из Петербурга, счел нужным предупредить вас. Князь Дадешкалиани». Михайлов вспомнил опального грузинского доктора, симпатичного собеседника, с которым они встречались в Иркутске. Усомниться в его известии не было никаких оснований. К тому же через три дня после сообщения грузинского князя прискакал русский князь, двадцатилетний Петр Кропоткин, камер-паж государев, посланный в Сибирь на службу и для ведения научных изысканий. Он сказал, что в Читу прибыл полковник Дувинг расследовать донос нерчинского чиновника о послаблениях государственному преступнику Михайлову. Дувинг пока дуется в карты и ему везет, но везение не вечно, и он вотвот прибудет в Казаково.

Третьего князя решили не ждать, он мог уже оказаться «князем мира сего», быстро перебрали все бумаги, уничтожили лишнее, отменили званый вечер молодежи, а Михайлова уложили на всякий случай в приисковую больницу. Однако никакие предостережения и опасения (пусть хоть десять полковников приезжают!) не могли удержать его на больничной койке, когда рядом жили Шелгуновы с Мишуткой. Дувинг прибыл в Казаково и застал всех в сборе в саду возле дома горного пристава.

Жандармский полковник заявил, что замысел их — устроить побег Михайлову — раскрыт, упрежден, и предъявил бумаги. По высочайшему повелению подвергался аресту отставной полковник корпуса лесничих Шелгунов — по одной бумаге, а по другой — подвергалась аресту жена отставного полковника. Арестованных обыскали и отправили под конвоем в Ундинскую слободу в пятнадцати верстах от Казаковского прииска. Там их содержали под строгим домашним арестом до выздоровления Людмилы Петровны,— у нее отнялись ноги, сказались беды последнего года. По прямой от Казакова до слободы было верст шесть-семь, и Михайлов каждый день ходил туда по тропинке среди сопок. Но вскоре и эти свидания прекратились. В конце октября Михайлова отправили в Зерентуйский острог, а Шелгуновых в январе 1863 года перевели в Иркутск. Спустя полгода он узнал, что Людмиле Петровне с сыном разрешено самим добираться до Петербурга, а Николая Васильевича увезли под конвоем в Третье отделение, откуда он переведен в Алексеевский равелин. Там уже содержались Чернышевский, Николай Серно-Соловьевич и Писарев. Что стало дальше с каждым из них, Михайлов ничего не знал.

И вот — привезли кого-то прямо из крепости.

Менее всего вероятно, что Чернышевского. Зная его натуру и помня всех ретивых служителей Третьего отделения, ухищрения и приемчики Горянского, Путилина, Кранца, Шувалова, Михайлов был убежден, что с Чернышевским они не сладят. Он успел до ареста принять все меры предосторожности и, можно надеяться, не оставил ни единой зацепки для Третьего отделения. А там, в узилище, на все их вопросики всякий ответ его будет следовать через «не» — не делал, не видел, не слышал, не причастен. «Нуте-с, господин Горянский (господин Путилин), что еще скажете-с?» Чернышевский — кремень, к схватке с ними он готов с младых ногтей. Натура железная, не-

преклонная, он будет травить их, как крыс, своей выдержкой. Осудить его они не смогут.

Достаточно тверд и достаточно осведомлен о приемах и кознях Тайной канцелярии и Шелгунов. Но если его и осудят, в одно место с Михайловым вряд ли пошлют.

Писарев молод и неопытен, воспитания нежного, впечатлителен по натуре, его они могут запутать, могут навесить ему все, что захотят, только не знает Михайлов, за что конкретно его там держат и какое наказание может ему грозить.

Но все-таки больше всех шансов попасть в Кадаю у Николая Серно-Соловьевича. Он давно и деятельно связан с Герценом, вряд ли ему удастся открутиться. К тому же он горяч, смел, несдержан.

Кто-то из них двоих... Однако же надо встать и встретить, через силу, на последнем издыхании, но встать и встретить. Михайлов поднялся с постели, постоял, держась за кровать, пока пройдет дурнота. Пошел к двери, бодрясь,— надо утешить новичка приветливым словом, обнять, приободрить. Кто бы он ни был, Михайлова он знает и внимание его оценит.

Дверь перед ним сама отворилась, и шагнул, пригибаясь, человек в лазаретном белье, в буром халате, переступил порог и выпрямился — Чернышевский. Михайлов поднял руки ему на плечи и заплакал.

...Рыжеватый юноша из провинции в поношенном сюртуке. «Вы, верно, на второй год остались?» — спросил его Михайлов. «Нет, а это вы насчет сюртука?» — «Да». — «Так я старенький купил на толкучке». Так они познакомились на первой лекции в Санкт-Петербургском университете.

И вот какое вышло завершение той встречи ровно восемнадцать лет спустя. «Его никогда не отправят в каторгу, он умен и очень осторожен». Отправили и умного и осторожного.

Все эти годы они шли по одной дороге. Не всегда согласно, не всегда рука об руку, они так и не сошлись в понимании значения и целей искусства, но — в одну сторону шли, в сторону все большей и большей свободы, пока не оказались в каторге. Правительствующий сенат выставил им оценки: двенадцать с половиной лет одному и четырнадцать лет другому. Государь обоим сократил срок наполовину, будто для него самого они менее опасны в два раза, чем для сената.

Чернышевского обвинили по трем пунктам: за противозаконные сношения с изгнанником Герценом, стремящимся ниспровергнуть существующий в России образ правления; за сочинение возмутительного воззвания к барским крестьянам и за приготовления к возмущению общественного спокойствия.

Костомаров, по его мнению, психически не вполне нормален. Его письмо некоему Соколову, которое Чернышевский решительно отвергал, значительно помогло обвинителям; но если бы такого письма не было, Третье отделение изобрело бы что-нибудь другое.

«Честнейший и благороднейший человек Николай Васильевич, такие люди редки,— сказал он о Шелгунове. — Прекрасно держал себя в моем деле».

Поскольку Шелгунов полковник в отставке, дело его передали в военно-судную комиссию при петербургском ордонанс-гаузе. Доказательств и улик в составлении воззвания к русским солдатам комиссия не нашла, сочла возможным освободить Шелгунова от подозрений «и предать дело воле божьей, пока оно само собою объяснится». Третье отделение возмутилось христианской кротостью ордонанс-гауза и подало протест в генерал-аудиториат. Тот пересмотрел дело в порядке ревизии и вынес решение: лишить Шелгунова права на пенсию и мундир и выслать его под надзор полиции в одну из отдаленных губерний. За что все-таки? За знакомство с госу-

дарственными преступниками Михайловым и Костомаровым.

А Людмила Петровна добилась себе разрешения, вероятно, не без помощи Суворова, на выезд за границу, и сейчас в Швейцарии вместе с сыном. «Сестра ее, Машенька, бросила мне цветы на эшафот во время казни на Мытнинской площади».

Суворов присылал к Чернышевскому своего адъютанта незадолго до ареста, и тот передал по секрету личную просьбу князя,— чтобы Чернышевский уехал за границу. Генерал-губернатор столицы был хорошо осведомлен о настроениях и в сенате, и в Третьем отделении, и при дворе; он знал, что Чернышевскому каторги не миновать, а значит, не миновать и нареканий в адрес Александра-освободителя. Неглупый человек князь Суворов, он понимал, что осуждение Чернышевского бросит такое пятно на престол, от которого не скоро отмоешься.

А Чернышевский в расправу не верил, убежден был в своей невиновности и уезжать отказался. Он и князю не верил, в чистосердечность его заботы,— а вдруг провокация? Подстроят ему побег, задержат, и тогда уже не найдешь мотивов для оправдания. А пока он чист перед сводом российских законов и осудить его сенат не сможет...

Побывав Санкт-Петербургским университетом, а затем Дворянским собранием, крепость стала Литературным клубом — в ее покоях содержались сразу четыре литератора. И все писали, мало того, все еще и печатались и в «Современнике», и в «Русском слове». Чернышевский напечатал роман «Что делать?», и он сразу привлек огромное внимание читателей и критиков. За 678 дней пребывания в крепости он написал 205 авторских листов повестей, писем, прошений, опровержений и доказательств.

Рассказал о гражданской казни Владимира Обручева за причастность к «Великоруссу». Когда Обручев стоял на

эшафоте у позорного столба, взвинченная пожарами в Петербурге толпа видела в нем поджигателя и требовала ему смертной казни.

Но в чем его вина? Михайлов привел слова Искандера: нельзя освобождать народ снаружи больше, чем он освобожден внутри. Герцен всегда предостерегал Бакунина от преждевременных переворотов, советовал ему не принимать второй месяц беременности за девятый.

Ну что же, Герцен так Герцен, Чернышевский и его взял в поддержку своих слов: «Наши жертвы искупления, как Михайлов, как Обручев, должны вынести двойное мученичество; они не станут народной легендой... народ их не знает, хуже того — он знает их за дворян, за врагов». И далее о Герцене он говорил неприязненно. Молодая эмиграция во главе с Александром Серно-Соловьевичем решительно с ним расходится. Они прямо ему заявили, что «Колокол» уже не является не только полным выражением мыслей революционной партии, но даже и отголоском их.

Чернышевский говорил с одышкой, беспрестанно разминая руками колени, пальцы хрустели. О болезни своей он сказал только на вопрос Михайлова — в крепости он страдал ревматизмом, суставы едва сгибались. И цинга не прошла, десны припухли и кровоточат.

«В головке молодой эмиграции и Людмила Петровна Шелгунова. Она содержит пансион для русских в Женеве...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Михайлов сидел на пне возле одинокой лиственницы на склоне сопки, усеянной багульником, и смотрел на маньчжурскую сторону. «Печального меня сильнее грустью напои кукушки дальний звон».

Вьется вдали одинокий дым костра возле пастушьей

юрты. «Дым костра Авеля вверх тянется, дым костра Каина по камням стелется».

Смотрел на маньчжурскую сторону и думал о далекой Швейцарии, где его ждут. Двенадцать верст до Аргуни, а может, и того меньше, а там уже заграница, Китай близко, где в порту английские корабли... «Ведь на свете белом всяких стран довольно, где и солнце светит, где и жить привольно».

Конвойный сидел в трех шагах, держа ружье между ног, и выстругивал себе трубку из маньчжурского ореха.

После появления в Кадае Чернышевского он окончательно убедился, что надеяться не на кого и не на что. Убрали из Петербурга последних его заступников, заглохла жажда переворота. В марте шестьдесят четвертого года центральный комитет «Земли и воли» разослал по губерниям сообщение о временном свертывании общественного знамени и приостановлении всякой работы. Ни народ, ни, тем более, правительство, ни бог, ни черт — никто и ничто ему теперь не поможет. Надеяться можно только на самого себя. Он стал тщательнее принимать лекарства и выходить на прогулку, тратя гривенники на конвойного. Надо копить силы, чтобы добраться до Швейцарии.

К весне будущего, 1865 года, согласно третьему разряду, к которому он приписан, и с учетом дороги в каторгу, на которую кладется год, кончится его срок и он выйдет на поселение «в Сибири навсегда». Надо копить силы и надо копить деньги — чеканенную свободу. И все делать втайне, помня о возможном доносе, они ведь уже были.

Людмила Петровна покинула Петербург, опасаясь новых свидетельств Костомарова. Если бы она не уехала, ее сослали бы в глушь. Вместе с Мишуткой. Еще в Казакове она говорила о загранице на крайний случай, и сама не верила, что придется на нее отважиться. Пришлось...

В Казакове их разогнали из-за доноса. Чиновник Нер-

чинского завода написал в Петербург о возмутительных послаблениях, делаемых государственному преступнику братом его и горным начальником Дейхманом. Обоим грозило разжалование, исключение из службы и суд. Чувство вины перед братом и перед Оскаром Александровичем Дейхманом, человеком гуманным, честным и смелым, приводило Михайлова в отчаяние. В один из последних дней в Казакове ему стало до того худо, что он не выдержал, признался Кате Дейхман, что намерен избавить от себя близких, от горя, которое он причиняет всем. А Катя знала, есть у него циан-калий...

Из благих намерений Суворова с его благотворительными письмами вышел пшик. Рядовой жандарм из Тобольска и мелкий чиновник из Нерчинского завода оказались могущественнее генерал-губернатора столицы и личного друга царя,— доносчики опирались на режим и на свою злую волю, режимом поощряемую.

«Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри». Сколько же еще российских подвижников сложат головы, прежде чем у народа прояснится сознание?! И не в этом ли была главная задача его поколения — просветить? Была и осталась — на проклятые вопросы дай ответы нам прямые!

Давно, еще при Николае, в пятьдесят третьем году, Чернышевский, учитель гимназии в Саратове, говорил Ольге Сократовне, тогда еще невесте: «У нас скоро будет бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем». «Вместе с Костомаровым?» — спросила его невеста. Она будто предрекла имя, хотя тогда имелся в виду совсем другой Костомаров — бывший адъюнкт-профессор Киевского университета, сосланный в Саратов за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве, впоследствии петербургский профессор истории, автор книг о Богдане Хмельницком и Степане Разине...

Уголовные обошлись бы с Костомаровым весьма про-

сто — убили бы его. За его прошлое и в назидание другим — перед будущим. А что они, государственные, политические? Михайлов ему сострадал, Чернышевский считает его помешанным — и только.

Холопы казнят, а господа милуют, не думая мстить никому за прошлое.

Но как быть с будущим? Или у них нет будущего? А коли есть, то рано или поздно придется им казнить предателя.

На миру, в общине, на вече не было места предательству, ибо нечего было, некого было предавать,— все говорили открыто. Когда нет запрета на слово, нет и сговора, тайны, нет и предательства.

Во имя чего должен был молчать Костомаров? Перед кем, перед каким сообществом он обязан был бы держать ответ? Его ссылают рядовым на Кавказ, гонят прочь из столиц, от журналов и литераторов, а он молод, и ему так хочется писать стихи! Поэзия для него отделена от политики, поэзия выше судеб и сулит ему свои особые радости. И общество — нынешнее — его поймет, и его поймет, и таких, как он. Написал же Фет: «Радость чуя, не хочу я ваших битв».

Не пожелал он быть рекрутом ни в тех, ни в сих, но такой позиции в государстве, да тем более в полицейском,— не может быть. Не пожелал в тех, так станешь в сих!

Костомаров бесцелен, безыдеен и жалок, его заставили, вынудили пойти на предательство. Но как понять донос тобольского жандарма? Как понять донос нерчинского чиновника? Их ведь не вынуждали (вроде бы).

Не надо сомневаться в желании Суворова облегчить участь каторжного Михайлова. Написав свои просьбы о послаблениях, он попытался сделать добро. Но для государства зло, оказывается, предпочтительнее. И опора злых на режим натуральна, логична, в то время как попытка

графа творить добро противоестественна — баран закричал козлом.

Политически незрелый народ — игрушка, гармошка в руках престола. И потому герои нашего времени канут в небытие. Личный подвиг плодотворен лишь в среде подвижной, а в среде застойной, косной он только обесценивает личность, оборачивается ущербом человеческому достоинству.

Но ведь личный подвиг — не во имя, не только во имя среды нынешней, а во имя среды будущей?

«Шансы будущего различны,— говорит теперь Чернышевский. — Какой шанс вероятнее? Разочарование общества и от разочарования новое либеральничанье, по-прежнему мелкое, трусливое, отвратительное как для умного радикала, так и для умного консерватора, и оно будет развиваться и развиваться, подло и трусливо, пока где-нибудь в Европе, вероятнее всего во Франции, не подымется буря и не пойдет по странам, как было в сорок восьмом году».

Но в романе «Что делать?» он написал с верой: «Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести...»

Чернышевский изменился, с тех пор как они виделись три года тому назад. Да и было отчего измениться, беды обрушились на него лавиной,— умер сын, умер отец, умер друг Добролюбов, разогнали по крепостям и в каторгу всех единомышленников. Говорит он мало, замкнут, и с Михайловым холоден. А иной раз и Михайлов с ним холоден, за осудительные, к примеру, его слова о Плещееве. Будто знать мог Плещеев, чем обернется его рекомендация отставного корнета. Не в этом же корень зла.

Лучше не надо гадать о причинах холодности. Просто они разные, и в каторге это стало заметнее. «В крепости меняются не только образы мыслей...»

Слишком доброе сердце. Сказанное в похвалу в сороковых годах прозвучало осудительно в шестидесятых. И спорить не из-за чего. Слишком или не слишком мокрый дождь, слишком или не слишком белый снег?..

Разными они были и перед каторгой. Михайлов взял на себя все — и свое и чужое; Чернышевский ничего не взял — ни своего, ни чужого.

За кем будущее? Кого призвала вечность и кого — время?

Взятие всей вины на себя пошло во вред Михайлову, но на пользу делу. Само по себе воззвание могло возбудить лишь разговоры, споры, согласие или критику — само по себе. Но был еще суд, был приговор, и все это гораздо сильнее самого воззвания возбудило недовольство правительством, воспламенило сердца.

В нынешней России только отвага самопожертвования имеет революционизирующее значение. И у тирана здесь роль служебная — казнью, каторгой завершить, оформить судьбу подвижника и тем составить предание и пример. И всякая новая жертва становится шагом вперед в расплате за нее.

Чернышевский ничего не взял на себя, все отверг, но дали ему еще больше. Правительствующий сенат ухватился за воззвание к барским крестьянам, которое осталось неизвестно ни крестьянам, ни барам, да и впредь будет никому неведомо, похороненное в подвалах Тайной канцелярии. Следственная комиссия лезла из кожи вон, лишь бы приписать прокламацию Чернышевскому и тем самым подвести его действия под статью свода законов.

Но разве в этой — ненапечатанной! — прокламации все значение Чернышевского для народа и для правительства? Да пусть бы она была издана миллионным тиражом и даже за его личной подписью, все равно она не имела бы тысячной доли воздействия на умы в сравнении со всем тем, что напечатано Чернышевским под цензурой за

семь лет его деятельности, начиная с магистерской диссертации «Об эстетическом отношении искусства к действительности».

Прежде и сам Михайлов не очень-то верил в теорию. Когда-то он писал в «Русском слове» убежденно и проникновенно: «Судьба лучших людей нашего печального переходного времени темна и безрадостна. Разочарованные в прочности настоящего порядка вещей, пылко желающие иного строя для общества, они в то же время теряются в догадках, в предположениях, как создастся новый порядок. Самые гениальные теории будущего находят себе противоречие в сердце; смутные предчувствия идут дальше всех проектов, и едва ли правда не на их стороне».

Теперь он знает: правды, одной лишь правды для дела мало. И если верно, что в силе нет правды, то и обратное верно: в правде нет силы. Никогда Михайлов не был в одном лагере с Аполлоном Григорьевым, но знал и помнил многие стихи его, даже в листе, обращаясь к Европе, использовал (заменив, правда, одну букву) его строки: «Нет, нет, наш путь иной и крест не нам нести»; помнил трогательные его песни под гитару: «Поговори-ка ты со мной, подруга семиструнная, душа полна одной тобой, а ночь такая лунная», и суждения помнил, нередко поразительные: «Мысль, не прикованная к теории, такой свободой своей ужасно много теряет в своей силе, хотя, может быть, и выигрывает в своей правде».

А ведь именно этого и не хватало движению — прикованности их мысли к теории, каждый предпочитал анархию вольнодумства, никому не хотелось, едва выпростав голову из одной кабалы, подчинять ее тут же другой кабале. Вольной птахе запрет что справа, что слева одинаково не по нутру, а золотой середины нет.

Единые в своей устремленности дать свободу России, Герцен и Огарев, Добролюбов и Чернышевский, Писарев и Бакунин, братья Серно-Соловьевичи, Обручев и многие

бойцы начала шестидесятых годов совсем не одинаково мыслили в частностях, порой самозабвенно противоречили друг другу.

Шиллера он переводит давно, даже получил диплом из Германии от Шиллеровского общества, как один из лучших его переводчиков; переводил давно, но оставлял без внимания кратенькое его стихотворение-назидание «Долг каждого». И только в каторге оценил, будто, просеивая золотой песок, нашел слиток: «К целому вечно стремись и, если не можешь стать целым сам,— подчиненным звеном к целому скромно примкни». Подчиненным! Скромно! Но до этого надо еще развиться, мы — обезьяны для людей будущих.

Как ни значительна была разница в частностях, как ни расходились вожаки движения в средствах борьбы, одно было ясно всем: российскому крестьянину необходима свобода — по любой теории. А что на практике? А на практике мужик говорит помещику: «Пусть мы будем ваши, а земля наша». Прежде всего земля! Мужик нутром чует: у кого земля, основа благ, у того и свобода. А без земли, что ему ни даруй — конституцию, парламент, земский собор, гласный суд,— все будет не по нему, все мимо, одни барские забавы.

Разрозненные ростки вольнодумства не могли устоять перед мощной метлой самодержавия с его теорией: православие, самодержавие, народность. Противопоставлено ей многое — и все правда, одна только правда, правда мысли, а всякая мысль, не прикованная к теории, ужасно много теряет...

Стало прохладнее. Кадая погрузилась в сумерки, солнце ушло на запад и светит над его родиной, над Оренбургом, над степью. Бурая юрта, желтая голова верблюда, сине дымится очаг, сидит на корточках Алтынай-Золотой месяц в белом платке накидкой, лицо ее темно, а напро-

тив — задумчивый мальчик, похожий на его сына, в узких глазах его, поджатых высокими скулами, отсвет веков...

Михайлов склонился к своим ногам, подтянул штанину, закатал исподнее и надавил пальцем голень — осталась вмятина, как на тесте. И все же отеки мало-помалу проходят. К зиме его переведут в тюремный дом.

Не для тюрьмы он решил выздороветь, нет. Через полгода кончится его каторга, на поселение он выйдет здоровым и начнет действовать.

Не хочет он кануть жертвой. «Нет, нет, наш путь иной и крест не нам нести». Эстетически чуткий Аполлон Григорьев, вызывающе самостоятельный, гордый и — слабый, неприкованный, неприкаянный... Почему они с Шелгуновым заменили букву в его стихе? Так беспечно, лихо, всего-навсего одну букву — и совершенно переиначили смысл. «Не нам нести»,— вставили они в лист, а у Аполлона Григорьева «не вам»! Полихачили, ослепленные надеждой, а ведь можно было предвидеть, нетрудно было уразуметь: не вам нести, не Европе, а именно нам, России, придется нести крест подвижничества,— когда новое вино наливать станут в новые мехи.

«Проходит наша волна,— говорит Чернышевский.— И пройдет. А потом будет новая, круче нашей. И опять пройдет, снова будет спад. И снова подъем и еще покруче. Пока не снесет тиранию монархов. Настанет новая эра. И опять будут новые волны...»

Проходит наша волна. И ей самой не понять, благо она несла или зло,— она всего лишь волна, стихия. Поднялась и опала, ушла в песок.

Ушла бы... но самодержавие поставило заслон, волна ударила по нему,— и Россия услышала шум прибоя.

Откуда в море, из какой точки, начинаются волны? Найди попробуй. Они жили с ощущением кануна революции — вот-вот грянет,— не замечая, что живут в самой

революции — общественной, породившей новую Россию, новую силу — разночинную на смену дворянской.

Он жаждал революции, верил в нее слепо и не мог видеть, предугадать результата,— просто знал, что далее терпеть такую жизнь невозможно. И теперь отчаивался, слушая Чернышевского, суровые, честные, жестокие слова его о том, что не может русская революция сразу дать народу свободу, будут новые угнетения и новые перевороты, и революционеры будут вновь и вновь погибать, вновь и вновь воскресать. «Но иного пути нет».

А сейчас Михайлову надо копить силы и чеканенную свободу. Авось помогут Ураковы. Выйдя на поселение, он соберет школу, будет учить детей, сеять разумное, доброе, вечное и... получать серебром за урок. Он составит книгу стихов своих и иностранных поэтов, ведь все время в каторге он переводил Гете, Шиллера, Беранже, Мицкевича, Шевченко, Петефи, Томаса Гуда, перевел Бернса «Ухожу я, Джен,— таю, как снег в поле», и снова Гейне: «Я это знал. Все это снилось мне: и ночь в твоей сердечной глубине, и грудь твою грызущая змея, и как несчастна ты, любовь моя!»

Говорят, у злобных болит желудок, у завистливых болит печень, у добрых болит сердце. А у слишком добрых оно и болит слишком...

Желто засветились окна в поселке.

— Пошлите,— сказал конвойный.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Поезд замедляет ход, пассажиры приникли к окнам, поверх голов их он видит малиновые узкие здания, черепичные крыши. «Грезден! Грезден!» Почему Грезден, по-каковски Грезден, если правильно Дрезден? Как тут все изменилось, однако, прежде были совсем другие здания возле вокзала. Он выходит последним и смотрит не вне-

ред — там нет ничего, пусто,— а назад и видит на сухой поляне камни, одни камни; где же хваленый немецкий порядок? — булыжники вразброс, хотя и парами, один большой, один маленький и непременно по два, и оттого в хаосе намек на гармонию, будто он и она, прочно рядом и вечно, каменно. Он смотрит на них, пытаясь понять, к чему все это? и нельзя ли так сделать по всей земле — он и она, он и она и ничего больше? А может быть, здесь не Германия, может быть, Свободославия? Но почему никто не встречает члена правительства?.. Он идет дальше один и видит летний бульвар, на углу дом с башней, с балюстрадой и статуями, а в нем сверкающий магазин серебряных и золотых изделий Кристофля; он узнаёт дом герцога Ришелье и видит в нише безногую старуху со скрипкой, она играет Шопена, полукругом стоят поляки в кандалах и суконных халатах, серые полы и бурые рукава. Они слушают Шопена благоговейно, и он слушает тоже, закрыв глаза. Звуки несут его по небу, он летит над панорамой Европы, проплывает Петербург со шпилями крепости и Адмиралтейства, проплывает Оренбург с караван-сараем, слева Каменный пояс, кабаки «Прощай» и «Здравствуй», а справа, вдали за степью, за Золотой Арко́й, могила Валиханова; а он летит дальше за Байкал на Нерчинск, слышится посвист крыльев, и опускается на скалу в Кадае ногами вперед, как птица. Крылья уже сложены, а посвист остался — в груди свистит, в горле. Он открывает глаза. Возле постели сидит его брат в мундире, на столе рядом лежит его кобура с револьвером.

— Pierre, как хорошо, ты здесь... Тебя не разжаловали, Pierre, ты на службе, и каторга моя кончилась, как хорошо...

— Кончилась, Michele, каторга кончилась,— внятно, бодро говорит Петр, вытирает полотенцем взмокшее лицо Михайлова и, осторожно приподняв его голову, перево-

рачивает темную от пота подушку. Каторга его кончилась в начале марта, ему объявили о позволении выйти из острога и поселиться на частной квартире.

В остроге он застудил почки. Лекарь из ссыльных поляков Стецевич нашел Брайтову болезнь.

В конце июля у Михайлова отекли ноги, отекло лицо, все тело вздула водянка. Лекарь Стецевич, приставив к его груди стетоскоп, долго слушал сердце, сказал, что работает оно нормально, и, выйдя за дверь, поделился с коллегой Пашковским: «Похоронный звон брайтиков». Когда почки перестают работать, отекает все тело, сердце не в силах перегонять кровь, оно расширяется, в нем отлагаются соли, и тогда при каждом биении слышится через стетоскоп шум трения — звон...

Из воспоминаний Людвика Зеленки.

Михайлов быстро познакомился с поляками, и, так как он был человек искренний и открытый, все сразу же полюбили его. Ни одно пожелание «доброго дня» и «доброй ночи» не обходилось без Михайлова. Мы открыли ему свои сердца, а он нам — свою возвышенную душу.

Мы, видевшие его ежедневно, всякий раз замечали, как менялось его лицо, а зная о его болезни, предчувствовали, что скоро придет та грустная минута, когда нам придется проститься с лучшим нашим другом и товарищем. Двое из наших — лекари Пашковский и Стецевич, утверждали то же, добавляя, что единственным спасением для него могли бы еще быть железные воды, находившиеся недалеко от губернского города Читы под Дарасуном. Мы употребили все средства, чтобы его туда послали... Однако власти ответили отказом на наши просьбы.

Медленно угасал Михайлов на наших глазах. Он это хорошо чувствовал, а так как он знал, что мы его любим

и уважаем, то приходил к нам, чтобы нас не огорчать, с радостным лицом и с улыбкой на устах, хотя под этой маской не раз в глазах его сверкала слеза и невольная грусть запечатлевалась на его лице. Но он, не желая нас огорчать, все повторял: «Я чувствую себя как будто с каждым разом лучше». Иногда даже в доказательство своих сил он импровизировал отрывки из своих произведений.

Искренний Михайлов на закате печальной, но благороднейшей своей жизни не имел, пожалуй, более сердечных, преданных и любящих друзей, чем мы...

Михайлов неожиданно стал сильно кашлять и ослабел настолько, что уже не шел, а едва, с помощью палки, с трудом тащился к нам в тюрьму. Однажды вечером он сказал: «Я прихожу к вам, чтобы утешиться и укрепить свою страждущую душу, с вами я чувствую себя гораздо сильнее, у вас я дышу другим воздухом, становлюсь свободнее и бодрее». Это его посещение глубоко запало в наши сердца, то была последняя его беседа в нашем кругу. Уже на другой день он так ослабел, что не мог подняться с постели. Наши доктора проводили день и ночь у его ложа, а мы, запертые в тюрьме, подкупали солдат и выбегали по одному, по два, чтобы хоть на минуту навестить нашего друга и утешить его.

На так называемом Нерчинском «большом заводе» у Михайлова был родной брат, мы послали за ним, сообщая ему об опасном состоянии нашего друга. Вскоре он прибыл из Нерчинска. А наш комендант Шестаков сообщил в главную комендатуру в Александровске об опасном состоянии Михайлова. Только теперь прислали оттуда казенного врача Лебедева с жандармским полковником и несколькими высшими офицерами для строгого обыска квартиры Михайлова и изъятия всех бумаг и сочинений. Михайлов хорошо знал правительство и, чувствуя себя уже очень слабым, отдал нам все свои произведения и

объяснил, куда и каким способом мы должны их переслать. Жандармский полковник понимал, что произведения Михайлова должны находиться у нас, он пришел к нам и просил отдать хотя бы несколько листков из каких-нибудь сочинений, написанных рукою Михайлова, иначе он будет иметь большие неприятности от Третьего отделения в Петербурге, потому что ему не поверят, что Михайлов ничего после себя не оставил. Мы отвечали на это, как обычно отвечают они: «Ничего не знаем...»

В июне он еще ходил, давал уроки ребятишкам Кадаи, еще писал свой труд «За пределами истории»: «На земле было просторно жить всем. Ни один зверь не отнимал у другого пищи — всем ее было слишком довольно. Человеку нечего было думать о прошедшем. Нечего ему было думать и о завтрашнем дне. Из глаз человека никогда не текло слез, этой «горькой влаги страданья». Даже смерть наступала без горечи и мук».

В июне умер гарибальдиец Кароли от воспаления мозга, и Михайлов ходил его хоронить, хотя поляки просили его остаться дома — день холодный, ветреный. Он все-таки пошел... Бросил горсть земли в каменистую могилу на вершине сопки. На обратном пути оглянулся — два креста возвышались на сопке, один темный от времени, над прахом повстанца тридцать первого года, и второй светлый, вчера обтесанный. «Вечером душным, под черными тучами нас похоронят. Молния вспыхнет, зароптщет река, и дубрава застонет... И над могилами нашими, радостный день предвещая, радугу утро раскинет по небу от края до края». Два креста. А бог любит троицу... Михайлов примерился, но не примирился — его ждут в Женеве! «Вышел срок тюремный: по горам броди; со штыком солдата нет уж позади».

Он закрывает глаза и слышит «Афинские руины» Бетховена, и видит квартиру у Аларчина моста. Она, он,

Николай Васильевич, Миша, Веня — вместе... Кто-то еще был с ними, кто-то еще был.

Боги не предают. Выдавая тайну, они ставят условие состязанию между добром и злом и смотрят, как развивается человек дальше...

«Раз в тринадцать дней он ложился спать». Тринадцать дней он лежит, не вставая. Поляки от него не отходят, хлопочут, мешают, лишают его одиночества. Когда появился Петр?..

Перед самым приездом брата пришли два поляка из острога, принесли весть о республике Свободославия и взволнованно, со слезами во взоре поздравили Михайлова — он член правительства. Говорили по-польски почти шепотом. По Сибири созданы Огулы выгнанцев (Союзы изгнанников) — в Тобольске, Ялуторовске, Кунгуре, в Томске, в Омске, в Канске, в Красноярске, в Иркутске, и уже началось объединение в Нерчинских рудниках. Обсуждается план восстания по всей Сибири весной следующего, шестьдесят шестого года. Когда будет дан сигнал, поляки соберут корпус, разоружат стражу и двинутся из Нерчинска на Иркутск и далее на запад, освобождая по пути всех каторжных и поселенцев. Временное революционное правительство должно состоять из Чернышевского, Михайлова, Серно-Соловьевича, он сейчас в Канске, там уже начат сбор оружия, и еще Юзефата Огрызко (бывшего редактора газеты «Slowo») с совещательным голосом.

Известие настолько приободрило Михайлова, что он поднялся с постели, а тут еще и Петр приехал, и не разжалованный, как грозилось начальство, передал поклон от семьи Дейхманов, все они здоровы, благополучны и просят Михайлова не беспокоиться за Оскара Александровича, ему ничего не грозит. Катюша уже совсем взрослая и сама учит крестьянских детей, под школу приспособили баню...

Два дня он чувствовал себя хорошо, говорили с Петром о будущем, он показал брату все, что написал за это время, Петр только диву дался как много — и роман «Вместе», и огромный труд «За пределами истории», и очерки сибирские, и множество стихотворных переводов. Кто все это издаст и когда? Николай Серно-Соловьевич успел издать до ареста книгу стихотворений Михайлова в Берлине (с пометой на обложке: «Издание в пользу автора»). Комитет цензуры иностранной запретил ее ввоз в Россию. А в комитете том служат друзья Михайлова, Полонский и Майков. «Емшан, пучок травы степной, он и сухой благоухает...» Чокан Валиханов умер, не прожив и тридцати лет. Его не сажали в крепость, не ссылали в каторгу, он умер по Чаадаеву — не от того угнетения, против которого восстают люди, а от того, которое они сносят с трогательным умилением и которое пагубнее первого. Он не ужился среди своих и похоронен вдали от родины, в Семиречье, за тысячи верст от отцовских становищ. «Моя любовь, как ирбитские сундуки, вложена одна в другую...» Если не к чему приложить духовную мощь, она убивает своего носителя. От того же умер и Бов...

Душно Михайлову, душно, он снова слег, и стало еще хуже, чем было, мучил кашель, в застойных легких клокотало, водянка распирала тело, сдавливала горло. Он ничего не ел, после приступа кашля впадал в сонливость, бредил, видел картины детства, Илецкую защиту, каторжных на соляном карьере, кормилицу из деревни, свою мать перед смертью, своего отца перед смертью и бормотал, словно оправдываясь, строки из прозы Гейне: «Как червь, грызло горе мне сердце, и грызло!.. я явился на свет с этим горем. Оно лежало уже со мной в колыбели, и, когда мать моя баюкала меня песнею, засыпало со мною и оно, и просыпалось, только что я открывал глаза...»

Открыл глаза, узнал брата и попросил:
— Возьми роман, раскрой наугад...
Петр взял рукопись, раскрыл, начал читать:
— «Волны шумнее плескались в стену и взбирались чуть ли не до самого верха ее... Глядя в этот тревожный мрак, прислушиваясь к этим таинственным голосам пучины, трудно было не думать, что в эту самую минуту не одна бедная жизнь гибнет в обессиливающей борьбе с темною и дикою силой волн, что везде на заливаемых ими берегах вдовеют жены, сиротеют дети, рыдают матери, зная, что любимый сын уже не закроет им глаз, выплаканных в долгую печальную жизнь».— Петр замолчал, видя слезы на лице Михайлова.— Там сидят друзья, Миша,— Петр кивнул на дверь.— Хотят с тобой повидаться.— Не сказал «проститься».
— Потом... Все мое передай Мише, исполни... Мерзну я, накрой ноги...— Петр поправил тулуп на его вздутых и совсем холодных ногах.— Почитай еще...
Петр снова взял рукопись, выбрал:
— «Я знал, что не к мертвой нации принадлежу. Она должна же проснуться!»
Михайлов не слышал, закрыл глаза. «Ухожу я, Джен,— таю, как снег в поле, Джен! Ухожу я — в страну правды!.. Но не плачь, моя Джен,— свет не стоит забот, Джен! Мы опять встретимся, и будет нам хорошо — в стране правды...»
Петр зарыдал, клоня голову все ниже и ниже.
— Об чем ты плачешь? — отчетливо произнес Михайлов.— Каторга моя кончилась, и я жив. Ведь я же не умираю, братец мой, ты видишь? Ведь я же не умру...
Была глубокая ночь, над Кадаеей гудел ветер. За дверью на деревянной лавке сидели бородатые люди в железных путах, суровые, скорбные, собранные христолюбивой российской властью из Петербурга и Казани, из разных мест.

Глубокая ночь на третье августа тысяча восемьсот шестьдесят пятого года...

В Женеве было еще второе августа, и в пансионе madame Lucie для русских в два часа пополудни заплакал беспечный мальчик Миша Шелгунов — просто так...

Из воспоминаний Людвика Зеленки.

Кадая, построенная по царскому приказу, расположена между горами и имеет около 200 домов, которые образуют три прямые улицы, вытянутые, как войско в строю. На севере она упирается в две сросшиеся между собой, как близнецы, высоко вздымающиеся горы, которые соединяются гранитной скалой, достигающей половины их высоты. Так гармонично это божественное строение и так возвышенно прекрасна эта суровая и нагая природа, что человек невольно склоняет голову и смиряется перед величием божьим.

В том дивном месте, на той гранитной скале, откуда открывается вид на Монголию и где высоко вздымаются к нему три римско-католических креста, напоминая о вечном покое мучеников польского дела, там должен был встать четвертый крест, поставленный польской рукой сыну России, мученику за ту же правду, за ту же свободу, каких мы хотим для себя.

Три дня от зари до темной ночи по восемь человек, беспрестанно сменяя друг друга, работали мы, долбя железом могилу в граните. Крайне тяжелая изнурительная работа была последней данью уважения останкам нашего глубокочтимого товарища по неволе. Никто не жалел ни пота, ни рук, каждый хотел внести свой вклад в сооружение памятника, который должен был увековечить честь и память Михайлова.

На похороны прибыл комендант Нерчинских рудников генерал Шилов, желавший сам, своими глазами убедиться в смерти Михайлова. Он тыкал ему пальцами в глаза, лил

на грудь и под ногти расплавленный сургуч, опасаясь, что смерть Михайлова притворная и его потом попытаются выкрасть и вывезти за границу.

Похороны были очень скромными, без попа, с официальным участием властей и населения всей деревни. Только двенадцати человекам из наших было разрешено проводить до могилы останки нашего друга. Михайлов покоился в простом гробу из лиственницы, сделанном столяром-самоучкой, нашим сотоварищем, литвином Брониславом Болендзей и украшенном наверху черным крестом. К крышке гроба мы приколотили кандалы Михайлова, как символ его мученичества. Когда опускали останки в выдолбленную могилу, царила торжественная тишина, не было ни церковного пения, ни похоронных речей, только наши слезы свидетельствовали о скорби и печали, которые оставил по себе этот мученик русского народа...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Осенняя ночь, идет дождь, шумит вода по стеклам окна, все в доме спят, спит Петербург, спит Россия, а я сижу и пишу. «А там и смерть придет, как эта ночь,— и канет...»

Одиннадцатого числа во Владимирской церкви я отстояла панихиду по Михайлову. Присутствовало более ста человек, в большинстве своем юные лица, а нас, зачинателей, было совсем немного. Антонида Блюммер после смирительного дома отправлена в провинцию под надзор. Веня Михаэлис так и не вернулся, из Петрозаводска его отправили в Тару Тобольской губернии. Петра Баллода сослали в каторгу, Иван Рождественский — в ссылке, Николай Утин — в Женеве, Машеньку Михаэлис выслали в Шлиссельбургский уезд, после того как она бросила цветы на эшафот Чернышевскому, и больше я ее не видела...

Десятого числа кто-то из студентов заказал панихиду будто бы по умершему своему товарищу по имени Михаил, а на другой день возле Владимирской стала собираться толпа. Подождали, когда в церкви отслужили обедню, и пошли на вход без толкотни, рядами, вошли в церковь, чинно выстроились шпалерой, и каждый зажег свечу в руке. Лица были скорбны, почтительны и торжественны.

Я смотрела на пламя своей свечи, оно слабо колыхалось и словно высвечивало прошедшее...

Он бы остался жив, если бы я поехала. Ольга Жемчужникова уехала за профессором Щаповым туда же, в Иркутскую губернию, и потому Щапов жив и пишет свои труды о русском народонаселении. А ведь он сильно пьющий и совсем не здоровее Михайлова, но с ним рядом друг, самоотверженная женщина.

Он бы не умер, если бы я поехала, как Жемчужникова.

А Шелгунова — в Женеве, завела пансион для русских эмигрантов на средства Александра Серно-Соловьевича. Здесь я запишу одно немаловажное мое наблюдение. Читающая публика сейчас ищет прототипа Рахметова и называет среди других Михайлова. Это отрадно, но все-таки на мои глаза — это Николай Васильевич Шелгунов, в превосходной степени разумный эгоист. «Человек человеку не враг и не раб, а орудие взаимной солидарности». Сейчас он становится все более и более известен как литератор-публицист, печатая свои статьи в журнале «Русское слово».

От свечи я подняла взор на лица округ себя — совсем новые и совсем юные лица. Они не знали Михайлова, не видели его, но слышали о нем и помнят слова Искандера в «Колоколе»: «Иди же с упованьем, молодой страдалец, в могилу рудников, в подземной ночи их между ударами молота и скрипом тачки ты еще ближе услышишь стон народа русского, а иной раз долетят до тебя и голоса

твоих друзей — их благословенье, их слезы, их любовь, их гордость тобою».

Когда певчие завели: «Упокой душу усопшего раба твоего Михаила», молодые люди возле входа разом подхватили по-своему: «Раба твоего ссыльного Михаила», и снова еще раз: «ссыльного Михаила», и тут уже все мы громко, и я, ощущая мороз по телу, повторяла со всеми: «Раба твоего ссыльного Михаила». Пламя наших свечей колыхалось от дуновения, чередуя мрак и свет.

После панихиды многие пошли на Разъезжую и в трактире Палкина устроили скромное поминовение. Здесь уже открыто говорили о Михайлове, читали его стихи, потом негромко, дабы не вызвать беспорядка, запели «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много дум погребено» — и сразу перешли на «Ответ Михайлова»: «Но и там, на зло гоненью, веру лучшую мою в молодое поколенье свято в сердце сохраню». Здесь уже не было свечей, но почти у каждого в руках появилась фотографическая карточка Михайлова, у кого от Степуто, у кого от Берестова — вместо свечей! Тут же рассказывали, что вместе с ним в тюремном доме сидел одинокий поляк, не знавший по-русски, и Михайлов ради него сверх своего срока оставался в остроге,— это так на него похоже! Там он и заболел смертельно.

Молодые люди смотрели на меня почтительно, они знали, я была дружна с Михайловым. Сердце мое переполнялось гордостью.

Я осталась бы дружна и поныне, и не было бы панихиды нынче, если бы... Ведь все было тогда готово, бабушка отдала мне свои драгоценности, когда я рассказала ей о княгинях Волконской и Трубецкой, поехавших в Сибирь за декабристами. Мир твоему праху, милая, родная моя бабушка, пусть земля тебе будет пухом. Она умерла после пожара Апраксина двора, смежила свои очи, говоря, что настал конец света и более не стоит жить...

Погиб Михайлов, великомученик за народ.

Но и Костомарова нет, он... (не стану я осрамлять своей повести нечистым словом «подох»!). Достоверно теперь известно, что предательство его оплачивалось. Матери его выдано пятьсот рублей серебром единовременно из государственного казначейства. Ему самому выдана тысяча рублей серебром. Достоверно известно, что Третье отделение приняло на свой счет расходы по печатанию его сочинений в сумме более тысячи рублей серебром. Все сребреники, сребреники... Наконец, матери его назначена пенсия пожизненно, как назначается она матерям героев, павших за отечество. И в то же время правительство лживо и лицемерно прикрывает его предательство. Николая Васильевича Шелгунова осудили «за связь с государственными преступниками Михайловым и Костомаровым».

Нет Костомарова, умер он, я думаю, от возмездия, и поминают его стихами Ивана Гольц-Миллера: «И не найдет твой прах забвения, покуда рукой невидимой начертано над ним: «Под камнем сим покоится Иуда. Прохожий, помолись о тех, кто предан им!»

Иван Гольц-Миллер в Калуге под надзором. А в Петербурге поют его песню, и в Москве, и по всей России поют: «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка черна... Черней этой ночи встает из тумана видением мрачным тюрьма».

Он бы остался жив, если бы...

Рама сказал: «Я знаю, что невинна Сита и что дети ее — мои сыновья. Никогда не усомнился я в чистоте моей супруги — и все же я отринул ее. Пусть же теперь перед собравшимися здесь она докажет свою невинность!»

И тогда сказала Сита, не подняв головы и сложив у

груди ладони: «Никогда никого, кроме Рамы, не было в мыслях моих. И если я сказала правду, да раскроет мне Мать-Земля свои объятия! Мыслью, словом и делом я всегда служила благу Рамы и чтила его одного как супруга. Если молвила я правду, да раскроет мне Мать-Земля свои объятия! Я невинна перед супругом моим и людьми, и если мои слова правда, да примет меня в объятия свои Мать-Земля!»

И земля разверзлась на глазах у всех и заключила Ситу в свои объятия. И народ возликовал, когда очистилась от хулы прекрасная Сита...

В «Рамаяне» земля разверзлась не в наказание, а в подтверждение любви и верности. Говорят, это несовременно и бесчеловечно по отношению к женщине, жестоко и дико.

Заканчиваю я свою повесть, это моя последняя запись. Начала я ее писать ровно десять лет тому назад. Тогда мне было пятнадцать отроческих лет, а теперь двадцать пять и я мужняя жена, дама.

Кончилось наше время, и записывать больше нечего. Кончилось оно по многим причинам, уразуметь которые сейчас невозможно. Смерть Михайлова отчетливо совпала с концом эпохи, которой потомки дадут достойное определение, отринув клеветы и попошения. А на них так щедры стали российские литераторы! Первым бросил в нас ком грязи Писемский своим романом «Взбаламученное море» (не зря он уехал в Москву и служил у Каткова в «Русском вестнике»), а за ним вылезли и Клюшников, и Всеволод Крестовский, и Стебницкий (Лесков) с пасквильным романом «Некуда».

И все-таки главной книгой нашего времени останется «Что делать?». Много в ней справедливых и верных слов, а вот эти — в особенности: «Шикайте и срамите, гоните

и проклинайте, вы получили от них пользу, этого для них довольно, и под шумом шиканья, под громом проклятий они сойдут со сцены гордые и скромные, суровые и добрые, как были».

Мы уходим, но придет день, когда наши внуки и правнуки соберут по крупицам свидетельства нашей любви и нашей ненависти, наших побед и наших поражений. В казематах и рудниках, в архивах и хранилищах, в книгах и в песнях они увидят судьбу эпохи и составят истину времени.

Найдут многие наши повести, авось и мою тоже...

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

«О наказании бывшего начальника Нерчинского горного округа полковника корпуса горных инженеров Оскара Дейхмана и бывшего управляющего Казаковским прииском инженер-поручика Петра Михайлова за послабления государственному преступнику Михайлову, ныне покойному...»

«Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции»

* *
*

22 октября 1866 года Главное управление по делам печати предложило Санкт-Петербургскому цензурному комитету уничтожить книгу «Стихотворения М. Л. Михайлова» под редакцией Гербеля, изданную купцом Звонаревым при содействии Некрасова.

10 мая 1867 года приговор приведен в исполнение.

Щеголихин И. П.

Щ34 Слишком доброе сердце: Повесть о Михаиле Михайлове.— М.: Политиздат, 1983.— 399 с., ил.— (Пламенные революционеры).

Щ $\frac{0505020000-017}{079(02)-83}$ 270—83

84Р7+83.3(0)5+63.3(2)51
Р2+8Р1+9(С)16

ИВАН ПАВЛОВИЧ
ЩЕГОЛИХИН

СЛИШКОМ ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

ПОВЕСТЬ О МИХАИЛЕ МИХАЙЛОВЕ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Л. Б. Родкина*
Младший редактор *А. А. Степанова*
Художник *В. Е. Васильев*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 3818

Сдано в набор 18.10.82. Подписано в печать 29.03.83. А 06086. Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 18,11. Условн. кр.-отт. 20,46. Учетно-изд. л. 18,49. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 503.
Цена 1 р. 40 к.

Политиздат, 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
г. Свердловск, пр. Ленина, 49.



